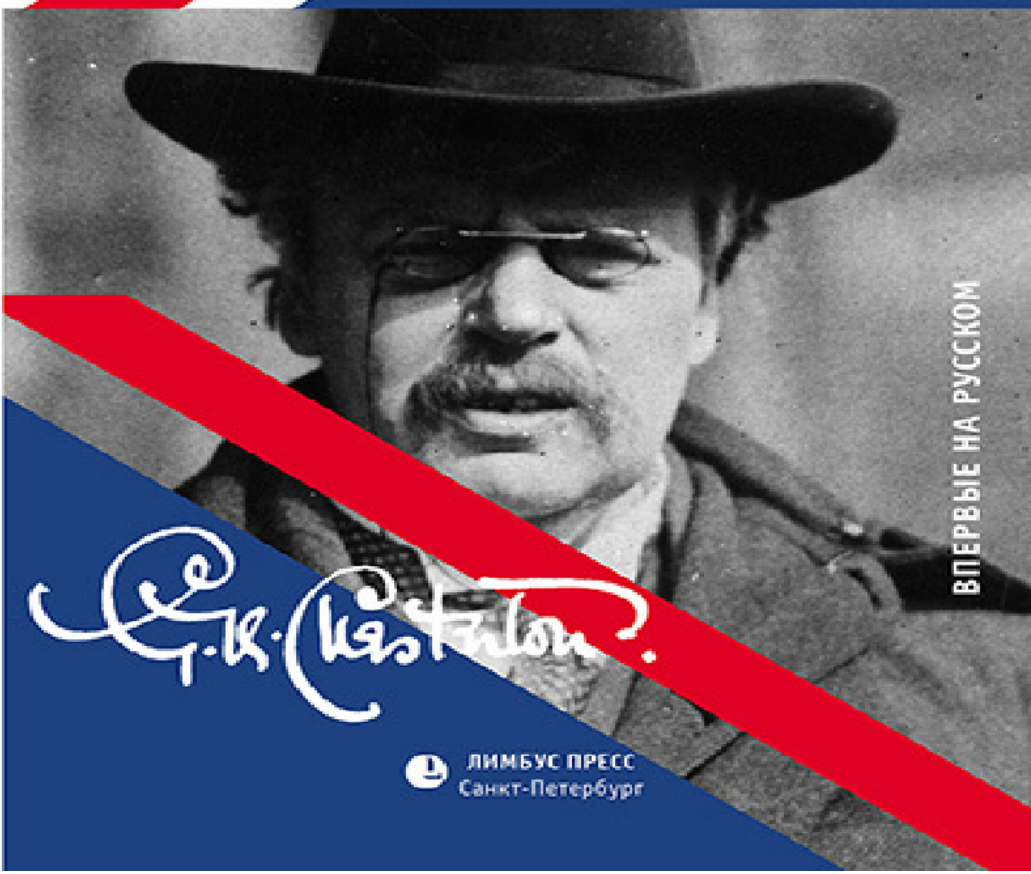
Гилберт Кийт

ЧЕСТЕРТОН

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ АНГЛИИ

и другие произведения 1914–1917 гг.



ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ

ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Когда Англия вступила в Первую мировую войну, ее писатели не остались в стороне, кто-то пошел на фронт, другие вооружились отточенными перьями. В эту книгу включены три произведения Г. К. Честертона, написанные в период с 1914 по 1917 гг. На русский язык эти работы прежде не переводились – сначала было не до того, а потом, с учетом отношения Честертона к Марксу, и подавно. В Англии их тоже не переиздают – слишком неполиткорректными они сегодня выглядят. Пришло время и русскому читателю оценить, казалось бы, давно известного автора с совершенно неожиданной стороны. Знакомьтесь – Честертон, которого вы не знаете.

- Гилберт Кийт Честертон
  -
  - Предисловие переводчика
  - Варварство Берлина
    - Что мы знаем
    - I. Война слов
    - II. Отказ от принципа взаимности
    - III. Аппетит тирании
    - IV. Уход в безумие
  - Преступления Англии
    - I
    - II. Протестантский герой
    - III. Загадка Ватерлоо
    - IV. Пришествие янычар
    - V. Потерянная англия
    - VI. Гамлет и датчане
    - VII. Полночь Европы
    - VIII. Не та лошадь
    - IX. Пробуждение Англии
    - X. Битва на Марне
    - Маленькое примечание о слове «английский»
  - Краткая история Англии
    - I. Вступление
    - II. Провинция Британия
    - III. Век легенд
    - IV. Поражение варваров
    - V. Святой Эдуард и нормандские короли
    - VI. Век крестовых походов
    - VII. Проблема Плантагенетов

- VIII. Смысл «Веселой Англии»
- IX. Национальность и столетняя война
- X. Война узурпаторов
- XI. Восстание богатых
- XII. Испания и раскол наций
- XIII. Век пуритан
- XIV. Триумф вигов
- XV. Война с великими республиками
- XVI. Аристократы и недовольные
- XVII. ВОзвращение варваров
- XVIII. Заключение

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32

- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76

- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120

- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164

- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208

- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252

- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296

- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340

- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384

- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428

- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435

Гилберт Кийт Честертон
Краткая история Англии и другие произведения 1914-1917: эссе

Gilbert Keith Chesterton

A SHORT HISTORY OF ENGLAND

Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга

Перевод с английского Сергея Минаева

www.limbuspress.ru

© С. Минаев, перевод, 2017
© ООО «Издательство К. Тублнна», макет, 2017
© А. Веселов, оформление, 2017

Предисловие переводчика

Предлагаю вашему вниманию три работы Гилберта Кийта Честертона, написанные чуть больше ста лет назад, в самый разгар Первой мировой войны. Они не относятся к числу широко известных – несмотря на обилие юбилейных публикаций, об этих текстах практически никто не вспомнил ни в Великобритании, ни тем более у нас. Восполняя этот обидный пробел, следует рассказать и об обстоятельствах их появления.

Двадцать лет – до середины тридцатых годов -в тайне хранился факт одной встречи. В сентябре 1914 года в доме «Веллингтон хаус» (сейчас здесь на лондонской улице Petty France стоит новое здание) собрались два с половиной десятка очень известных писателей. Там были Редьярд Киплинг, Джон Голсуорси, Томас Гарди, Герберт Уэллс, Артур Конан Дойл – лучшие перья страны. Их пригласили вежливо, но при этом просили держать язык за зубами.

Приглашающей стороной был Чарльз Мастермен – тоже писатель, но, кроме того, член Палаты общин и младший министр в правительстве[1]. Дело оказалось не только секретным, но и срочным – помимо обычной войны, началась война пропагандистская. Один из известных ее памятников – манифест 93-х германских интеллектуалов. Начинался он словами:

«Мы, представители немецкой науки и искусства, заявляем перед всем культурным миром протест против лжи и клеветы, которыми наши враги стараются загрязнить правое дело Германии в навязанной ей тяжкой борьбе за существование. События опровергли распространяемые слухи о выдуманных немецких поражениях. Тем усерднее сейчас работают над искажениями и выдумками. Против них поднимаем мы наш громкий голос. Да будет он вестником истины».

На самом деле британское правительство было сильно озабочено тем, что никакого усердия в работе «над искажениями и выдумками» не было и в помине, а системы – тем более. Да, газеты по горячим следам разносили слухи, которыми всегда полнится фронт и тыл во время войны. Слухи были ужасны, к тому же в основном правдивы. Но газетный рассказ о злодеяниях врага может как вдохновить на борьбу, так и обескуражить. Он бьет по эмоциям, но в таком деле, как война, требуется и холодный рассудок.

В итоге британцы решили несколько запоздало заняться организацией пропагандистского фронта. Мастермен на секретной встрече обратился к своим собратьям по перу с

предложением выработать собственную позицию в отношении текущих событий и донести ее до британцев, а также до граждан не вступивших в войну государств. По сути это было приглашение принять участие в пропаганде, которая уже велась в других воюющих странах и без которой шансы Англии оказаться проигравшей стороной были выше, чем у ее противников.

Дело в том, что в отличие от континентальных государств, в Великобритании не было обязательного призыва на военную службу (его ввели только в 1916 году). Министерству обороны приходилось всеми правдами и неправдами привлекать добровольцев, чтобы увеличить численность британской армии до сопоставимой с теми армиями, которые ей противостояли. Но армия, особенно по сравнению с флотом, была не очень-то популярна, а денежное довольствие солдат – не слишком привлекательно. Предыдущая крупная операция английских вооруженных сил, проводившаяся недавно на юге Африки, неожиданно вылилась в кровопролитную англо-бурскую войну, и теперь убедить британцев взять в руки оружие было непросто.

В отличие от Киплинга и Конан Дойла, Честертон к англо-бурской войне относился очень плохо. Он считал ее ошибкой, вызванной нечистоплотными происками олигархических верхушек, и яростно заявлял об этом своем убеждении на страницах газет. Тем не менее Мастермен счел необходимым пригласить на совещание в «Веллингтон хаус» и Честертона. Вот что последний написал об этом в автобиографии:

«В самом начале войны я побывал на конференции, на которую собралась вся английская пишущая братия, чтобы сочинить ответ на манифест немецких ученых. В отличие от других писателей, я, по крайней мере, могу сказать: “Что написал, то написал”. Написал я несколько антипрусских памфлетов, которые сейчас многие сочли бы слишком злыми, хотя тогда все разделяли это озлобление; и до сих пор целиком и полностью готов отстаивать правоту высказанных в них воззрений. Я не отказался бы ни от единого слова».

Писать надо было не только для своих соотечественников, но и для миллионов людей из стран, еще остававшихся в 1914 году нейтральными. Их было немало, и от того, кто перетянет их на свою сторону, зависел исход войны. Главным призом, козырным тузом тут оставались США, отношения которых к Британской империи были далеки от дружеских, тем более союзных. Были призы и поменьше – Италия (еще недавно бывшая союзником Германии и Австро-Венгрии), Испания, страны Скандинавии, государства Балканского полуострова. То, что Антанта сумела собрать под свои знамена почти всех, решивших ринуться в битву,

кроме Болгарии и Турции, – заслуга не только денег, но и слов.

Защита морального облика Англии в 1914-м была делом непростым. Наши современники, взирая на небольшой остров у северо-западной оконечности Европы, не видят за ним громадную колониальную империю начала прошлого века. Но в те времена за Англией числилось очень много прегрешений, под ее гнетом страдали десятки миллионов людей – всяко больше, чем под гнетом ее противников. И это было уязвимым местом в ее пропаганде. Работало на врага и то обстоятельство, что в прошлом британцы достаточно часто лезли в драку по собственному почину – за примерами не надо было далеко ходить. Да и самодовольства у Лондона было хоть отбавляй.

Наконец, на немцев работало еще и то, что почти весь мир был убежден в лицемерии британцев. В частности, нарушение Германией нейтралитета Бельгии, признанного королем Пруссии вместе с другими монархами европейского «концерта держав» в 1839 году, можно было вполне убедительно объявить поводом к войне, но никак не подлинной ее причиной. Все начало двадцатого века германские политики, писатели, ученые упорно говорили об «окружении Германии», предпринимаемом Англией, Францией и Россией. Им не составило труда убедить в этом немцев, да и не только.

Британские писатели тоже по-своему готовились к войне – причем в самых разных жанрах. Ей посвящали свои произведения и Конан Дойл, и Уэллс, и даже Вудхаус. Однако в этих книгах итог войны всегда был приблизительно один и тот же – разруха и голод (и только у Вудхауса финальная битва между силами зла – немцами и русскими – происходит в лондонском оперном театре). Это была литература ужасов, не способная кого-то воодушевить или привлечь романтикой подвига.

Поэтому, когда война все-таки разразилась, британским писателям пришлось начать с чистого листа и попытаться объяснить читателям, кто виноват и что делать, причем объяснить по возможности без явных признаков политического заказа.

«Мой старый приятель Мастермен, – писал Честертон в автобиографии о своей работе в 1914 году, -гордо рассказал мне, что его недруги вменяют ему в вину отсутствие нашей пропаганды в Швеции или в Испании. Это приводило его в восторг, ибо означало, что люди поглощают пропаганду, сами того не зная. Скажем, мой яростный очерк “Варварство Берлина” назвали по-испански “Концепция варварства”, словно безвредный философский труд. Дураки, бранившие Мастермена, изобразили бы на обложке британский флаг, а испанцы вряд ли стали бы

читать книжку и уж ни за что бы ей не поверили. Именно в таких делах Мастермен был намного тоньше и лучше своего окружения».

Деятельность «Веллингтон хаус» спровоцировала появление еще одной книги Честертона. Она оказалась в три раза больше первой и увидела свет в 1916 году, когда ситуация была совершенно иной, нежели осенью 1914-го. Иным был и Честертон: с конца осени 1914 года он оказался на грани гибели в своем собственном доме. Болезнь приковала его к постели, затем на несколько месяцев лишила сознания. От комы он очнулся только ближе к весне 1915 года, сразу же потребовал газеты и с ужасом прочитал, что война, в скоротечности которой все были уверены, и не думает заканчиваться и что на ее фронтах погибли уже сотни тысяч человек.

Но ужасало не только это. Война до крайности все упростила. Во всех воюющих странах пропаганда изо дня в день идеализировала своих (в меньшей степени – союзников) и демонизировала врага. Во всех воюющих странах действовала цензура, а сомнение приравнивалось к предательству. Во всех воюющих странах цель победы над врагом стала оправдывать любые средства. Страны еще держались, но мир определенно рушился. И Честертон решил написать книгу, в которой предъявил счет не только Германии, но и определенной части своей собственной страны – той, которую можно было бы назвать «правящим классом» Англии.

Вернемся к автобиографии: «Я же горжусь тем, что, кроме маленькой книжки о Берлине, я написал книгу побольше о преступлениях Англии. Я был твердо уверен, что наша страна проявляет фарисейство в миг неотложного нравственного выбора, и потому составил список тех грехов, которые совершила в последние века Британская империя, указывая при этом, что всякий раз империя Германская была гораздо хуже, более того – мы, собственно, ей и подражали». Так что не стоит думать, что писатель перешел через линию фронта или же встал над схваткой. Его настоящим противником были губительные идеи, поражающие сознание людей вне зависимости от цвета флагов над их головами. Об этих идеях он писал и в «Варварстве Берлина», и в «Преступлениях Англии», и где только мог.

Следов перевода этих двух книг в России обнаружить не удалось. В годы войны такой перевод могли счесть нецелесообразным; особенно это касается «Преступлений Англии». Сильное влияние Пруссии и Германии на Англию, о котором пишет Честертон, могло вызвать у российского читателя простую мысль – что у нас дела с этим обстоят еще хуже, чем у

англичан. Причем речь не только об императрице, но и о многочисленных российских немцах. Так рисковать в условиях войны вряд ли стоило. А после нее, учитывая не самое комплиментарное отношение Честертона к Марксу и марксистам, тем более.

Война между тем продолжалась, и Честертон взялся за третью книгу, которую можно отнести к тому же направлению – она тоже не переводилась в России. Осенью 1917 года вышла в свет «Краткая история Англии». «Преступления Англии» – в какой-то мере ее набросок. Эта третья книга еще толще -благо болезнь отступила и дала автору возможность плодотворно работать. Как и «Преступления Англии», «Краткая история…» немного напоминает детектив, в котором автор пытается найти настоящих преступников, разгадать их мотивацию и психологию, разоблачить их ложные алиби и хитрые увертки и почтить память их жертв. Возможно, главным ее персонажем является средневековая Англия -страна, с точки зрения автора, не только погубленная и забытая, но еще и оболганная.

В «Краткой истории Англии» Честертон попытался заново ответить на вопросы – кто такие англичане, от кого они произошли, к чему они стремились и во что верили, кто их подлинные друзья и кто их подлинные враги. Искать новые ответы пришлось именно потому, что прежние, данные другими историками и помещенные в школьные учебники, как раз и привели Англию, как и Европу в целом, на поля сражений. Даже победа в войне, которая в 1917 году казалась еще совершенно не очевидной, не означала победу над идеями, в которых Честертон видел корень зла. Поэтому его «Краткая история…» получилась столь яростной и боевой – пусть при этом и оказалась «гласом вопиющего в пустыне».

Британский читатель, хорошо знавший Честертона-писателя и Честертона-журналиста, оказался не готов к Честертону-историку. Вот что написал автор его прижизненной биографии Патрик Брейбрук в главе «Честертон как историк» в 1922 году: «Не стану утверждать, что эта книга – одна из лучших работ Честертона. Не потому, что в ней он недостаточно честен в изложении собственных взглядов, а лишь потому, что для ее понимания требуется хорошее знание свода всех прочих книг по истории. Возможно, дело в неподходящем названии. Было бы куда лучше назвать ее “История историй Англии и ошибок в них”. Эту книгу нельзя использовать как историческое пособие в школьном смысле этого слова. Но как авторская книга о некоторых поворотных моментах в английской истории она ценна… Дело в том, что вся история Англии столь неверно

понимаема, что Честертону пришлось прийти ей на помощь и рассказать, как все было на самом деле. И похоже, что все изучаемое нами в школе было пустой тратой времени, а бедный Грин на самом деле писал анти-историю этой страны».

«Краткая история Англии», равно как и «Преступления Англии» с «Варварством Берлина» – такие же документы своей эпохи, как, к примеру, «Вчерашний мир» Стефана Цвейга. Это свидетельства честного и умного человека о том, в каком мире он жил и что о нем думал. Никуда не деться от того, что в «Краткой истории Англии» встречаются слова, имевшие сто лет назад один смысл, а теперь, подчас, – другой (как, например, слово «негр»; Марк Твен и Агата Кристи тоже им пользовались). В ней также встречаются мысли, которые теперь стараются прятать, но сто лет назад они еще не были отягощены трагическим опытом двадцатого века, который теперь от них крайне трудно, если вообще возможно, отделить.

На фронт Гилберт Кийт Честертон так и не попал. Зато на передовую ушел и не вернулся его брат Сесил. На войне погибли, стали инвалидами или озлобленными мизантропами миллионы британцев, так что после ее окончания вновь оказались актуальными все те же вопросы: «А зачем? За что воевали? Где плоды победы?» В автобиографии Честертона есть ответ и на него: «Мистера Брауна пытались ограбить, но ему удалось сохранить и жизнь, и вещи. Вряд ли кто скажет: “В конце концов, что дала эта драка в саду? Тот же Браун, с той же внешностью, в тех же брюках, все так же ворчит за столом и рассказывает анекдоты”. Да, отогнав воров, он не превратился в греческого бога. Он имел право защищать себя и спасти, а уж спас именно себя, вот такого, не лучшего и не худшего. Очистить же мир, перестреляв всех возможных взломщиков, он права не имел».

Варварство Берлина

Что мы знаем

Если мы еще не сошли с ума, то присутствуем при самой умопомрачительной главе истории. Если же мы с него уже сошли, то и само понятие безумия потеряло свой смысл.

Если я подожгу чей-то дом, то смогу потом утверждать, что тем самым освещаю слабости окружающих меня людей, в том числе и свои собственные. Возможно, что хозяин дома сгорел, потому что был пьян, или хозяйка сгорела, потому что поскупилась на пожарную лестницу. Но переходя от частностей к общему, надо сказать – оба они сгорели, потому что их дом поджег я. Вот суть вещей. Суть нынешнего европейского пожарища столь же проста.

Прежде чем мы перейдем к более глубоким вещам, делающим нынешнюю войну самой искренней в человеческой истории, надо ответить на вопрос: почему Англия во все это ввязалась (точно так же, как человек проваливается в люк или не приходит на встречу). Факты, конечно, не вся правда. Но факты все-таки факты, и в данном случае они просты.

Пруссия, Франция и Англия обещали не нападать на Бельгию. Пруссия тем не менее собралась пройти через Бельгию, потому что это было самым безопасным путем нападения на Францию. При этом Пруссия обещала, что если она пройдет через Бельгию, перешагивая при этом через свои и наши прежние обязательства, то она только пройдет через нее и все. То есть нам предложили поверить в нечто новое в будущем в обмен на то, что в настоящем мы закроем глаза на нарушение прежнего обещания.

Тот, кто интересуется человеческой природой, может обратиться к старому писателю викторианской Англии, который в последнем и наиболее выдержанном из своих исторических трудов писал о Фридрихе Великом, создателе прусской политики – неизменной с тех самых пор. Описывая, как Фридрих нарушил гарантии, которые сам дал Марии Терезии, он затем переходит к рассказу о новых предложениях Фридриха и считает их оскорблением: «Если бы она отдала ему Силезию, он бы, как и обещал, встал бы на ее защиту от любой силы, которая попыталась бы лишить ее чего-то еще – как будто он уже не обещал этого ранее и как будто новые его обещания стоили больше ныне нарушаемых». Этот абзац написал Маколей[2] – и я мог бы написать то же самое о происходящем на наших глазах.

Невозможно в разумном состоянии здесь спорить о том, как происходящее касается логичных и законных интересов Англии. Все настолько просто, что вполне можно ограничиться схемами и

диаграммами, как у Эвклида. Можно сделать что-то вроде шуточного календаря – что бы случилось, если бы английские дипломаты каждый раз смолкали перед своими прусскими коллегами. Вот какой дневник бы получился:

24 июля. Германия вторгается в Бельгию.

25 июля. Англия объявляет войну.

26 июля. Германия обещает не аннексировать Бельгию.

27 июля. Англия выходит из войны.

28 июля. Германия аннексировала Бельгию. Англия объявляет войну.

29 июля. Германия обещает не аннексировать Францию. Англия выходит из войны.

30 июля. Германия аннексировала Францию. Англия объявляет войну.

31 июля. Германия обещает не аннексировать Англию. Англия выходит из войны.

1 августа. Германия вторгается в Англию…

Подумайте, как долго можно вести такую игру и хранить мир такой, не имеющей пределов, ценой? Как долго можно придерживаться пути, где спереди идеализированные обещания, но сзади одни руины? Стоп, – есть твердые факты, есть окончательные решения, и, как всегда говорили в своих документах дипломаты, сомнений не остается. Нет сомнений и в том, кто в этой повести злодей.

Таковы последние факты – те, которые касаются Англии. Не менее легко зафиксировать те более ранние факты, которые касаются Европы. Эрцгерцог, который практически уже правил Австрией, был застрелен людьми, которых австрийское правительство считает сербскими заговорщиками. Австрийское правительство подпоясывает чресла, но не говорит ни слова о том, подозревает ли оно Сербию или же, допустим, своего союзника – Италию. Из документов следует, что в неведении они оставили всех, кроме Пруссии. Возможно, ближе к истине утверждение, что Пруссия оставляет в неведении всех, включая Австрию. Это – то, что мы называем мнениями, убеждениями или здравым смыслом, но давайте сейчас немного отвлечемся.

Обратимся к объективным данным. Австрия потребовала от Сербии задержать и передать сербских офицеров в распоряжение австрийских офицеров, причем сделать это за 48 часов. То есть сербскому монарху по сути приказали сдать не только лавры двух только что выигранных военных кампаний, но и пожертвовать своей законной и поддерживаемой народом короной, причем сделать это в срок, за который ни один уважающий себя горожанин не почешется оплатить гостиничный счет. Сербия

попросила отсрочки, она попросила арбитража – мира. Но Пруссия, полагая, что Сербия может таким образом спастись, начала мобилизацию и объявила войну.

Между этими двумя ключевыми событиями – ультиматумом Сербии и ультиматумом Бельгии – происходит много такого, что каждый волен толковать по-своему. Если кто-то спрашивает, с какой стати царь поспешил на выручку сербам, поинтересуйтесь у него, с какой стати кайзер поспешил на выручку австрийцам. Если кто-то говорит, что французы могли напасть на немцев, вполне достаточен ответ, что на самом деле немцы напали на французов. В любом случае остается два отношения к происходящим событиям, два доказательства для спора, и их надо рассмотреть и учесть, исходя из ключевых фактов.

В первую очередь это забавный, туманный аргумент, на котором особенно настаивают профессиональные краснобаи из Пруссии, посланные направлять и исправлять сознание американцев и скандинавов. Они мгновенно закатывают истерику в ответ на замечания, что у России есть обязательства перед Сербией, а у Англии перед Бельгией, и утверждают, что вне зависимости от наличия или отсутствия договоров, наличия или отсутствия границ, России нельзя позволять убивать представителей тевтонской расы, а Англии – присваивать колонии.

Я думаю, что в этом, как и в других случаях, профессорам, раскиданным по прибалтийской низменности, не хватает ни ясности, ни законченности мысли. Естественно, у Англии есть свои материальные интересы, которые она будет защищать, и мы будем использовать самые разные возможности для их защиты; другими словами, Англия, как и любая другая страна на ее месте, чувствовала бы себя комфортнее, если бы Пруссия была менее могущественна.

Но факт остается фактом – мы не сделали того, что сделали немцы. Мы не вторгались в Голландию, чтобы усилиться в военно-морском и торговом плане. Что бы они ни говорили, что мы хотели сделать это из-за нашей жадности, но боялись так поступить из-за нашей подлости, но на самом деле мы просто этого не сделали.

Пока мы не покинули зону действия здравого смысла, я не могу представить, о чем еще тут можно спорить и как еще судить. Соглашение может быть заключено к обоюдной материальной выгоде, но моральное превосходство всегда на той стороне, которая соблюдает соглашение. Нельзя быть бесчестно честным, даже если честность – лучшая политика. Можно представить себе сложнейший лабиринт косвенных мотивов, но в любом случае

человек, который сохраняет верность данному слову, пусть и за деньги, не может быть хуже человека, который за деньги вероломствует. Это применимо в равной степени и к Сербии, и к Бельгии с Англией.

Сербы не самые миролюбивые люди, но на этот раз именно они желали мира. Если хотите, думайте, что сербы прирожденные грабители, но в данном случае люди, собравшиеся грабить, – это не они, а австрийцы. Точно так же вы можете называть Англию вероломной, основываясь на исторических обобщениях, и заявлять о вашей личной вере в кровожадность господина Асквита[3], еще в младенчестве давшего обет разрушить Германскую империю, по причине ненависти к орлам и подражая

Ганнибалу. Но называть человека вероломным за то, что он держит свои обещания, – бред. Не менее абсурдно обвинять делового человека за то, что он пришел на встречу вовремя, во внезапном предательстве и говорить о бесчестном ударе в кредиторскую спину со стороны должника, который пришел отдать долг.

И во-вторых, это не столь уж редкая в дни кризиса точка зрения, которую мне особенно приятно опровергнуть. Я обращаю свой голос против тех любителей и искателей Мира, кто весьма близоруко выбрал эту позицию чисто случайно. Этим нетерпеливым людям совершенно неважны всякие предварительные подробности – кто что сделал и был он прав или нет. Они вполне удовлетворяются утверждением, что грандиозное бедствие, именуемое войной, началось из-за некоторых или даже из-за всех нас и должно быть завершено некоторыми или всеми.

Этим людям глава, предваряющая событие, представляется не только сухой (а она и должна быть наиболее сухой частью истории), но также ненужной и бесплодной. Я хотел бы сказать этим людям, что они неправы; они неправы по всем статьям человеческого правосудия и преемственности истории; но особенно и сильнее всего они неправы по провозглашаемым ими же принципам арбитража и международного мира.

Эти искренние и возвышенные миролюбцы говорят, что граждане не должны более решать свои частные споры частным насилием, равно как и нации не должны в тех же целях прибегать к насилию общественному. Они говорят, что, раз уж мы перестали драться на дуэлях, то мы больше не нуждаемся и в войнах. В частности, они постоянно мотивируют свои мирные предложения тем фактом, что обычные граждане больше не мстят окружающим топором.

Но что предотвращает эту топорную месть? Если обычный

гражданин отрежет голову своего соседа тесаком, что надо сделать? Должны ли мы все взяться за руки, как дети в хороводе, и сказать: «Мы все ответственны за это; давайте будем надеяться, что это не войдет в моду. Давайте будем надеяться, что придет счастливый день, и в нем не будет места отрезанию голов тесаками, и что никто и никогда ничем ничего не отрежет»? Должны ли мы сказать: «Что было, то прошло; незачем оглядываться назад – кому нужны скучные подробности, и кто знает, не было ли в отрезанной голове зловещих мыслей, из-за которых она и оказалась в зоне досягаемости тесака»?

Нет, мы так поступать не должны. Мы храним мир в частной жизни, выясняя факты и находя верный объект для наказания. Мы лезем в скучные подробности, мы ищем причины, мы тщательно расследуем, кто же нанес первый удар. В общем, мы делаем именно то, что и я хочу очень кратко сделать вот на этом листе бумаги.

Учитывая вышеизложенное, я уверен, что под всей грудой фактов скрыта правда, причем ужасная правда – правда о душе. Очевидно, что великая держава Германия ошибалась относительно Сербии, ошибалась относительно России, ошибалась относительно Бельгии, ошибалась относительно Англии, ошибалась относительно Италии. Но у такой систематической ошибки должна быть причина, и об этой коренной причине, из-за которой против Германии восстала половина мира, я скажу чуть позже. Она слишком всеобъемлюща, чтобы нуждаться в доказательствах, слишком неоспорима, чтобы подробности могли что-то изменить. Она, ни много ни мало, после сотни лет взаимных обвинений и ложных толкований указала на источник современного европейского зла, на фонтан, яд из которого течет ко всем нациям Земли.

I. Война слов

Трудно не заметить, что многих людей, признающих право на самооборону для британского меча и не испытывающих особой любви к свисту сабель у Садовой и Седана, терзают смутные сомнения. Они сомневаются в том, достаточно ли прилична и демократична Россия, особенно в сравнении с Пруссией, чтобы быть союзником либеральных и цивилизованных держав. Что ж, придется начать с вопросов цивилизации.

В этой дискуссии нам жизненно важно постигнуть суть происходящего, а не просто договориться о смысле тех или иных слов. Нет резона дополнять каждый аргумент дискуссии разъяснением, что значит или должно значить каждое отдельное слово. Но разъяснить, что же мы хотим сказать используемым нами словом, необходимо. Пока наш оппонент понимает, *о чем* мы говорим, не так уж важно для спора, те ли в нем слова, которые мы выбрали, или какие-то другие. Солдат не говорит: «Мне приказали идти в Мехлин, но я лучше пойду в Малин[1]». На марше с ним можно поспорить об этимологии и археологии, но важно, знает ли он, куда идет.

Точно так же, пока мы знаем, что данное слово значит в данной дискуссии, не так уж важно, что оно значит в других и весьма отличных от нашей дискуссиях. Мы имеем полное право сказать, что ширина окна равна четырем футам, даже если мы вдруг весело сменим тему, перейдя на крупных млекопитающих, и скажем, что у слона четыре ноги[4] [5]. Совпадение слова не существенно, если нет сомнений в разнице смыслов; никто и не подумает о слоне длиной четыре фута или об окне с хоботом и округлыми бивнями.

Крайне важно, чтобы была полная ясность в том, *какой смысл* сокрыт в двух или трех словах, являющихся но сути дела ключевыми для этой войны. Одно из них – «варвар». Пруссаки применяют его к русским, русские применяют к пруссакам. И те, и другие действительно имеют в виду нечто, существующее в реальности под этим именем или каким-то иным. Но и те, и другие имеют в виду разное. И если мы спросим, в чем именно кроется разница, мы поймем, почему Англия и Франция предпочитают Россию и почему считают Пруссию действительно опасным варваром, если выбирать кого-то из двух.

Начнем с того, что Пруссия пала гораздо ниже в своих низостях даже в тех делах, в которых три империи Центральной Европы пали приблизительно поровну – например, при разделе Польши. Английский писатель, предупреждающий об опасном

росте российского влияния и пытающийся остановить войну, говорит, что между нами и союзом с Россией находятся поротые спины полячек. Но порка женщин одним австрийским генералом также имела место, за что его гоняли по лондонским улицам грузчики пивоварни «Барклай и Перкинс»[6]. Что же касается третьей державы, Пруссии, то ясно, что по сравнению с ее отношением к женщинам Бельгии старые порки выглядят пустой формальностью.

Но, как я и говорил, помимо любых подобных взаимных обвинений, есть куда более важные глубинные различия в том, что стороны понимают под варварством. Когда германский император жалуется, что мы запятнали себя союзом с варварской и наполовину азиатской державой, он вовсе не собирается (уверяю вас) лить слезы на могиле Костюшко. Когда я говорю (и делаю это от всего сердца), что германский император является варваром, я не просто высказываю свои предубеждения, которые имею относительно осквернения церквей или детей. И мои соотечественники и я имеют в виду совершенно конкретную и ясную вещь, когда называют пруссаков варварами. Она сильно отличается от того, что мы можем предъявить русским – ее просто невозможно представить их свойством. И очень важно, чтобы нейтральные страны поняли, что мы имеем в виду.

Когда немец называет русского варваром, он имеет в виду, что русский недостаточно цивилизован. Есть определенный путь, по которому западные нации шествуют в настоящее время, и Россия действительно продвинулась по нему не так далеко, как другие; у нее действительно не достает того, что мы считаем современной системой науки, торговли, техники, путешествий или политического устройства. Русский пашет старым плугом, он носит густую бороду, он обожает реликвии, его жизнь груба и тяжела, как у подданных Альфреда Великого.

Поэтому он – в германском смысле – варвар. Бедняги вроде Горького и Достоевского вынуждены в этих декорациях нести какую-то отсебятину, вместо того чтобы использовать развернутые цитаты из Шиллера или делать предписанные паузы для восхваления Всевышнего за лучшие виды Гессе-Пумперникеля[7]. Русские, у которых нет ничего, кроме их веры, их полей, их огромной отваги и их самоуправляющихся общин, действительно отрезаны от всего, что (на модных улицах Франкфурта) называется Правдой, Красотой и Добром. Вот истинный смысл наименования отсталости варварской; если сравнивать с Кайзерштрассе, то оно справедливо по отношению к России.

Но мы, французы и англичане, имеем в виду совершенно

другое, когда называем пруссаков варварами.

Даже если их города возвышаются над их самолетами, даже если их поезда быстрее их пуль, мы все равно будем называть их варварами. Мы должны точно знать, что мы имеем в виду под этим словом, и мы должны знать, почему оно верно. Под ним мы понимаем не то, что по какой-то причине недостаточно цивилизованно. Мы имеем в виду нечто, враждебное цивилизации по своей конструкции. Мы имеем в виду нечто, желающее войны с принципами, которые сделали возможным существование человеческого общества.

Естественно, надо быть частично цивилизованным, чтобы уничтожать цивилизацию. Такие развалины после себя не смогли бы оставить дикари – они для этого недостаточно развиты. Гуннов не было бы без лошадей, а всадников без умения на них скакать. Датских пиратов не было бы без кораблей, а кораблей без корабельного ремесла. Человек, которого я назвал бы «варваром-плюс», должен быть куда современнее, чем тот, кого я назвал бы «варваром-минус». Аларих был офицером римского легиона, но именно он уничтожил Рим. Напрасно предполагать, что эскимос смог бы сделать это столь же умело. Ведь варварство (в нашем понимании) заключается не в средствах, а в целях. Мы видим, что эти лощеные варвары имеют абсолютно серьезную цель – разрушение определенных идей, которые, как они считают, мир перерос, но без которых, как мы считаем, мир погибнет.

Эту опасную особенность пруссака, или «варвара-плюс», надо искоренить. По его мнению, он носитель новой идеи, и он собирается применить ее к каждому. На самом деле это лишь ошибочное обобщение, но он действительно пытается сделать его всеобщим. К «варварам-минус» оно не относится; не относится к русским и сербам, даже если они и варвары.

Если русский крестьянин бьет свою жену, он делает это потому, что так делал его отец; похоже, что с течением времени он бьет ее реже, а не чаще. Он не думает, как пруссак на его месте, что сделал открытие в физиологии – оказывается, женщина слабее мужчины.

Если серб вместо переговоров кидается с ножом на своего врага, он делает это потому, что другие сербы поступали так же. Он принимает эстафету со смирением, но не считает ее прогрессом. Он не думает, как пруссак, что основал новую хорологическую школу, когда сделал фальстарт. Он не думает, что он опережает мир по милитаризму, хотя на самом деле отстает от него по морали.

Нет, опасность исходит от пруссаков потому, что они собрались драться за старую ложь, считая ее новой правдой. Они

что-то слышали о мелких упрощениях, но не могут представить себе, что мы тоже о них слышали. И, как я писал, их ограниченное, но очень искреннее безумие связано с желанием разрушить две идеи, лежащие в основе разумного общества. Первая – идея письменного обещания, вторая -идея взаимовыручки.

Очевидно, что именно обещание, то есть продленная ответственность, есть то, что отличает нас – не скажу от дикарей, но… – от скотов и рептилий. Ветхий Завет, описывая темную неукротимую чудовищность Левиафана, говорит: «Сделает ли он договор с тобою?..» (Иов 40:23). Обещание, как и колесо, неизвестно Природе – это изобретения человека. Только говоря о человеческой цивилизации, можно серьезно сказать, что вначале было Слово. Клятва для человека все равно что песня для птицы или лай для собаки – это его голос, благодаря которому он выделяется из других. Как человек, который не способен сдержать слово, не готов к дуэли, так и человек, не способный сдержать обещание самому себе, недостаточно вменяем даже для самоубийства.

Не так уж просто найти еще что-то, от чего весь огромный агрегат человеческой жизни зависел бы в той же степени. Если уж он от чего-то и зависит, то вот от этой тоненькой веревочки, протянутой из забытых холмов вчерашнего дня в невидимые горы дня завтрашнего. На этой единственной струне висит все от Армагеддона до альманаха, от успешной революции до обратного билета. И эту единственную струну упорно пытаются обрубить, по счастью, тупой саблей.

Увидеть это несложно, надо только почитать переписку между Лондоном и Берлином. Пруссаки сделали открытие в международной политике: часто бывает удобно давать обещание и до странности неудобно выполнять его. Они были по-своему очарованы этим научным достижением и решили познакомить с ним мир. Кроме этого, они сделали Англии новое обещание при условии, что та нарушит собственные обещания, но при этом подразумевая, что новое обещание может быть нарушено столь же легко, как и предыдущее.

К вящему удивлению Пруссии это разумное предложение было отклонено. Я верю, что разочарование Пруссии было совершенно искренним. Это как раз то, что я имел в виду, когда говорил, что варвары пытаются обрубить струну честности и ясных записей, на которой держится все сделанное человеком.

Друзья немцев жалуются, что против них брошены диковатые азиаты и африканцы из Индии и Алжира. И при обычных обстоятельствах я бы отнесся к этим европейским жалобам с

симпатией. Но обстоятельства необычны. Варварство Пруссии уникально, оно глубже того, что мы обыкновенно зовем варварством. Верно, что в деле обычного варварства тюрки и сикхи вполне могут соответствовать вышестоящим. Общая и единственная причина отказа от использования неевропейских племен против европейцев была названа еще Чатемом, который говорил о краснокожих: такие союзники могут натворить много дьявольщины. Но бедные тюрки после уикенда в Бельгии могут задать совершенно оправданный вопрос: что более дьявольского они *могут* натворить, чего бы культурные германцы еще не сделали сами без посторонней помощи?

Тем не менее оправдание любой неевропейской помощи серьезнее этих деталей. Оно основывается на том, что и другие цивилизации, в том числе малоразвитые, в том числе удаленные и отталкивающие, в той же степени, что и мы, зависят от того же главного принципа, которому сверхмораль Потсдама объявила открытую войну. Даже дикари дают обещания и уважают тех, кто держит слово. Даже восточные люди записывают обещания, и хотя они делают это справа налево, они тем не менее признают ценность этих клочков бумаги.

Многие купцы скажут вам, что слово мрачного и лишенного гуманизма китайца часто столь же ценно, как и его письменное обязательство. То же под пальмами и сводами сирийских шатров, где открылось великое изречение тому, «кто клянется себе во вред и не изменяет»[8]. Безусловно, Восток – это тесный лабиринт двуличности, и отдельный азиат, видимо, лукавее отдельного немца. Но мы говорим не о нарушениях человеческой нравственности в разных концах мира. Мы говорим о новой и бесчеловечной нравственности, отрицающей любые обязательства. Пруссакам объяснили их светочи, что все на самом деле зависит от Настроения, а политики – что любые договоренности растворяются перед «необходимостью».

В этом и заключается важность слов канцлера Германии. Он не стал делать исключения для Бельгии, которое в случае чего можно было бы использовать в качестве подтверждения правила. Он недвусмысленно заявил, как о чем-то приложимом к любым ситуациям, что победа необходима, а честь – лишь клочок бумаги. Очевидно, что полуобразованное прусское воображение на самом деле не способно представить ничего иного, кроме этого. Оно неспособно увидеть, что если все час за часом будут действовать полностью непредсказуемо, то это положит конец не только обещаниям, но и любым проектам. Неспособный увидеть это берлинский философ по умственному уровню оказывается ниже араба, уважающего соль, или брамина, стоящего за касты.

И мы имеем право прийти с ятаганами или с саблями, с луками или с винтовками, ассагаями, томагавками или бумерангами, потому что все это – семя той цивилизации, которую эти интеллектуальные анархисты убивают. И если они обнаружат нас в нашем последнем пристанище перепоясанными странными мечами и под непривычными знаменами и спросят, почему мы боремся с ними в столь странной компании, мы точно знаем, что надо ответить: «Мы боремся за веру и за назначенные заранее свидания[9], за воспоминания на бумаге и возможность обещанной встречи, за то, что делает нашу жизнь всем, чем угодно, но не неуправляемым кошмаром. Мы боремся за крепкую руку чести и памяти, за то, что способно вытащить человека из зыбучих песков его настроений и дает ему власть над временем».

II. Отказ от принципа взаимности

В первой главе я определил, что варварство, в нашем понимании, не возникает из-за невежества или жестокости. У него есть очень точный смысл – это вооруженная враждебность вполне определенным идеям, необходимым человеку. Я рассмотрел случай обета или контракта, которые разрушают прусские интеллектуалы. Я утверждал, что пруссак является духовным варваром, так как связан с собственным прошлым не больше чем спящий. Он не скрывает, что, когда обещал в понедельник уважать границы, он не предвидел возникновения «необходимости» их неуважения во вторник. Иначе говоря, он как ребенок, которому после всех разумных объяснений и напоминаний о достигнутых соглашениях не остается ничего другого, кроме слов: «А я *хочу* так».

Это второй столп человеческих установлений, столь же позабытый, сколь и основополагающий, но отвергаемый впервые. Его можно назвать принципом взаимности или, более по-английски, идеей «отдай-и-возьми». Похоже, что пруссак при всем своем уме неспособен понять эту мысль. Он не может, я думаю, принять идею, являющуюся основой любой комедии, – что в глазах остальных людей он всего лишь другой человек. Если мы применим этот ключ к любым установлениям опруссаченной Германии, мы обнаружим, как забавно ограничено их сознание именно этим обстоятельством.

Немец отличается от других патриотов неспособностью понять патриотизм. Другие европейские народы жалеют поляков или валлийцев, границы которых нарушены, но немцы жалеют только самих себя. Они могут взять силой под контроль берега Северна или Дуная, Темзы или Тибра, Гарри[10] или Гаронны, но все равно будут уныло петь о том, как тверд и надежен страж на Рейне и как жаль, если кто-нибудь посягнет на их реку. Именно в этом и заключается то, что я называю отсутствием взаимности; и вы можете найти это во всем, что они делают – как и во всем, что делают дикари.

Здесь снова необходимо избежать путаницы между этим дикарством и простой дикостью в виде жестокости и даже бойни, которая не миновала ни греков, ни французов, ни любой другой цивилизованный народ в часы жуткой паники или мести. Обвинения в жестокости обычно взаимны. Но в том-то

и дело с пруссаками, что по отношению к ним ничто не может быть взаимно. Подлинный дикарь по определению не сравнивает самого себя с другими племенами даже в том, как

сильно он мучает незнакомцев или пленников. Подлинный дикарь хохочет, когда мучает вас, и ревет, когда вы мучаете его. Это исключительное неравенство сквозит в любом действии и любом слове, приходящем из Берлина.

Надеюсь, ни один человек в мире не верит всему написанному в газетах, и ни один журналист не верит газетам больше чем на четверть. Нам следует, так или иначе, быть готовыми к тому, что многое из написанного о германских мерзостях окажется неточно, что придется сомневаться и даже отрицать их. Но есть то, в чем нет ни сомнений, ни отрицаний – в печати и власти императора[11]. В прокламациях императора утверждается, что определенные «пугающие» действия допустимы, и то, что они были предприняты, оправдывается именно их пугающим действием.

То есть была военная необходимость в устрашении мирного населения чем-нибудь нецивилизованным, чем-то бесчеловечным. Очень хорошо. Это внятная политика, и в каком-то смысле это внятный аргумент. Армия, подвергаемая угрозам со стороны иностранцев, делает много пугающих вещей. Но когда мы переворачиваем страницу открытого дневника кайзера, то обнаруживаем его письмо к президенту США с жалобами на использование англичанами пуль «дум-дум» и нарушения различных параграфов решений Гаагской конференции.

Я пропускаю вопрос о том, есть ли хоть слово правды в этих обвинениях. Я с восторгом смотрю в моргающие глаза Подлинного варвара, или «варвара-плюс». Я полагаю, он был бы совершенно озадачен, если бы мы ответили ему, что нарушение решений Гаагской конференции было для нас «военной необходимостью» или что правила, установленные этой конференцией, являются «клочком бумаги». Он бы крайне болезненно воспринял, если бы мы сказали, что пули «дум-дум», благодаря их «устрашающему действию», будут крайне полезны в деле поддержания порядка среди завоеванных немцев.

Он считает, что раз он – это он, а не вы, то он свободен и нарушать закон, и одновременно апеллировать к закону; он не может вдруг перестать так думать и действует в соответствии с этим убеждением. Говорят, что прусские офицеры играют в Криг-шпиль, или Военную игру[12], но на самом деле они не способны играть ни в какую игру, потому что суть любой игры – правила одинаковы для обеих сторон.

Если взять любое германское установление по очереди, везде одно и то же – так что дело не в обычном кровопролитии или военной браваде. Дуэль, например, вполне законно может быть названа варварством (слово в данном случае имеет другой

смысл). В Германии есть дуэли, но есть они и во Франции, Италии, Бельгии и Испании; дуэли есть там же, где есть стоматологи, газеты, турецкие бани, расписания и иные проклятия цивилизации -за исключением Англии и угла Америки. Вы можете воспринимать дуэль как историческую реликвию относительно варварских государств, на базе которых выросли более современные государства. Вы можете придерживаться другой точки зрения, по которой дуэль – это признак как раз высокой цивилизации, поскольку она признак более утонченного понимания чести, повышенной уязвимости тщеславия и сильнейшей боязни общественного порицания. Но какого бы взгляда вы ни придерживались, вы должны признать, что суть дуэли – в равенстве вооружений.

Я бы не стал применять слово «варварский» в том значении, как я его понимаю, к дуэлям германских офицеров или к тем поединкам на тесаках, которые обычны для немецких студентов. Я не вижу причин, почему бы юным пруссакам не заработать пару шрамов на лице, если им это так нравится, – они часто лишь добавляют что-то интересное к физиономиям, не отягощенным исключительностью. Дуэль можно защитить, и бутафорскую дуэль тоже.

Но что невозможно защитить, так это свойственное Пруссии занятие, о котором ходит бесчисленное множество историй, часть из которых определенно правдивы. Занятие может быть названо односторонней дуэлью. Я имею в виду, что обнажение меча на человека, мечом не обладающего (официанта, продавца, школьника), может считаться доблестью. Один из кайзеровских офицеров в Цабернском инциденте[13] усердно рубил калеку.

В подобном случае я хотел бы избежать эмоций. Мы не должны утрачивать спокойствие от обыденной жестокости происходящего, но я хочу подчеркнуть принципиальную разницу в психологии. Другой на месте германского солдата может убить безоружного из алчности, или похоти, или по злобе – как обычный убийца. Но в том-то и дело, что нигде, кроме как в опруссаченной Германии, нет представления, по которому подобное может сочетаться с честью, с чем-то более высоким, чем отравительство или карманное воровство. Ни француз, ни англичанин, ни итальянец, ни американец не станет думать, что возвысит себя самого, если ударит саблей смешного зеленщика с огурцом в руке. Такое ощущение, что слово, которое на немецкий язык переводится как «честь», означает что-то совершенно иное в Германии. Кажется, оно скорее означает то, что мы называем «престижем».

В основе всего этого лежит отсутствие принципа взаимности.

Пруссак недостаточно цивилизован для дуэли. Даже когда он скрещивает мечи, он думает не то же самое, что мы; и когда ими и нами прославляется война, прославляются на самом деле разные вещи. Наши медали чеканятся одинаковым способом, но они означают разное; мы похоже приветствуем наши полки, но в сердцах у нас оживают разные чувства; на груди их короля Железный Крест, но это не знак нашего Бога.

Мы, увы, следуем за нашим Богом со множеством завихрений и внутренних противоречий, а пруссак следует за своим очень последовательно. Во всем, что мы исследуем, во взглядах на национальные границы, на методы войны, на личную честь и самооборону, он действует с отвратительной простотой, слишком простой, чтобы мы ее поняли: с мыслью о том, что слава приходит к тому, кто поднимает сталь, а не к тому, кто противостоит стали.

Если бы требовались примеры, их можно было бы найти сотни. Давайте на некоторое время оставим в стороне отношения между мужчинами, называемые дуэлью. Давайте перейдем к отношениям между мужчиной и женщиной, чью вечную дуэль мы называем браком. Здесь мы снова находим, что христианская цивилизация стремится к своего рода равенству, даже если равновесие в данном случае неразумно и опасно. Два крайних случая отношения с женщинами представлены теми, кого в Америке и во Франции зовут респектабельным классом.

В Америке выбирают риск товарищества, во Франции – учтивость. В Америке на практике любой молодой джентльмен может вовлечь юную леди в то, что он называет (я глубоко сожалею, что произношу это) «покувыркаться»; но по крайней мере мужчины идут на это с женщинами в той же степени, что и женщины идут на это с мужчинами. Во Франции молодая женщина защищена, как монашка, пока она не замужем; а когда она мать, она уже по-настоящему святая женщина; а когда она бабушка, она уже святой ужас. Но и в том и в другом случае женщина получает что-то от жизни.

Есть только одно место, где она не получает ничего или почти ничего, и это север Германии. Франция и Америка, похоже, стремятся к равенству: Америка через сходство, Франция через различия. Но северная Германия совершенно определенно стремится к неравенству. Женщина спорит не чаще дворецкого, мужчина стесняется этого не больше чем гость. Это столь же точное подтверждение неполноценности, как в случае с саблей и торговцем. «Если ты идешь к женщине, не забудь свой кнут», – сказал Ницше. Обратите внимание – он не сказал «кочергу», которая была бы куда более естественна для христианского женоборца. Но кочерга – часть домашнего уклада, и ее может

использовать как муж, так и жена. Так обычно и бывает. А вот меч или кнут – орудие привилегированной касты.

Перейдем от ближайшего из всех различий – между мужем и женой – к самому удаленному из них: разнесенным в пространстве и не связанным между собой расам, которые нечасто видели друг друга в лицо и практически никогда не соприкасались кровью. Здесь мы найдем все тот же неизменный прусский принцип. Каждый европеец может чувствовать подлинный ужас перед Жёлтой опасностью; многие англичане, французы и русские чувствовали и передавали его. Многие могут сказать, да и уже сказали, что языческий китаец совсем языческий, что если он поднимется на нас, то будет топтать, пытать и уничтожать так, как только восточные люди могут, а вот западные – нет.

И я не сомневаюсь в искренности германского императора, когда он утверждал, что кошмарная военная кампания будет самой отвратительной и ненормальной из всех. Но весь юмор, вся ирония ситуации впереди – так всегда бывает, когда пруссак пытается быть философом. Кайзер сперва объяснил своим войскам, как важно избегать восточного варварства, а затем приказал им самим стать восточными варварами. Весьма многословно он повелел им быть гуннами и не оставлять за своими плечами ничего живого. По сути он предложил направить на Дальний Восток полчища татар, но тогда, когда в этих татар сумеют превратиться ганноверцы.

Любой, кто имеет болезненную привычку самоанализа, увидит здесь очередное отрицание принципа взаимности. Если выварить логику кайзера до костей, останется следующее: «Я немец, а ты китаец. Но поскольку я немец, у меня есть все права, в том числе право быть китайцем. А вот ты – китаец, и у тебя нет никаких прав, в том числе права быть китайцем, потому что ты всего лишь китаец». Вероятно, это высшая точка, которой достигала германская культура.

Принцип, которым она пренебрегает (он может быть назван «взаимозависимостью» теми, кто не понимает и не любит слово «равенство»), не дает возможности увидеть столь ясно разницу между пруссаками и всеми остальными народами, как дает увидеть это пруссакам их бесконечный и разрушительный оппортунизм, или, другими словами, принципиальная беспринципность.

Эту черту довольно часто можно встретить в других цивилизациях или полуцивилизациях по всему миру. Определенные понятия клятвы и обязательства есть и у самых грубых племен, на самых мрачных континентах. Но можно со всей

ответственностью утверждать, что людоед с острова Борнео понимает во взаимности столь же мало, как и профессор в Берлине.

Узкая и односторонняя серьезность – черта варваров всего мира. Ее можно уподобить одному глазу циклопа: варвар не способен видеть предметы в объеме, с двух точек зрения; поэтому он и становится слепым чудовищем и людоедом. Нет лучшего индикатора для выявления дикаря, чем его неспособность к дуэли. Он не может ни любить, ни ненавидеть своего соседа как самого себя.

Но это свойство Пруссии приводит к еще одному следствию, незнакомому низшим цивилизациям. Оно раз и навсегда избавляет Германию от цивилизационных миссий. Можно доказать, что германцы -последние люди в мире, которым позволительно доверить такую миссию. Они близоруки как морально, так и физически. Что значит софизм «необходимость», кроме как неспособность представить завтрашнее утро? Отрицание принципа взаимности – что это, как не неспособность представить себе даже не бога или черта, а просто другого человека? Им ли судить человечество?

Люди из двух африканских племен понимают, что они оба – люди; более того, что они оба – черные люди. Это серьезное достижение по сравнению с уровнем прусского интеллектуала, неспособного увидеть, что все мы – белые люди. Обычный глаз не способен уловить в северо-восточном тевтонце что-либо, что выделяет его из столь же бесцветных групп остального арийского человечества. Он просто белый человек, склонный седеть или сереть.

Тем не менее в серьезных официальных документах он будет объяснять разницу между собой и нами природными свойствами, присущими «расе господ» и «низшей расе». Крах немецкой философии происходит чаще в самом начале спора, нежели в его конце, и заключается он в отсутствии иного способа проверки на принадлежность к «высшей расе», кроме как определения расы собеседника. Если ее трудно установить (как это обычно и бывает), то все в итоге сведется к бессмысленному занятию – написанию истории доисторических времен.

Я серьезно полагаю, что если немцы могут дать свою философию готтентотам, то нет причин, по которым они не могут передать готтентотам и свое чувство превосходства. Если уж они видят тонкие оттенки между готами и галлами, то почему бы тем же оттенкам не приподнимать одних дикарей над другими дикарями. И тогда какой-нибудь представитель племени оджибве[14] обнаружит, что он на один тон краснее представителя

племени дакота[15], а любой негр в Камеруне теперь сможет сказать, что он не так черен, как его малюют.

Поэтому ничем не доказанное расовое превосходство есть последнее и худшее следствие отказа от принципа взаимности. Пруссаки призывают всех людей наслаждаться красотой их больших голубых глаз, но при этом считают: если люди так поступят, значит, у них глаза низшей расы, если же нет – значит, у них вообще нет глаз.

Везде, где есть даже самые незначительные следы людей нашей расы, следы, потерянные и высохшие среди пустыни или погребенные навсегда под руинами цивилизации – везде есть зыбкая память о том, что люди – это люди, а сделки – это сделки, что у любого вопроса есть две стороны, даже если это обстоятельство приводит к спорам между людьми. Эти следы дают нам право сопротивляться Новой Культуре хоть ножом, хоть дубиной, хоть сколотым камнем. Для пруссака культура начинается с акта разрушения любой творческой мысли, любого созидательного действия. Он разбивает в своем сознании зеркало, в котором человек может увидеть лицо друга или врага.

III. Аппетит тирании

Германский император упрекнул эту страну[16] в заключении союза с «варварской и полувосточной державой». Мы уже рассматривали, какой смысл мы вкладываем в слово «варварский»: варвар – это тот, кто враждебен цивилизации, а не тот, кто недостаточно развит для нее. Но когда мы переходим от идеи варварства к идее Востока, становится еще любопытнее.

Нет ничего особенно татарского в русских делах, за исключением того факта, что Россия сбросила иго татар. Восточный завоеватель оккупировал и крушил эту страну много лет; но то же самое можно сказать о Греции, или об Испании, или даже об Австрии. Если Россия пострадала от Востока, то она пострадала во время сопротивления Востоку, и мне трудно понять, почему ее чудесное спасение должно было сделать ее происхождение загадкой.

Иона мог быть или не быть в ките на протяжении трех дней, но нахождение в ките не сделало его русалкой. Во всех остальных случаях с европейскими нациями, спасшимися от чудовищного плена, мы признаем чистоту и непрерывность их европейства. Мы считаем, что старая восточная система власти -это рана, а не пятно.

Меднокожие люди, пришедшие из Африки, на столетия подмяли религию и патриотизм испанцев. Однако я никогда не слышал, что Дон Кихот был африканской басней, основанной на «Дядюшке Римусе». Я никогда не слышал, что густой черный цвет на картинах Веласкеса объясняется его негритянским наследием. В случае с испанцами, которые нам близки, мы можем признать воскрешение христианской и культурной нации после веков рабства.

Россия дальше, но только те, кто не видит в народах ничего, кроме названий в газетах, вроде друга мистера Баринга, может сказать, что все русские церкви – это мечети. Однако земля Тургенева – не пустошь, населенная факирами; и даже фанатичные русские горды тем, что отличны от монголов – так же, как фанатичные испанцы горды своими отличиями от мавров.

Город Рединг, какой бы он ни был, предоставляет относительно немного возможностей для пиратства в дальних морях[17]; тем не менее в годы Альфреда Великого он был лагерем пиратов. Мне было бы непросто назвать жителей Беркшира полу-датчанами, опираясь на то, что когда-то они датчан прогнали.

Словом, судьба обрекла многие наиболее цивилизованные

государства христианского мира на временное подчинение затопившим их волнам дикарей; довольно нелепо утверждать, что Россия, сражавшаяся с ними яростнее других, затем исцелилась менее других. Несомненно, Восток везде покрывает завоеванные страны чем-то вроде эмали, но и трескается эта эмаль повсеместно.

Истинная история на самом деле совершенно противоположна дешевой пословице, направленной против московитов. Это просто неверно говорить: «Поскребите русского, и вы найдете татарина». Даже в самый темный час варварского владычества куда уместнее было бы сказать: «Поскребите татарина, и вы найдете русского». Эта цивилизация выжила под гнетом варварства. Эта жизненная романтика России, ее революция против Азии, может быть подтверждена точными фактами: не только о почти сверхчеловеческих усилиях России в борьбе[18], но и то встречается гораздо реже в человеческой истории) о ее крайне последовательном поведении[19].

Она – единственная великая нация, которая изгнала монголов из своей страны и продолжила препятствовать их присутствию на ее континенте. Зная, что они сделали в России, она понимала, что они могут сделать в Европе. И она следовала этой логике, продолжая отказывать в симпатии энергиям и религиям Востока.

Известно, что любая другая страна оказывалась в роли союзника турок, то есть монголов и мусульман. Французы использовали их как средство против Австрии, англичане нежно поддерживали их в годы Пальмерстона[20], даже юные итальянцы ради них отправили свои войска в Крым, о немцах и их вассалах австрийцах в наши дни и говорить незачем. Как бы ни относиться к этому факту, но надо признать – Россия единственная из европейских держав никогда не поддерживала Полумесяц против Креста.

Может быть, это не так уж важно, но это может стать важным в определенных обстоятельствах. Предположим, что один влиятельный князь демонстративно отклонился от своего пути, чтобы заявить об уважении потомкам татар, монголов и мусульман, и завернул на их форпост в Европе[21]. Предположим, что один христианский император не смог пройти к могиле Распятого без поздравлений живущим и здравствующим распинающим.

Если бы существовал такой император, который направляет пушки, инструкции, карты и специалистов по бурению для защиты остатков монголов в христианском мире, что бы мы должны были сказать ему? Как минимум мы могли бы задать ему

вопрос, не является ли наглостью с его стороны вообще обсуждать чью-либо поддержку полувосточных держав? То, что мы поддерживаем полувосточную державу, мы отрицаем. То, что он поддерживает целиком восточную державу, отрицать невозможно -даже тому, кто это делает.

Следует отметить еще одно существенное отличие между Россией и Пруссией, и сделать это для тех из нас, кто использует против них обычные либеральные аргументы. Россия следует своей политике, и, если вы хотите, вы можете считать ее смесью добра и зла; но она по крайней мере делает добро так же, как и зло.

Допустим, эта политика угнетает финнов и поляков – хотя поляки в России угнетены куда меньше, чем поляки в Пруссии. Но вот простой исторический факт: даже если Россия и является деспотом для некоторых малых народов, то для других малых народов она освободитель. Она освободила или по крайней мере помогала освобождению сербов и черногорцев. Кого же освободила Пруссия – хоть бы и случайно?

По удивительному стечению обстоятельства во всех бесконечных перестановках международных отношений Гогенцоллерны[22] никогда не вставали на путь света. Они вступали в союзы практически со всеми и против всех – с Францией, с Англией, с Австрией, с Россией. Но может хоть кто-то признаться, что они хоть на ком-то оставили отпечаток прогресса или свободы? Пруссия была врагом французской монархии, но еще худшим врагом для французской революции. Пруссия враждует с царем, но еще сильнее враждует с Думой. Пруссия не уважает права австрийцев, но сегодня демонстрирует солидарность с австрийцами в их ошибках.

В этом заключается огромная разница между двумя империями. Россия преследует определенные и ясные цели, у нее как минимум есть идеалы, ради которых она готова идти на жертвы и будет защищать слабых. Но северогерманский солдат – это разновидность абстрактного тирана, который всегда и везде стоит на стороне конкретной тирании.

Тевтонец в форме мог быть обнаружен в самых разных местах – стреляющим по фермерам у Саратоги[23] и порющим солдат в Суррее[24], вешающим негров в Африке или насилующим девушек в Уиклоу[25]. Но нигде, по какой-то загадочной неизбежности, он не протянул руку помощи для освобождения хотя бы одного города или обретения независимости хотя бы одного знамени. Везде, где процветают презрение и угнетение, найдется пруссак – бессознательно последовательный, инстинктивно карающий, простодушно злой, «ищущий тьму как мечту»[26].

Предположим, что мы услышали о человеке (одаренном долголетием), который помогал герцогу Альбе карать голландских протестантов, затем помогал Кромвелю карать ирландских католиков, а затем помогал Клеверхаусу[27] карать шотландских пуритан. Логично назвать такого человека карателем, а не протестантом или католиком.

Любопытно, что именно такую позицию заняла Пруссия в Европе. Нет смысла возражать тому, что в трех случаях она поочередно оказалась на стороне трех правителей разных вероисповеданий, между которыми не было ничего общего – за исключением того, что они являлись угнетателями. Каждое из этих трех правительств, взятое отдельно, имело хоть какие-то оправдания своим действиям или проявляло хоть какой-то гуманизм.

Когда кайзер помогал властителям России сокрушать революцию, эти властители несомненно верили, что сражаются с силами ада, атеизма и анархии. Социалист английского типа кричал на меня, когда я говорил о Столыпине, он утверждал, что Столыпин получил известность как вешатель, откуда и взялся термин «столыпинский галстук». Но на самом деле, кроме галстука, о Столыпине можно сказать много интересного: о его политике поддержки крестьянского предпринимательства, о его личной храбрости и уж конечно о том, что в предсмертный миг он перекрестил царя, считая его венценосной опорой христианства. Но кайзер не считал царя опорой христианства. Он поддерживал в делах Столыпина только галстук и ничего, кроме галстука: виселицы, но не кресты.

Русский правитель верил, что православная церковь православна. Австрийский эрцгерцог мечтал сделать католическую церковь католической. Он искренне верил в то, что быть прокатолическим и значит быть проавстрийским. Но кайзер не может быть прокатолическим и тем более не может быть по-настоящему проавстрийским, он просто всей душой антисербский.

Мало того, в жестокой и бесплодной силе Турции человек с воображением может увидеть трагедию и чуткость настоящей веры. Худшее, что можно предложить мусульманину, как это сделал поэт, это предложить ему на выбор Коран или меч. Лучшее, что можно сказать о немце – что его совершенно не привлекает Коран, но если он получит меч, то будет удовлетворен.

А для меня, покаюсь, даже грехи этих трех империй по сравнению с грехами германской печальны и достойны. И я чувствую, что они не заслуживают того, чтобы маленький

лютеранский бездельник покровительствовал всему злому, что в них есть, но игнорировал все доброе. Он не католик, не православный и не мусульманин. Он просто старый господин, который хочет поделиться с другими своими преступлениями, хотя не может поделиться своей верой. Все инстинкты пруссака восстают против свободы так сильно, что он скорее попытается угнетать чужих подданных, чем представит кого-нибудь живущим без пользы, приносимой угнетением. Он деспот, но деспот бескорыстный. Он бескорыстен, как дьявол, который готов взяться за любую грязную работу.

Все это казалось бы фантазией, если бы не подтверждалось надежными фактами, не объяснимыми никаким иным образом. Например, было бы немыслимо думать так о целом народе, состоящем из свободных и разных личностей. Но правящий класс в Пруссии – это именно правящий и именно класс: небольшая группа людей, думающих над линиями маршрутов, по которым затем будут ходить все остальные люди.

Другой парадокс Пруссии связан с тем, что ее князья считают своей миссией на земле уничтожение демократии, где бы она ни была, но при этом убеждают окружающих, что являются не стражами прошлого, а провозвестниками будущего. Даже они не считают свою теорию популярной, но вот прогрессивной - считают.

И здесь снова обнаруживается духовная пропасть, разверзшаяся между двумя монархиями. Русские учреждения во многих случаях устарели и отстали от людей России, и многие русские это знают. Но прусские учреждения считаются достижением прусского народа, и большая часть народа в это верит. Вождям куда проще идти в мир и навязывать безнадежное рабство всем вокруг, если они уже сумели навязать собственному народу своеобразное иго – иго с надеждой.

Когда нам говорят о древних беззакониях России и о том, какой отсталой является русская власть, мы должны ответить: «Да, в этом и состоит превосходство России». Их учреждения – часть их истории, как реликвии или древности. В них действительно используется насилие, но тут надо уточнить – оно выходит из употребления. Если у них и есть какие-то дремучие приспособления для устрашения и пыток, то они рано или поздно рассыплются от ржавчины, как старые доспехи.

Но в случае с прусской тиранией – если это тирания, то уж точно не устаревшая. Это тирания на старте; как сказал бы конферансье: «Итак, мы начинаем!» Пруссия – это процветающий завод, новый до последнего винтика, огромная мастерская с колесами и приводами новейших и изысканнейших форм, при

помощи которых они хотят ввергнуть Европу во мрак реакции… *infandum renovare dolorem*[28].

И если мы хотим убедиться в истинности сказанного, это можно сделать тем же методом, которым мы пользовались в случае с Россией: даже если ее раса или религия иногда делали русских завоевателями и угнетателями, точно так же они могли быть освободителями и безупречными рыцарями. То же самое и с русскими учреждениями – если они столь отсталы, то они честно показывают и зло, и добро, какие только можно найти в старомодных вещах. В их полицейской системе присутствует неравенство, что противоречит нашим представлениям о законе. Но в их общинах есть равенство куда более древнее, чем сам закон. Если они и секут друг друга, как варвары, то и называют они друг друга христианскими именами, как дети. Даже в худшем они сохранили лучшее, что было в грубых обществах. Более того, в лучшем они просто хороши, как хорошие дети или хорошие монахини.

Но в Пруссии все лучшее, чего добились цивилизованные инженеры, поставлено на службу всему худшему, что только есть в варварских умах. И снова в Пруссии не найти случайных достоинств, счастливых спасений или поздних раскаяний, которые составляют лоскутную славу России. Здесь, в Пруссии, все обострено и нацелено на решение задачи, а задача эта, если слова и дела хоть что-то значат, заключается в уничтожении свободы во всем мире.

IV. Уход в безумие

Рассматривая прусскую точку зрения, мы должны обратить внимание на то, что кажется в ней скорее умственным ограничением: на некое подобие узла в мозгу. По отношению к проблемам роста численности славян, или английской колонизации, или перевооружения французских армий, она демонстрирует странную философскую обиду. В каждом из случаев она равносильна фразе: «Неверно, что вы должны быть выше меня, потому что на самом деле я выше вас». Глашатаи подобного мировоззрения, похоже, обладают любопытным новообразованием в мозгу, где эти противоречия увязываются в одном и том же абзаце, а иногда и в одном и том же предложении.

Я уже упоминал знаменитое предписание германского императора немецким солдатам – стать гуннами, дабы пресечь опасность гуннства. Куда сильнее пример его недавнего приказа войскам, задействованным в операциях в Северной Франции. Как известно, он начинается словами: «По моему королевскому и императорскому приказу объедините ваши силы, здесь и сейчас, ради одной цели – примените все ваши умения и всю вашу доблесть, чтобы уничтожить предателей англичан и пройти по головам ничтожной и презренной французской армии».

Не обращая внимания на грубость в адрес англичан, задумаемся об образе мыслей, которые умудрились запутаться даже на таком интеллектуальном пятачке. Если французская армия ничтожна, кажется очевидным, что умения и доблесть германской армии должны быть сосредоточены не на ней, а на большем по размерам и менее ничтожном союзнике[29]. Если уж все мастерство и доблесть германской армии сосредоточены на французах, то их точно нельзя считать ничтожными.

Но прусский ритор цепляется за оба несовместимых движения мысли и настаивает сразу на обоих. Он хочет думать, что английская армия мала, но одновременно он хочет считать победу над англичанами великой. Он хочет подчеркнуть в один и тот же момент очевидную слабость британцев в атаке – и великое умение и отвагу немцев, отражающих эту атаку. Каким-то образом крах Англии должен быть неизбежным и очевидным, но германский триумф при этом решительным и неожиданным. Пытаясь использовать две противоречивые концепции одновременно, он получает на выходе кашу. Именно из-за этой каши в мозгах он гонит Германию на войну. Именно она, эта каша, приведет к тому, что долины и ущелья Германии затопит

агония людей, умирающих от укуса этой невидимой уховертки[30], нечистая кровь этого таракана окрасит собой воды Рейна вплоть до моря.

Было бы нечестно основывать критику мировоззрения народа на словах какого-нибудь наследственного принца, но все обстоит точно так же и в случае с философами, которых даже мы, в Англии, воспринимали как пророков прогресса. Нигде это заблуждение не обнаруживает себя так же явно, как в забавно запутанных спорах о расе и в особенности о тевтонской расе.

Профессор Гарнак[31] и подобные ему люди упрекают нас, если я правильно их понял, в разрыве «тевтонских уз» – правил, к которым пруссаки должны быть особенно внимательны и в случае нарушения, и в случае соблюдения. Мы замечаем их в открытом захвате земель, населенных неграми, – таких, как Дания[32]. Мы замечаем их и в радостном признании своими белокурых и голубоглазых турок.

Именно этот абстрактный принцип профессора Гарнака и интересует меня больше всего; но как бы ни были сложны мои запросы, итог моих размышлений на удивление прост. Сравнивая профессорскую заботу о «тевтонстве» и отсутствие таковой о Бельгии, я могу прийти только к следующему умозаключению: «Человек не обязан держать обещания, которые давал. Но человек обязан держать обещания, которые он не давал».

Определенно договор, связывающий Британию и Бельгию, имел место, даже если его назвали клочком бумаги. Но тогда, если бы существовал договор, связывающий Британию с тевтонством, он бы оказался лишь потерянным клочком бумаги. Снова приведенные аргументы демонстрируют логическую извращенность мысли[33], тот самый узел в мозгу. То обязательства, то отсутствие обязательств; то оказывается, что Германия и Англия должны хранить верность друг другу, то Германия не должна хранить верность никому и ничему; то мы единственные среди народов Европы почти заслуживаем звания «германцев», то оказываемся за русскими и французами в стремлении к истинно германской душевности. И во всем этом туманно, но отнюдь не лицемерно, проступает смысл обыкновенного тевтонства.

Профессор Геккель[34] – еще один свидетель, поднявшийся против нас – стал знаменит благодаря доказательству замечательного сходства вещей, печатая рядом две фотографии одного и того же предмета. Вклад профессора Геккеля в биологию в данном случае очень похож на вклад профессора Гарнака в этнологию. Профессор Гарнак знает, как выглядит германец. Когда его попросили представить, как выглядит англичанин, он

просто сфотографировал того же немца еще раз.

В обоих случаях это и искренне, и просто. Геккель был так уверен, что виды, проиллюстрированные при помощи эмбриона, действительно близко родственны и связаны между собой, что счел возможным для себя упростить пример при помощи повторения. Гарнак так уверен, что немец и англичанин похожи, что рискует обобщить их, как будто они одинаковы. Он сфотографировал, говоря образно, одно и то же глупое лицо дважды и говорит нам о замечательном сходстве между племянниками. Таким образом он пытается доказать существование тевтонства, как Геккель пытался с тем же успехом доказать несуществование Бога.

Теперь немец и англичанин не похожи ни капли – за исключением того, что и тот, и другой не негры. Они и в добре, и в зле куда более различны, чем два любых других человека, которых бы взяли случайно из великой европейской семьи народов. Они различны от корня истории своих стран, более того – от их географии.

Банально называть Британию островной. Британия не только остров, но остров, почти разрезанный морем на три части – даже в центральных графствах чувствуется запах морской соли. Германия – сильная, красивая и плодородная континентальная страна, где к морю ведут одна или две узкие тропы; люди относятся к морю как к озеру.

Поэтому британский флот по-настоящему национален – он естественный, он вырос из сотен драматических морских приключений с незапамятных времен до Чосера и после него. Германский флот искусственный; столь же искусственным было бы возведение Альп посреди Англии. Вильгельм II просто скопировал британский флот, как Фридрих II скопировал французскую армию: эта японская последовательность в имитации – одно из сотни качеств, которые есть у немцев и которых англичане лишены. Есть и другие превосходства немцев, столь же и даже более превосходные. Одно-два из них по-настоящему забавны. Например, бытует мнение, что у немцев есть то, чего не хватает англичанам: чрезвычайно живая традиция народной музыки и старинных песен, в отличие от английских городских выдумок или вообще сочинений профессионалов. Однако в этом немцы близки… к валлийцам: одному богу известно, куда девать идею тевтонства, если этот факт всплывет.

Но есть и действительно глубокие различия между немцами и англичанами. И они разделяют их сильнее, чем каких-либо иных здравомыслящих европейцев. Прежде всего, мы отличаемся от немцев в самой английской из всех английских черт: позор (та

версия позора, которую французы называют «дурной славой»), смешанный с гордостью и подозрительностью, сделал нас, если можно так выразиться, стыдливыми. Даже английская грубость часто возникает из страха опозориться. Но грубость немца возникает оттого, что стыд ему не ведом. Он ест и занимается любовью громко. Он просто не чувствует, что какое-то высказывание, или проповедь, или большая тарелка с едой в определенных обстоятельствах могут быть, как англичане это называют, неуместной. Когда немцы входят в патриотическое или религиозное состояние, они теряют самоотчет, у них нет тормозов для их патриотизма или религии – таких, которые есть у англичан и французов.

Более того, ошибка Германии, приведшая к нынешней катастрофе, произросла из того факта, что она полагала, будто Англия проста, хотя на самом деле Англия очень тонка. Германия думала, что, поскольку наша политика весьма сильно определяется финансами, она *целиком* определяется финансами; что наши аристократы стали насквозь циничными, так как насквозь продажны. Немцы не смогли уловить довольно существенную тонкость – даже очень низко павший английский джентльмен может продать свой герб, но не станет продавать замок, что он может уронить свою репутацию, но при этом откажется спустить флаг.

Словом, немцы были совершенно уверены, что понимают нас целиком и полностью именно потому, что не понимали нас совершенно. Возможно, если бы они оказались способны нас понять, они бы возненавидели нас еще больше. Но я предпочту вызывать ненависть по малейшей, но подлинной причине, нежели восхищение и любовь за те качества, которые мне не свойственны и к которым я не стремлюсь. И когда немцы наконец увидят первые проблески реальности современной Англии, они обнаружат, что Англия имеет поблекшие, запоздалые и недостаточно крепкие чувства и обязательства по отношению к Европе, но никаких чувств и обязательств по отношению к тевтонству.

Вот последняя и сильнейшая прусская доблесть, которую мы рассмотрели. В глупости есть странная сила – она способна освободить не только от правил, но и от разума. Человек, который действительно не видит, что противоречит сам себе, имеет огромное преимущество в споре; правда, это преимущество сходит на нет, когда человек пытается его использовать в каких-то простых делах, например, в шахматах, или в другой игре, именуемой войной. Это та же форма глупости, что и одностороннее родство. Пьяница, считающий первого встречного

своим давно потерянным братом, имеет значительное преимущество, пока не обратит внимание на подробности. «Нужно носить в себе еще хаос, – сказал Ницше, -чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду».

В этом коротком очерке я рассмотрел сильные стороны прусского характера. Пробелы чести совпадают в нем с провалами в памяти. Эгомания в упор не видит то, что эго есть у кого-то еще. Но превыше всего в нем вечный зуд тирании и агрессии – дьявол, пытающий праздных и гордых. К этому надо добавить явную умственную бесформенность, транслируемую без ссылок на разум или свидетельства, и потенциальную бесконечность самооправдания.

Если бы англичане были на германской стороне, германские профессора объяснили бы это непреодолимой энергией, развивающей тевтонцев. Поскольку англичане на другой стороне, германские профессора скажут, что эти тевтонцы развились недостаточно. Или они скажут, что мы развились достаточно для того, чтобы обнаружилось, что мы не тевтонцы. Вероятно, они скажут и так, и так.

Но правда состоит в том, что развитие в их понимании скорее надо назвать отклонением в развитии. Они говорят нам, что открывают окна для света и двери для прогресса. Однако истина в том, что они разрушают весь дом человеческого разума, что они движутся, не разбирая направления. Существует зловещее и даже чудовищное соответствие между их переоцененными философами и их сравнительно недооцененными солдатами. Поэтому дороги прогресса, о которых говорят их профессора, на самом деле являются путями бегства от реальности.

Преступления Англии

I

Дорогой профессор Вихрь!

Ваше имя на немецком для меня – немного чересчур; предложенный мной псевдоним к нему близок. Величественный образ чистого воздуха, совершающего вращательное движение, заключен в этом слове. Иногда мне кажется, что нечто подобное происходит и в вашей голове. Совершенная отрешенность ваших мыслей от внешних событий заставляет вас облекать их в слова, крайне приятные вам. Но на окружающих они либо не действуют совсем, либо действуют противоположно вашим ожиданиям. Если что и нужно было сделать в вашей морализаторской кампании против английской нации, так это позволить кому бы то ни было, пусть даже это и окажется всего лишь англичанин, увидеть, как вы переносите ваши усилия из области отвлеченной философии в область практики.

Что ж, придется мне поступить на германскую службу, продавшись за бывший в употреблении императорский мундир (вообще-то форму английского мичмана), рецепт приготовления отравляющего газа на семейной германской кухне, сигару за два пенни и 25 железных крестов. Все это я делаю, чтобы познакомить вас с корнями международных разногласий. Но прежде того я хотел бы затронуть несколько элементарных правил. Вот они:

Во-первых, обычно событие имеет лишь одну причину. Например, если торговец, с которым ваши контакты доселе были минимальны, по нелепой случайности обнаружит вас играющим с мелочью в его кассе, вы предположительно можете сказать ему, что интересуетесь нумизматикой или коллекционируете монеты; возможно, он вам даже поверит. Но если вы затем скажете, что вам жаль его, изнемогающего под грузом этих громоздких медных дисков, и что вы собираетесь заменить их на меньшее количество более легких серебряных шестипенсовиков, то вместо роста доверия торговца к вашим объяснениям (как странно, не правда ли?) произойдет его снижение. Ну а если вы будете столь неразумны, что поделитесь с ним еще одной блестящей идеей (что все его пенни фальшивы и милостью с вашей стороны будет избавить его от них, дабы предотвратить вмешательство полиции), то торговец может окончательно впасть в заблуждение относительно благородства мотивов ваших действий и прибегнуть к вмешательству полиции.

Не будет преувеличением сказать, что примерно таким образом вы выбили у себя почву из-под ног, когда пустились в объяснения о причинах потопления «Лузитании»[35]. Я своими

глазами видел последовательные объяснения, вышедшие из под вашего пера: 1) что этот корабль перевозил войска из Канады; 2) что он этого не делал, но зато незаконно перевозил в трюме боеприпасы для солдат во Франции; 3) что пассажиры этого корабля были предупреждены заранее, и поэтому Германия была вправе подорвать их; 4) что на корабле были пушки и капитан применил бы их, если бы его корабль не был торпедирован; 5) что английские или американские власти, направляя корабль в зону действия германских военных моряков, подвергли их невыносимому искушению, что подтверждается фактом движения корабля по расписанию (как будто есть какое-то загадочное правило, оправдывающее отравление чая в случае, если он подан вовремя); 6) что корабль был потоплен вовсе не германцами, а самими англичанами и что английский капитан намеренно утопил себя и несколько тысяч соотечественников, дабы у мистера Вильсона[36] и кайзера была тема для обмена суровыми дипломатическими нотами. Если бы эта интересная гипотеза была правдой, я бы сказал, что за столь самоотверженное и самоубийственное действие во имя наиболее удаленных интересов своей страны капитан заслуживает прощения за совершенное преступление.

Но неужели вы не видите, мой дорогой профессор, что само богатство и разнообразие порождений вашего гения вызывают сомнения в каждом из ваших объяснений? Мы, читающие вас в Англии, дошли до того состояния умов, что нам уже не важно, предпочтете вы на этот раз какое-то из ваших прежних объяснений или предложите что-то новенькое. Мы готовы услышать, что вы потопили «Лузитанию», так как сыны Англии рождены по сути дела в море и будут куда счастливее в компании глубоководных рыб, или что каждый на борту корабля возвращался домой исключительно для того, чтобы быть повешенным. Вы продемонстрировали себя целиком и полностью настолько откровенно, что итальянцы уже объявили вам войну, и если вы продолжите раскрывать себя столь же ясно, то американцы, скорее всего, поступят как итальянцы.

Во-вторых, изрекая ложь, которая кажется вам необходимой для вашей международной репутации, не стоит изрекать ее перед теми, кто знает правду. Не надо убеждать эскимосов, что снег ярко-зеленый; не стоит рассказывать неграм в Африке, что солнце никогда не восходит над черным континентом. Лучше скажите эскимосам, что в Африке не сияет солнце, а затем, обратившись к жителям тропической Африки, поделитесь с ними вашей верой в зелень снега. Похоже, вы решили последовательно клеветать русским на англичан, а англичанам на русских; что ж, есть много

старых проверенных напраслин, удобных для возведения как на тех, так и на других.

Возможно, существуют русские, уверенные в том, что английский джентльмен накидывает петлю на шею своей жены и тащит ее на Смитфилдский мясной рынок продавать. Определенно, существуют англичане, считающие, что любой русский джентльмен ежедневно бичует свою жену. Но эти живописные и полезные вам истории имеют определенные ограничения для использования, как, собственно, и любые другие истории такого типа; ограничение это проистекает из того факта, что они не *истинны*, и кроме того, существует достаточное количество людей, знающих, что они не истинны. Если уж вы клянетесь в правдивости фактов, о которых мы точно знаем нечто совершенно обратное вашим клятвам, то как нам относиться к тем вашим утверждениям, которые основываются лишь на вашем мнении?

Скарборо[37] мог быть крепостью, но он не крепость. Так уж вышло, что я знаю, что Скарборо не крепость. Возможно, господин Морель[38] заслуживает всеобщего восхищения в Англии, но так уж вышло, что в Англии нет всеобщего восхищения господином Морелем. Русским вы можете сказать, что у нас им все восхищаются, но нам это говорить не надо. Мы его видели точно так же, как видели Скарборо. Вам следует думать перед тем, как говорить.

В-третьих, не следует настаивать, что вы – носители культуры, при помощи языка, доказывающего ровно обратное. Вы утверждаете, что выше любого из окружающих, поскольку нафаршированы остроумием и мудростью, которых хватило бы на весь мир. Но люди, якобы обладающие остроумием для целого мира, должны обладать хотя бы тем его количеством, которое можно показать в одном абзаце. Однако как же редко вам удается написать хотя бы пару строк и не впасть при этом в однообразие, или удержаться в рамках темы, или не утратить ясность, или не вступить в противоречие с самим собой, или попросту не потерять мысль! Если у вас есть чему нас учить – так учите сейчас. Если вы предполагаете обратить нас в вашу веру после того, как нас завоюете, то почему бы вам не попытаться обратить нас до завоевания?

Пока же нам трудно поверить в превосходство вашего образования из-за того, как вы пытаетесь его доказать. Если англичанин скажет: «Я не делаю не ошибок в английском, не я», – мы сможем понять смысл его высказывания, но вряд ли одобрим. Мы даже поймем, если он скажет: «Же парле французский язык, не пополам», – но это будет неубедительно. И когда вы говорите в

вашем недавнем обращении к американцам, что германские державы пожертвовали при защите своей культуры много «красной жидкости», мы тоже понимаем вас, но должны заметить, что культурные люди не используют такие литературные обороты. И когда вы говорите, что бельгийцы столь невежественны, что думают, будто бы вы с ними расправились, хотя вы поступили наоборот – мы удивляемся лишь *вашей* нелепой уверенности в том, что поверят именно вам, хотя все поступят наоборот.

Например, когда вы хвастаетесь вашими достижениями в деле сожжения Венеции и выражаете ваше презрение к «туристам», мы не можем считать вас особенно культурными, поскольку ваша культура позволяет вам считать собор Святого Марка достоянием туристов, а не историков. Возможно, этого и недостаточно, чтобы сформировать к вам устойчиво негативное отношение – что ж, вы сами сделали все для саморазоблачения в документе, вами же и распространенном: «Основанием для признания того, что эти города с древностями и туристическими достопримечательностями являются целью, причем законной целью для атаки и бомбардировки, служит тот факт, что итальянцы в самом начале войны приняли меры для того, чтобы вывезти из них наиболее ценные сокровища культуры».

Ныне культура может использовать или не использовать силу для восхищения древностями и для спасения их от радостного разрушения – так ребенок ломает игрушки. Но культура должна, по-видимому, использовать силу мысли. Менее трудолюбивые интеллектуалы, чем те, что у вас есть, могут считать достаточным задумываться над чем-то только один раз. Но если подумать дважды – или двадцать раз -то даже вас, возможно, озарит: есть что-то странное в утверждении, будто если бриллианты прячутся кем-то в сейф, то это дает взломщику законное право их украсть.

Повторение подобных утверждений – не самый лучший способ распространения вашей превосходной культуры, и чем чаще вы их излагаете, тем больше у людей поводов усомниться в ее превосходстве. Будучи вашим искренним другом, я с прискорбием созерцаю столь неосторожную болтливость с вашей стороны. Примите мой совет: если вы будете противоречить себе по-прежнему, но делать это с интервалом хотя бы в месяц, вряд ли кто-то сумеет возразить вам что-то разумное или придраться с вменяемой критикой. Надеюсь, со временем у вас получится слагать слова в целые предложения, не обнажая каждый раз реальное положение дел.

Из-за пренебрежения этими принципами, мой дорогой профессор, практически в каждой из ваших атак на Англию вы

промазали. Если говорить начистоту, они вообще не затронули ее родимого пятна, которое настоящие критики Англии считают крайне уязвимым. Например, настоящим критиком Англии является мистер Бернард Шоу – его именем вы щеголяете, но вряд ли произносите правильно -в том труде, что я читал, он был назван «Бернгардом Шоу». Видимо, вы думаете, что он и Бернгарди[39] – это один и тот же человек.

Но когда вы изучите слова Бернарда Шоу вместо того, чтобы перевирать его имя, вы обнаружите, что он критикует Англию не за то, за что вы. Он не обвиняет Англию в том, что она выступает против Германии. Он совершенно определенно обвиняет Англию за то, что она недостаточно твердо и решительно выступает на стороне России. Дураком, способным обвинить сэра Эдуарда Грея[40] в жутком макиавелли-стическом заговоре против Германии, он не является, он обвиняет этого любезного аристократического олуха в том, что ему не удалось напугать юнкеров и тем заставить их отказаться от их плана войны.

Для него совершенно несомненно, что Грей не заговорщик, а олух; мистер Шоу, которым я восторгаюсь, предпочел бы, чтобы он был заговорщиком. Именно поэтому англичане вроде Грея могут быть объектами критики со стороны Шоу, но не с вашей. Все дело в том, что англичан, достаточно ясно мыслящих и ответственных, чтобы организовать заговор с целью уничтожения Германии, просто не нашлось.

Каждый, кто знает Англию, и каждый, кто ненавидит Англию, как только можно ненавидеть живое существо, скажет вам об этом. Англичане могут быть снобами, могут быть плутократами, могут быть лицемерами, но у них не выходит быть заговорщиками, и я очень сомневаюсь, что они справились бы с этой задачей, если бы захотели. Простые люди совершенно неспособны устроить заговор, что же касается небольшой кучки богатеев, которые стоят за спинами наших политиков, то они пытались сплести заговор, обеспечивавший им мир любой ценой. Всякий лондонец, который знает лондонские улицы и газеты так же, как колонну Нельсона и кольцевую ветку подземки, знает также людей в правящем классе и в правительстве, защищавших Германию, пока та из-за собственных действий сделалась незащитимой. Если они не сказали ничего в поддержку нарушения вашего же собственного обещания не нападать на Бельгию, то просто потому, что вы не оставили им аргументов.

Вы первыми заговорили о мировой политике[41], но первыми же выхолостили ее. Ваша внешняя политика – это политика внутренняя. Она в принципе неприменима ни к одному из народов, кроме германского; в ваших диких откровениях о

двадцати других народах вы ни разу не оказывались правы даже случайно. Два или три ваших залпа по моей далеко не идеальной стране были столь своеобразны, что любые иные действия были бы ближе к истине -например, пересечение Кавказского хребта при попытке завоевать Англию или поиск Англии на островах в окрестностях Антарктиды.

Первого вашего заблуждения – что наша отвага является следствием расчета и коварства, в то время как даже наши жулики робки и сконфужены – я уже касался. То же самое с вашим вторым любимым тезисом: что британская армия – это наемники. Вы узнали это из книг, а не на полях битв; и я бы хотел присутствовать при сцене, когда бы вы попытались нанять самого ничтожного бездельника из Хаммерсмита, как если бы он был циничным кондотьером, продающим свое копье зарубежному городу. Но это не так, мой дорогой сэр. Вас обманули.

Британская армия сейчас не более наемническая, чем любая другая, набираемая по призыву. Это добровольная армия в самом строгом смысле слова; я даже не стану возражать против термина «любительская армия». В ней нет принуждения, и в ней особенно не заработаешь. Сейчас там собрались люди из всех классов общества, и совсем немногие из них зарабатывали на своей обычной работе меньше, чем в армии. По численности она очень близка к показателям призывной армии с учетом неизбежного количества тех, кто не может служить.

В нашей стране дух демократии, обычный для христианского мира, сравнительно вял и залегает на весьма большой глубине. Так вот запись британцев добровольцами на эту войну – наиболее подлинное и чистое народное движение, которое мы наблюдали со времен чартистов. Говорите, что такое разболтанное и сентиментальное добровольчество ничего не изменит, если так думаете, да и если так не думаете – тоже. Говорите, что Германия непобедима и на самом деле мы не можем вас убить. Но если вы скажете, что на самом деле мы не хотим вас убивать, вы будете к нам несправедливы. Хотя вы и так несправедливы.

Даже не буду обсуждать самые безумные вещи, сказанные вами, – что Англии следовало бы захватить Кале и сражаться против Франции плечом к плечу с Германией, дабы обрести наконец счастье обладания сухопутной границей и необходимость введения всеобщей воинской повинности. Это вы тоже взяли из книг, причем очень старых. Вы сказали это, чтобы вызвать симпатию к вам со стороны французов, и поэтому это не мое дело – они всегда были способны позаботиться о себе. Лишь одно небольшое замечание мимоходом: не тратьте ваши мощные интеллекты на такие проекты. Англичане, скорее всего, когда-

нибудь простят вас, но вот французы – нет, они не простят никогда. Вы, тевтонцы, слишком легкие и переменчивые люди, чтобы понять серьезность, свойственную латинянам. Меня беспокоит лишь то, что ваши суждения об Англии неизменно и фантастически ошибочны.

И теперь серьезно: мой дорогой профессор, это проблема. Слишком просто фехтовать с вами и отражать любую вашу попытку нас уязвить. Но если с этим затянуть, у английского народа может возникнуть мысль, что с Англией вообще все в порядке и все в ней устроено правильно. Однако я отказываюсь от легкого выигрыша, ведущего к этому. Очень много есть такого, что в Англии совершенно неправильно, я не могу об этом забыть даже тогда, когда наши кошмары меркнут перед блеском ваших феерических ошибок. Я не могу позволить своим согражданам почивать на лаврах и застывать в интеллектуальной гордыне после того, как они сравнивают себя с вами. Глубокие провалы и зияющие пропасти вашей деятельности оставляют меня наедине с риском опасного духовного носозадирания. Ваши ошибки очевидны, но, увлекшись ими, можно упустить из вида правду.

Например, ученый человек, которой фразу из английской рекламы «cut you dead»[42] понял как «hack you to death»[43], не прав. Но когда он говорит, что такие рекламы вульгарны, он не ошибается. Точно так же верно, что многие английские бедняки затравлены и унылы, что они слабы для вооруженного восстания, – но вот утверждение, что они заняты исключительно самоуничтожением при помощи алкоголя, неверно. Верно, что средний англичанин уделяет слишком много внимания аристократическому обществу, но если вы решите, что его тянет «пообедать с герцогом Хэмфри»[44], вы ошибетесь тоже. С нашими поговорками вообще трудно, их можно истолковать по-разному.

И я решил, что будет не лишним снабдить вас каталогом реальных преступлений Англии, они отобраны мной с целью заинтересовать вас и порадовать.

Действительно, мы были неправы очень часто. Мы были неправы, когда помешали Европе положить конец пиратской гордыне Фридриха Великого. Мы были очень неправы, когда позволили угрюмым грубиянам Блюхера утопить победу над Наполеоном в кровавом болоте. Мы были крайне неправы, когда дали возможность бандиту по имени Бисмарк среди бела дня ограбить миролюбивого датского короля; и когда дали возможность прусским головорезам захватить французские провинции, которыми они не смогли управлять, потому что не смогли их сломить. Также мы были совершенно неправы, когда отдали группе голодных авантюристов такую важную позицию,

как остров Гельголанд. И еще мы были абсолютно неправы, когда восхищались бездушным прусским образованием и копировали бездушные прусские законы.

Зная, что вы вместе со мной скорбите над этим списком британских недочетов, я посвящаю его вам и прощаюсь.

Благоговеющий перед вами

Г. К. Честертон

II. Протестантский герой

Наша упадочная английская журналистика сейчас обеспокоена вопросом: что же надо сделать с германским императором после победы союзных держав? Наиболее женственные советчики рекомендуют прибегнуть к расстрелу. Они, конечно, ошибаются, не понимая самой сердцевины принципа наследной монархии. Разумеется, император Вильгельм II в свой худший день может с тем же успехом сказать любимому наследнику-кронпринцу, как когда-то Карл II[45] сказал брату, предупредившему его о заговоре: «Они никогда не убьют меня, чтобы сделать королем тебя».

Другие, куда более изощренные в зломыслии, предлагают отправить германского императора на остров Святой Елены. Что ж, его историческая значимость такова, что с тем же успехом его можно отправить и на Голгофу. Что мы на самом деле должны сделать со старым, нервным и вовсе не неотесанным человеком, который – так уж вышло – принадлежит к дому Гогенцоллернов и который – надо отдать ему должное – уделяет куда большее внимание Гогенцоллернам как некоей священной касте, нежели самому себе в их ряду? В таких семьях старая гордыня и монархический принцип наследования рано или поздно обнажат ужасный итог – вырождение. Король не умирает, он бесконечно дряхлеет.

Если бы было не так важно, что именно произойдет с императором Вильгельмом II, когда у его династии будет выбито из рук оружие, я бы был вполне удовлетворен зрелищем постепенного долголетнего его угасания, причем в мирной, гуманной, гармоничной обстановке прощения.

В самых разных деревнях юга Англии, в их тенистых переулках пешеход может обнаружить старый добрый паб, над которым найдет потемневший от времени и дождей портрет мужчины с перьями в шляпе и подпись – «Король Пруссии». Эти вывески, вероятно, напоминают о визите союзников после 1815 года, хотя значительная часть английского среднего класса может связывать их с временами, когда Фридрих II зарабатывал свое звание «Великий», а также некоторое количество территориальных приобретений, на которые он имел существенно меньше прав. Искренние и простодушные выходцы из протестантских сект спешатся перед этим знаком (правда, теперь они пьют пиво как христиане, да и варят его в изобилии) и воздадут должное старой доблести того, кого они зовут протестантским героем.

Здесь придется взвешивать каждое слово, мы говорим о герое, но с оттенком дьявольщины. Можно ли считать героя именно протестантским или нет, легче всего определить тому, кто читал письма писателя, именующего себя Вольтером, – его шокировало полное отсутствие религии как таковой у Фридриха. Но маленький британский протестант выпьет свое пиво в неведении, а затем поскачет дальше – и если бы великий потсдамский богохульник это видел, он бы здорово над ним посмеялся, как он умел смеяться над своими же шутками.

Точно так же он шутил, когда приглашал императоров присоединиться к его трапезе – поглощению жертвенного тела Польши. Если он был столь же внимательным читателем Библии, как наш протестантский сектант, он подумал бы о мести, которую обрушит человечество на его собственный дом. Он бы знал, чем была и чем могла бы быть Польша; он бы понимал, что ест и пьет собственное проклятие, а вовсе не плоть и кровь Господню.

Не знаю, понравилась бы ему шутка – нынешний германский император, посаженный во главе одного из этих старых добрых придорожных пабов. Но она бы была куда более подходящей, более мелодичной, чем любой из возможных вариантов его умерщвления, предлагаемых ныне его врагами. Скрип старой вывески над его головой, когда он сидит на скамейке у своего дома изгнания, был бы куда более реальным напоминанием о былом величии его расы, чем современные и почти мишурные кресты и подвязки, которые вручают в часовне Виндзора.

Из современного рыцарства исчезли все признаки рыцарственности. Как далеко мы от нее ушли, станет ясно, если попытаться представить сэра Томаса Липтона[46] обматывающим рукав платья дамы вокруг тульи шляпы или чистящим свои доспехи в часовне Святого Томаса, архиепископа кентерберийского. Присвоение и вручение ордена Подвязки деспотам и дипломатам теперь только часть ленивых взаимных поглаживаний, хранящих мир в нашем небезопасном и неискреннем обществе. Но старая, потемневшая деревянная вывеска – подлинный знак времени, когда один из Гогенцоллернов не только жег поля и города, но и опалял умы, хотя, возможно, и адским огнем.

Все когда-то было молодым, даже Фридрих Великий. Молодость Фридриха – подходящее предисловие для страшного эпоса Пруссии, ведь он начинается с неестественной трагедии утраты молодости. Близорукий и зашоренный дикарь, его отец испытал значительные сложности в устранении всех следов порядочности своего сына, так что некоторые все же остались. Если молодой и более способный Фридрих когда-либо имел

сердце, это сердце было разбито – так же, как была разбита его флейта. Его единственный друг юности[47] был казнен на его глазах, но с места казни унесли два мертвых тела. Правда, одно из них высокие боевые кони продолжали нести по полям сражений от победы к победе. Но в кармане у этого мертвого тела всегда лежала маленькая бутылочка яда.

Имеет смысл подольше задержаться у этого высокого и мрачного дома его детства. Есть некое особое свойство, отличающее прусское оружие и прусские устремления от любых других, – вот эта незрелая, искаженная древность. В триумфах других тиранов есть хоть что-то мальчишеское. Помимо задора, в амбициях молодого Наполеона было что-то лучшее. В нем было что-то от любовника, и его первая кампания напоминает любовную историю. Все, что было в нем языческого, он пожертвовал на алтарь республики, как мужчина дарит все женщине; все, что было в нем от католика, понимало парадокс Девы Марии Победоносной.

Генрих VIII, куда менее уважаемая персона, в ранние свои дни был добрым рыцарем и принадлежал к витиеватой школе поздней рыцарственности. Можно сказать, что он вполне соответствовал понятию «старый добрый английский джентльмен», пока был молод. Даже Нерон был любим в его первые дни; и наверняка была какая-то причина для того, чтобы христианская девственница усыпала цветами его бесславную могилу.

Но дух величайшего из Гогенцоллернов с самого начала попахивает склепом. На свою первую победную битву он шел так, как будто уже был неоднократно бит. Его мощь была костлява и страшна, как воскрешение без плоти. Казалось, что все худшее с ним уже произошло. Камни для построения его королевства были взяты из развалин человечности. Он познал высшую степень позора: его душа сдалась перед силой.

Это падение нельзя было скрыть, его можно было только повторять снова и снова. Он мог заставить души своих солдат сдаться виселицам и кнутам, и он мог заставить души народа сдаться солдатам. Он мог только ломать людей так же, как был сломан сам; он всегда мог взнуздать, но никогда не мог отпустить вожжи. Он не мог ни убить в гневе, ни грешить в простоте душевной. Среди собратьев-завоевателей он стоит в одиночестве – его безумие берет начало не в избытке отваги. Задолго до того, как пришел черед войны, он обрел дерзость, выросшую из страха.

О сделанном им для мира спорить сложно. Если его деяния можно назвать романтичными, то романтичен и дракон, уплетающий святого Георгия. Он превратил маленькие страны в

одну большую; он создал новую разновидность дипломатии, славную полнотой и неукротимостью лжи; он позаимствовал у преступности всю ее безответственность и односторонность. Он добился оптимального сочетания бережливости и воровства. Он сделал решительный грабеж солидным занятием. Он защищал наворованное, как люди попроще защищают заработанное или унаследованное. Он обращал свои безжизненные глаза с поволокой вожделения на те земли, которые более всего не хотели стать его добычей. В конце Семилетней войны люди точно так же не знали, каким образом изгнать его из Силезии, как не понимали ранее, на каком основании он вообще там оказался.

Польшу, в которую он вселился, как дьявол вселяется в человека, он в итоге разорвал надвое; и как же много времени потребовалось, чтобы люди снова начали мечтать о соединении ошметков и их оживлении. Его отрыв от христианской традиции выбросил его за пределы христианского мира; обобщения Маколея совершенно верны, хотя и верны совершенно по-маколеански. С исторической дистанции видно, что, хотя он разбросал семена войны по всему миру, его последние дни прошли в продолжительном и сравнительно благополучном мире. Этот мир был им заслужен и даже в какой-то степени похвален - этот мир обеспечил многим европейским народам спокойствие. Он не был способен понять, что такое «справедливость», но что такое «умеренность», он понимал. В итоге он оказался самым искренним, но и самым лицемерным пацифистом. Больше войн он не хотел. Да, он пытал и грабил всех своих соседей, но он отнюдь не питал к ним злобы.

Главной причиной нашей духовной катастрофы -английской интервенции в поддержку нового престола Гогенцоллернов – была, конечно, политика Уильяма Питта Старшего[48]. Он принадлежал к тому типу людей, тщеславие и простота которых не позволяют им видеть дальше очевидного.

В европейском кризисе он не обращал внимание ни на что, кроме войны с Францией, а ее видел повторением бесплодной славы Азенкура[49] и Мальплаке[50]. Он был вигом и сторонником господства государства над церковью, скептиком и прагматиком – не слишком хорошим и не слишком плохим для того, чтобы понять, что даже в нерелигиозном веке война продолжала оставаться совершенно религиозной. В нем не было ни тени иронии, но рядом с Фридрихом он, старик, казался удачливым школяром.

Непосредственные причины[51] не были ни единственными, ни подлинными. Подлинные же причины были связаны с победой одной из двух традиций, которые вечно сталкиваются в

английской политике. Как ни печально, внешняя традиция была связана с двумя способнейшими людьми того времени, Фридрихом и Питтом, в то время как внутренняя, старая традиция была представлена двумя наиболее глупыми людьми, которых когда-либо терпел этот мир – Георгом III и лордом Бьютом[52].

Бьют был лидером группы тори, решивших реализовать на практике фантастический план «демократической монархии», начертанный Болингброком в «Короле-патриоте»[53]. Он совершенно искренне свихнулся на идее занять людские умы «внутренними делами» – столь же внутренними, как Георг III. Он занимался искоренением растущей коррупции в парламенте и огораживанием, но главным образом – разворотом умов от славы заморских подвигов великих вигов вроде Черчилля[54] и Чатема; и одним из первых его действий был отказ от союза с Пруссией.

К сожалению, все самое красочное в потсдамском пиратстве выходило за пределы воображения Виндзора. Однако в прозаических вещах Потсдам и Виндзор практически сливались: в холодной баранине на столе, в тяге к тяжеловесному искусству и в странной северной смеси хамства с этикетом. Если бы мысли Болингброка воплощала более одухотворенная персона – Стюарты, например, или королева Елизавета (у нее-то при всей ее исключительной вульгарности было сердце), – то народная душа смогла бы выпорхнуть из новомодной северной клетки. Но по иронии судьбы король, на которого тори надеялись как на спасителя от германизации, сам был германцем.

Нам приходится искать истоки германского влияния в Англии, обращаясь ко временам ганноверского наследства[55] и ко временам стычек короля и законников, поспоривших при Нейсби[56], и ранее -к яростному уходу Генриха VIII из сообщества средневековой Европы. Очень легко преувеличить во всем этом роль человека великого и гуманного, хотя и язычника – Мартина Лютера. Генрих VIII совершенно искренне ненавидел ересь немецкого монаха, да и вообще он мыслил, как католик; и они написали друг другу бесчисленное множество страниц оскорблений, которых, кстати, заслуживали.

Но вот лютеранином Генрих VIII не был. Он стал олицетворением слома католицизма, но никак не строителем протестантизма. Страны, ставшие протестантскими дружно и снизу, такие как Шотландия или Голландия, следовали не за Лютером, а за Кальвином. А Кальвин был французом. Весьма неприятным французом, раз уж на то пошло, но обладавшим французской ловкостью в организации работоспособных официальных установлений; эти учреждения действуют

личностно – как французская монархия или же французский террор.

Лютер же был анархистом и мечтателем. После его долгого пути не осталось практически ничего, кроме наиболее выразительного и сияющего символа провала – только его имя и ничего больше. Кальвин же создал живую, правящую, карающую вещь, именуемую Кирк[57]. То, что он назвал свою работу по абстрактной теологии «Институты», очень метко его характеризует.

В Англии протестантизм скорее принял хаос Лютера, чем организацию Кальвина. Это объясняет многие загадки нашей истории, особенно победу

Кромвеля не только над английскими роялистами, но и над шотландскими ковенантерами[58]. Это была победа более беспечного варианта протестантизма, в котором нашлось место и аристократии, и свободе, над логическими устремлениями Кирка, где в итоге сделали протестантизм столь же институциональным, как и католицизм. Можно сказать, что тогда пуритане[59] индивидуалисты победили пуритан-социалистов.

Именно это имел в виду Мильтон, когда говорил, что новый пресвитер превзойдет старого священника, что его *организация* будет действовать, и действовать жестко. Не зря враги пресвитериан называли себя независимыми. Не сможет понять шотландцев тот, кто не понимает, почему они сохранили средневековую симпатию к Франции, к французскому равенству, к французскому произношению. Как бы странно это ни прозвучало, в Шотландии нет ничего более французского, чем пресвитерианство.

Лишь в таком неявном смысле, основанном на противопоставлении, можно сказать, что великие ошибки современной Англии восходят к Лютеру. Верно только то, что и Германия, и Англия остановились на более мягком и менее абстрактном по сравнению с кальвинизмом варианте протестантизма, устраивающем придворных и аристократов – ведь каждая абстрактная идея работает на равенство людей. Лютеранство в Германии быстро превратилось в то, чем оно является сейчас – религию придворных капелланов.

Реформированная церковь Англии превратилась в кое-что получше – профессию для младших сыновей сквайров. Но обе эти параллельные тенденции, слабея и усиливаясь, достигли кульминации именно тогда, когда исчезла средневековая монархия и английские сквайры сделали немного больше для падения короны, чем их германские коллеги. Тут еще надо вспомнить, что в те времена германские княжества были чем-то

вроде инкубатора для принцев.

В истории существуют странные процессы, когда вещи постепенно деградируют и доходят до состояния полной противоположности самим себе. Так английское пуританство изначально было наиболее жестким проявлением протестантизма, а под конец – самым мягким из возможных, мягкосердечным и не так уж редко – мягкоголовым. В условиях войны старые пуритане проявляли себя наилучшим образом, но когда пришел мир, то христиане обнаружили новых пуритан неспособными толком встать на ноги. Англичане, ведущие свою родословную от великих вояк 1649 года, ныне парализованы ужасом милитаризма.

И совсем иное произошло в Германии. Из страны, ранее считавшейся поставщиком королей столь ничтожных, что их можно было спутать с манекенами, она стала грозой современности, властитель которой готов слопать любого другого короля и королевство. Но старые германские королевства сохраняли и сумели сберечь те хорошие вещи, которые только и возможны при небольших ресурсах и узких границах – музыку, этикет, мечтательную философию и тому подобное.

Они были достаточно малы, чтобы быть универсальными. Они могли себе позволить быть до некоторой степени разнообразными и многогранными. Они были непредвзятыми, но бессильными. А теперь все это перевернуто с ног на голову: мы обнаружили, что воюем с Германией, сколь мощной, столь и узколобой.

Верно, конечно, что английские сквайры оказались над новым германским принцем, а не под ним.

Они водрузили на него корону, как гаситель на свечу. Их план предусматривал, что новичок, хотя и королевского рода, должен быть в определенном смысле деревенщиной. Ганновер должен был стать владением Англии, а не Англия – владением Ганновера. Но на самом деле тот факт, что английский двор стал германским двором, подготовил почву – к настоящему моменту уже два века политика Англии подсознательно строилась на преуменьшении значения Франции и преувеличении значения Германии.

Этот период можно символически ограничить именами Картерета[60], который был горд говорить на немецком в начале этого периода, и лорда Холдейна[61], который был горд говорить на немецком в его конце. Слово «культура»[62] уже почти начала писаться с буквы к[63]. Но все это тихое и медленно растущее тевтонство взвилось и потребовало решительных действий, когда трубный глас Питта позвал нас спасать протестанта-героя.

Среди монархов того века наиболее достойной звания «мужественный» была женщина. Австрийская императрица Мария Терезия была немкой в самой щедрой комплектации, ограниченной более своими владениями, нежели национальностью, твердой в древней вере, над которой посмеивались даже ее придворные, и храброй как молодая львица. Фридрих ненавидел ее, как ненавидел все германское и все хорошее. Он записал в своих мемуарах, с какой ясностью, граничащей со сверхчеловеческим, почти мистическим коварством, он рассчитывал на ее юность, ее неопытность, отсутствие у нее друзей -такую можно было разорить без малейшей опасности для себя. Он вторгся в Силезию до объявления войны (как если бы он прибежал рассказать, что скоро придет), и этот новый анархический прием вкупе с продажностью практически всех других дворов принес ему в результате краденую Силезию после двух войн за нее.

Но Мария Терезия отказалась подчиниться девяти пунктам безнравственного договора. Она призвала Францию, Россию и другие державы и ухитрилась в итоге собрать против атеистического новатора[64] в тот атеистический век союз, в котором на мгновение промелькнули черты Крестового похода. Если бы этот Крестовый поход был всеобщим и от чистого сердца, то новый великий прецедент торжествующего насилия и лжи был бы разбит; и та ужасающая кара, которая обрушилась впоследствии на весь христианский мир, его бы миновала. Но остальные крестоносцы думали о судьбах Европы во вторую очередь, а вот Фридрих о судьбе Пруссии – в первую. Он искал союзников, чтобы отразить эту слабую попытку добра и увековечить свою несокрушимую наглость. И он нашел союзников -англичан. Англичанину не так уж приятно писать эти слова.

Так начался первый акт трагедии, и теперь пора покинуть Фридриха – этот господин уже не с нами, что не скажешь о его делах. Вполне достаточно того, что его действия мы назвали сатанизмом, и это не ругательство, а теологический термин. Он был Искусителем. Он собрал других монархов «причаститься телом Польши» и познать смысл черной мессы. Польша лежала, распростертая между тремя гигантами в броне, и само ее имя стало синонимом поражения. Пруссаки, с их утонченным великодушием, читали лекции о врожденных недугах того, кого они только что убили. Они не могли представить, что в разрозненных фрагментах сохранится жизнь, и в это действительно было трудно поверить – за столько-то лет. Но теперь пять наций вкусили не тела, но дух Польши; и труба воскрешения этого народа прозвучит от Варшавы до западных

островов.

III. Загадка Ватерлоо

Великий англичанин Чарльз Фокс [65] был так же национален, как Нельсон, но до самой своей смерти пребывал в твердой уверенности, что Наполеон был порожден Англией. Он не имел в виду, что любой другой итальянский пушкарь на его месте добился бы того же. Но он считал, что когда мы вынудили французов схватиться за оружие, мы тем самым сделали их главным гражданином их главного пушкаря.

Если бы Французская революция была оставлена в покое, она взяла бы пример с большинства других экспериментов по внедрению отвлеченных идей и наслаждалась бы миром, развитием и равенством. Она почти наверняка смотрела бы на любого авантюриста, который бы попытался заменить своей персоной чистую безличность народа-суверена, с холодным подозрением и обеспечила бы каждому такому Цезарю соответствующего Брута, дабы сохранить цветок республиканского целомудрия.

Недопустимо, чтобы гражданин угрожал равенству; но уж совсем нетерпимо, когда равенство пытается запретить иностранец. Если бы Франция не кормила французских солдат, ей вскоре пришлось бы кормить австрийских; и было бы совсем глупо, если бы, доверив свою судьбу солдатам, Франция отвергла бы лучшего французского солдата на том основании, что он не очень-то француз.

Считаем ли мы Наполеона героем, спасшим страну, или тираном, нажившимся на сверхнапряжении страны, нам должно быть совершенно ясно: кто создал войну, создал и военачальника, кто попытался сокрушить республику, тот и создал империю. И Фокс выступал против нее куда резче, чем те английские педанты, которые обвиняли его в отсутствии патриотизма; он бросал обвинения правительству Питта за вступление в антифранцузский альянс и тем самым сдвигал общественное мнение в пользу воюющей Франции.

Прав он был в этом или нет, но он всегда готов был признать – Англия не первой вцепилась в глотку молодой республики. Кое-кто в Европе куда определеннее и мрачнее возмутился против нее. Кто же это был, кто начал войну и создал Наполеона? Существует только один возможный ответ – немцы. Так начинался второй акт падения Англии до уровня Германии.

Очень существенное замечание: «немцы» – это уже все немцы, так же, как и сейчас. Дикость Пруссии и глупость Австрии отныне вместе. Безжалостность и бестолковость встретились, неправота и

недомыслие расцеловались, соблазнитель и соблазненный заключили друг друга в объятия. Великая и добрая Мария Терезия была уже стара, а ее сын оказался философом, учившимся у Фридриха; еще была дочь, которой повезло чуть больше – она сложила голову на гильотине. Конечно, ее брат и другие родственники не могли это одобрить, но сам инцидент произошел уже после того, как германские державы набросились на юную республику.

Людовик XVI еще был жив и даже оставался формальным правителем, когда первые угрозы пришли из Пруссии и Австрии – обе державы требовали повернуть вспять освободительное движение французов. Трудно отрицать, что объединенные германцы решили уничтожить реформы, а не только революцию. Роль, которую во всем этом играл австрийский император Иосиф, оказалась символичной.

Он считался просвещенным деспотом, а это худшая разновидность деспота. Он был столь же антирелигиозен, как Фридрих, но не так отвратителен и не так забавен. Старую и добрую австрийскую династию, где Мария Терезия была любящей матерью, а Мария Антуанетта не очень образованной дочерью, отодвинул в сторону молодой человек, самостоятельно научившийся прусской эффективности. Но компас уже показывал на север. Пруссия была готова стать капитаном германцев «в сияющих доспехах», а Австрия – ее верным *секундантом.*

Однако существовала громадная разница между Австрией и Пруссией, которая проявлялась тем ярче, чем сильнее юный Наполеон вбивал клин между ними. Если коротко, то Австрия неумело и грубо заботилась о Европе. Пруссия же не заботилась ни о ком, кроме Пруссии. Австрия – не нация, не так-то просто найти Австрию на карте. Но Австрия была своего рода империей – Священной Римской империей, которая так и не осуществилась, хотя расширялась и казалась почти реальной. Она чувствовала себя лидером не нации, но наций, пусть и расплывчато-патриархальных. Она чувствовала себя увядающим Римом, который уже отозвал свои легионы из Британии и Парфии, но полагал, что им вполне естественно находиться там, как естественно им находиться на Сицилии или в южной Галлии.

Я не буду утверждать, что престарелый Франц Иосиф представляет себя императором Шотландии или Дании, но я уверен, что если бы он управлял шотландцами и датчанами, это выглядело бы не более странно, чем то, что он управляет венграми и поляками. Космополитизм Австрии был отблеском ее ответственности за весь христианский мир. В этом-то и заключалась разница между ее действиями и тем, что делал

эгоистический авантюрист с севера, дикий пес Померании.

Весьма похоже, да и Фокс к концу жизни поверил в это, что Наполеон в последующие годы стал врагом свободы. Он действительно был врагом той особенной, западной формы свободы, которую мы зовем национализмом. Например, сопротивление ему со стороны испанцев было народным. Оно было запоздалым, своеобразным, почти тайным, но это была именно та война, которая делается людьми. Завоевателю несложно войти в Испанию, но очень сложно выбраться из нее. Один из удивительных парадоксов истории: тот, кто в начале пути превратил толпу в армию, чтобы защитить ее права от принцев, закончил тем, что его армии были разбиты толпой, а не принцами.

Точно так же было и на другом конце Европы, в горящей Москве и на мосту через Березину, где он встретил родственную душу своего врага, вставшего перед ним под общим небом. Но все это не влияет на главный раскол эпохи, который возник еще до того, как всадники в немецких мундирах напрасно ждали на дороге в Варенн[66] и не смогли одолеть глинистый склон у мельниц Вальми[67]. И в этой дуэли, от исхода которой Европа не оправилась до сих пор, великая Россия и отважная Испания, равно как и наш славный остров, были лишь секундантами. Это была, есть и будет дуэль между французами и немцами, то есть между гражданами и варварами.

Нет необходимости сейчас защищать французскую революцию, не нужно защищать и Наполеона, ее детище и защитника, от критики в стиле Саути[68]и Элисона[69], которые всегда предпочитали обстановку Бата и Челтнема[70] обстановке Туркуэна[71] и Талаверы[72]. На французскую революцию нападали потому, что она была демократической, и защищали потому, что она была демократической.

Наполеона боялись не как последнего железного деспота, а как первого железного демократа. Что Франция хотела доказать, то она и доказала: не все простые люди ангелы, не все они дипломаты, не все они джентльмены (этих бессмысленных аристократических теорий якобинцы не понимали), но все простые люди могут быть гражданами и могут быть солдатами – простые люди могут сражаться и править.

Не надо путать эту ясность с бессистемными выходками современности, пытающейся обессмыслить этот здравый смысл гражданина. Некоторые сторонники свободной торговли пытаются оставить человека без страны, за которую он мог бы сражаться. Некоторые сторонники свободной любви пытаются оставить человека без дома, в котором он мог бы устанавливать

законы. Но эти вещи не смогли установиться ни во Франции, ни где бы то ни было еще. То, что установилось, не было ни свободной торговлей, ни свободной любовью, но было свободой, и нет ничего более патриотичного и более домашнего, чем страна, куда она приходит.

Бедные люди Франции не стали любить свою страну меньше оттого, что она – одна на всех. Даже патриции бывают патриотами, и если честные роялисты или аристократы продолжают утверждать, что демократии чужда организация или демократии невозможно подчиняться, они тем не менее организованы и подчинены ей. Они благородно живут или великолепно умирают за свою Францию на всем пространстве от Швейцарии до моря.

Но надо добавить кое-что об Австрии и тем более о России. Идеал французской революции оказался неполон, а у них было то, чем можно его дополнить -пусть в искаженном виде, но тем не менее вполне приемлемое и народное. Царь не был демократом, но он был гуманистом. Он был христианином-пацифистом; в каждом русском есть что-то от Толстого. Не так уж нелепо говорить о «белом царе» -в России даже разрушительные силы мягче, вроде снега. Ее идеи обычно невинны и даже детски, как идея мира. Словосочетание «Священный союз» было красивой правдой для царя, хотя в устах его подлых союзников Меттерниха и Каслри оно звучало кощунственно и издевательски.

Австрия, которая впоследствии заигралась с язычниками и еретиками из Пруссии и Турции, тогда еще сохраняла старый католический покой души. Священники продолжали поддерживать это мощное средневековое учреждение, которое враги считали благородным ужасом. Все их древние политические огрехи не заслонили его величия. Если они омрачали солнце в раю, то они одевали его в цвета восхода и пририсовывали ореол; если они давали камень вместо хлеба, то камень был хотя бы украшен добрыми ликами и увлекательными сказками. Если справедливость указывала на сотни виселиц с невинными, они тем не менее могли сказать, что смерть порой предпочтительнее нечестивой жизни. Если свет нового дня освещал их камеры пыток, то, помимо картины мучений, обнаруживалось и смутное воспоминание, что когда-то мучили для очищения и не на свету, не обнажая ад, как это делают парижские и прусские дьяволисты – бесстыдно и при свете дня. Они говорили правду, не очищенную от природы человеческой; их земля не была землей без рая, их пейзаж не был пейзажем без неба. А ведь во Вселенной, где нет Бога, нет места и для человека.

Старый и новый мир обречены на конфликт хотя бы потому,

что старый мир часто бывает шире, а новый почти всегда узок. Церковь учила, причем не в конце, а в начале своего пути, что похороны Бога -это всегда неокончательные похороны. Если горны Бонапарта подняли народные массы в первый час, то церковь могла подуть в куда более революционную трубу, способную поднять всю демократию мертвых.

Но если мы признаем, что столкновение между новой республикой с одной стороны и Святой Русью и Священной Римской империей с другой стороны было неизбежно, то оставались еще две великие европейские державы с двумя разными отношениями и разными мотивами, определившими общую картину. Ни одна из них не имела ни крупицы католического мистицизма. Ни одна из них не имела ни крупицы якобинского идеализма. Ни одна из них не имела подлинных моральных причин вступать в эту войну. Первой из них была Англия, а второй – Пруссия.

То, что Англия должна сражаться, дабы сохранить свое влияние в портах Северного моря, довольно спорно. Столь же спорно утверждение, что если бы она так же сердечно встала на сторону Французской революции, как в реальности противостояла ей, она смогла бы получить какие-то уступки с другой стороны пролива. Но с уверенностью можно сказать, что Англию ничто не связывало с армиями и палачами континентальных тираний и что в тот момент она стояла на распутье.

Конечно, Англия была аристократичной, но и либеральной, в ее среднем классе росли идеи, которые уже создали Америку и преобразовывали Францию. Яростные якобинцы, вроде Дантона, хорошо разбирались в английской литературе. Религии, за которую можно сражаться, как русские или испанцы, у народа не было. В приходах служили уже не то чтобы священники, а мелкие сквайры – и довольно давно. Эта зияющая пустота превратила снобизм в единственную религию Южной Англии – пантеон богов заняли богачи.

Эта метаморфоза очень хорошо заметна по наименованию цветка, который селяне назвали «Lady's Bedstraw»[73], хотя раньше он назывался «Our Lady's Bedstraw»[74]. Мы убрали из названия его сравнительно демократическую часть[75], а аристократическую оставили. Южную Англию в Средние века называли садом; но теперь в этом саду выращивали фрукты и овощи, именуемые «дамами и господами».

Мы становились все более и более островной страной даже в наших действиях на континенте; наш остров все больше напоминал судно на якоре. Нас не интересовало, что Нельсон

делал в Неаполе – для нас он навечно в Трафальгарской бухте; но даже это испанское слово мы не смогли произнести правильно. Однако с того момента, когда мы сочли национальной необходимостью войну с Наполеоном, мы держались одной линии. Она менялась лишь в оттенках – из трагедии выбора она стала трагедией ошибок. И в этой трагедии, уже второй раз, мы оказались на стороне немцев.

Но если Англии было не за что сражаться, кроме компромисса, то Пруссии было не за что сражаться, кроме самого сражения. Она была и остается в высших проявлениях духом отрицания. Очевидно, что она боролась со свободой в лице Наполеона так же, как до этого боролась с религией в лице Марии Терезии. Она боролась против; но за что она боролась, сказать невозможно. В лучшем случае, за Пруссию; но вообще-то за тиранию.

Пруссия раболепствовала перед Наполеоном, когда он ее разбил, и присоединилась к погоне, когда более храбрые народы разбили его. Она провозглашала реставрацию Бурбонов, но не упустила случая пограбить реставрируемых. Одними и теми же руками она попыталась разрушить и революцию, и реставрацию. Единственная в той агонии народов, она не нашла ни одного идеала, который бы осветил ночь ее нигилизма.

Французская революция обладала свойством, которое чувствовали все; его можно назвать внезапной античностью. Ее увлечение классицизмом не было лицемерным. Когда она случилась, показалось, что история отмотала несколько тысяч лет назад. Она говорила притчами; она стучала копьями и надела жуткий фригийский колпак. Кто-то счел все это миражом, кому-то показалось, что ожили вечные статуи. Самые напряженные фигуры были к тому же обнаженными и заставляли обратить на себя внимание. Насколько же комично, что в то же самое время совсем рядом входили в моду зонтики, а кое-кто уже пробовал щеголять в цилиндрах.

Любопытно, что полноту картине, часть которой находится как бы за пределами мира, придают два символических события, два насильственных акта. Революция началась с взятия старой и практически пустой тюрьмы, называемой Бастилией, и мы считаем это событие началом революции, в то время как подлинная революция началась лишь через некоторое время. Закончилось же все, когда в 1815 году встретились Веллингтон и Блюхер – именно это событие стало концом Наполеона, хотя на самом деле впервые Наполеон пал раньше.

Но народные представления справедливы, как обычно и случается – толпа ведь художник, а не ученый. Мятеж 14 июля

освобождал узников не внутри Бастилии, а узников вокруг нее. Наполеон при Ватерлоо был уже *призраком* самого себя. Но Ватерлоо стало финалом именно потому, что случилось после воскрешения призрака и его вторичной смерти. В этом втором случае вообще много странных символов.

Нерешительная двойная битва накануне Ватерлоо похожа на раздвоение личности во сне. Она отсылает нас к противоречиям сознания англичан. Мы увязываем Катр-Бра[76] с чем-то романтически-сентиментальным, вроде Байрона и «Чёрного брауншвейгца»[77]. Естественно, мы сочувствуем Веллингтону, противостоявшему Нею. Но мы не сочувствуем, и даже тогда мы не особенно сочувствовали, Блюхеру, противостоящему Наполеону.

Германия жаловалась, что мы в упор не видели усердия пруссаков в те решительные дни. А ведь надо было. Даже в те времена англичане относились к ним не с участием, а как к огромному позору. Веллингтон, самый мрачный и самый недружелюбный из тори, не питавший симпатий ни к французам, ни к кому-либо еще из рода человеческого, выбрал для прусской армии слова совершенного отвращения. Пиль[78], самый чопорный и снобистский тори, который когда-либо благодарил «наших отважных союзников» в холодной официальной речи, не стал сдерживать себя, когда говорил о людях Блюхера.

Наши средние классы часто украшали прихожие репродукцией картины «Встреча Веллингтона и Блюхера»[79]. С тем же успехом можно было повесить картину с рукопожатием Пилата и Ирода. Но после этой встречи над пеплом Угомона[80] они отправились топтать угольки демократии, то есть заниматься тем, чем пруссаки занимались всегда. Мы знаем, о чем думал ироничный аристократ родом из ожесточенной Ирландии[81], и нам не важно, о чем думал Блюхер, когда его солдаты вошли в Париж и украли меч Жанны д’ Арк.

IV. Пришествие янычар

Покойный лорд Солсбери[82], печальный человек с хорошим чувством юмора, сделал множество официальных и серьезных заявлений, которые затем были опровергнуты или уличены во лжи, а также много частных и вольных замечаний, куда более значимых, а то и бессмертных. Он поразил жесткую и ложную идеологию «социальных преобразований», когда говорил о том, что пабы спаивают людей. По его словам, в Хатфилде есть много спальных мест, но они не делают его сонным местом.

За такие образы ему можно простить речи, сказанные им о «живых и умирающих нациях», хотя если нации живут, то почему бы им и не умирать. С тем же настроем он включил ирландскую нацию в «кельтскую бахрому» на западе Англии. Необходимо заметить, что в таком случае бахрома существенно больше того, к чему она пристрочена. Но злая ирония времени отомстила ему за поругание ирландцев тем, что случилось с другой бахромой британского одеяния на Северном море, которую он с пренебрежением оторвал. Имя ей было Гельголанд, и он отдал ее немцам.

Последующая история двух островов по обе стороны от Англии еще более иронична. Если бы лорд Солсбери сумел предвидеть, что случится с Гельголандом, как и то, что случится с Ирландией, вряд ли бы он сумел заснуть хоть в одной спальне в Хатфилде, как и в сотне подобных спален. На восточном острове он усилил крепость, которая в один из дней должна была уничтожить нас. На западном острове он ослабил крепость, которая в один из дней должна была спасти нас.

В этот самый день его надежный союзник, Вильгельм Гогенцоллерн, атаковал из бухты Гельголанда наши корабли. И в тот же день его старый и заклятый враг Джон Редмонд[83] должен был восстать против английского владычества и во громах и молниях получить благодарность за бесплатный ирландский меч. То, что Солсбери считал бесполезным, стало нашей огромной потерей; то, что он считал ничтожным, стало нашей опорой.

Среди тех представителей политического класса, кто принял и приветствовал союз с лидером ирландцев, были те, кто знал правду о прошлом отношений между Англией и Ирландией; были и те, кто почувствовал, что час пробил. Всем было очевидно, что Англия уже не может быть владычицей; многие понимали, что сейчас куда более разумно просить, а не повелевать.

Немногие догадывались, что она заслуживает быть просительницей. Были и те, кто не слишком задумывался о штуке

под названием «история». Но если бы они задумались о клейме, содержащемся в словах «кельтская бахрома», определяющих Ирландию, то они бы усомнились, достойны ли мы поцеловать этот подол одежды. Если же еще есть англичане, находящие такой язык забавным, то вот глава, написанная для их просвещения.

В двух предыдущих главах я в общих чертах нарисовал путь, следуя которым – по исторической случайности ли, по ложной философии ли – Англия пришла на германскую орбиту, центр коей уже находился в Берлине. Повторять причины, приведшие к этому, нет особой нужды. Лютер не был ересиархом для Англии, хотя Генрих VIII и увлекался спорами с ним. Но отрицающий германизм, его северное сопротивление, его изолированность от латинской культуры были в определенном смысле причиной реформации.

Это видно по двум фактам: яростный отказ от нового астрономического календаря только потому, что его предложил Папа, и странное решение использовать латынь как нечто совершенно иное, как будто это не мертвый язык, а новый. Позже отдельные монархи также сыграли свои роли – противоречивые и случайные; «яростные германцы» пришли и ушли[84], а куда менее интересные германцы[85] пришли и не ушли.

Их влияние оказалось негативным и далеко не таким незначительным, как кажется; они удаляли Англию от жизни Европы, в которую ее пытались включить галлофилы Стюарты. Лишь один монарх Ганноверской династии был активным немцем – немцем, прославившим имя британцев, хотя и произносил это слово неверно.

Именно он потерял Америку. Важно отметить, что те из подлинных британцев, кто произносил его верно, уважали и готовы были говорить с американской революцией, были ли они патриотами или же легитимистами – романтически-консервативный Бёрк[86], или пожиратель земель, империалист Чатем, или в действительности весьма нужный тори Норт[87]. Но загвоздка была именно в курфюрсте Ганновера, а король им был в большей степени, чем королем Англии -узколобым и мелочным германским принцем, которому был скучен Шекспир и более-менее мил Гендель.

На самом деле скрепили несчастное содружество между Англией и Германией два союза с Пруссией; в первом мы предотвратили укрепление традиции поражений Фридриха в Семилетней войне, во втором мы предотвратили укрепление традиций поражений пруссаков от французской революции и Наполеона. В первом случае мы помогли Пруссии, как помогают молодому бандиту избежать наказания; во втором случае мы

помогли выросшему бандиту занять место в магистрате и начать выносить там решения. Защитив нарушения закона, мы защитили превращение их в закон.

Мы помогли Бурбонам вернуть корону, пока наши союзники из Пруссии (как обычно, задорно) выковыривали из этой временно бесхозной короны бриллианты. На протяжении всего этого важного для истории периода мы, приходится признать, опирались на поддержку отсталых законов и власть не самых приятных людей. Так, Нельсон оставил после себя в Неаполе отвратительное эхо. Но что бы мы ни говорили о причинах, дело, сделанное нами при помощи стали и золота, было столь масштабным и решительным, что англичане могут по-прежнему им гордиться.

Мы никогда не делали ничего столь же великого. Но в процессе этого занятия мы спасли Германию, и теперь, через сто лет, мы столкнулись с необходимостью ее уничтожить. История напоминает красивый, но ветшающий фасад лишь тем, кто не занимается ее изучением; для них она – двуцветный фон нынешних драм. Им кажется, что не так уж важно, кто на какой стороне сражался, если все стороны устарели. Ведь и Бонапарт, и Блюхер носили старые шляпы с перьями. И французские короли, и французские свергатели королей не только покойники – они всего лишь иностранные покойники. И вся история, как гобелен о Войне Алой и Белой роз – декоративна и случайна.

Но это не так: мы сражались вместе со старым миром против нового за что-то реальное. Если мы хотим знать пронзительно точно, как это было, мы должны распахнуть старую, запечатанную, скрывающую ужас дверь и оказаться на сцене, называемой Ирландией, хотя ее лучше было бы назвать адом. Выбрав защиту старого мира в его войне против нового, мы скоро вынуждены были осознать, в какое ритуальное детоубийство вовлечены – мы участвовали в избиении младенцев.

В Ирландии новый мир был представлен молодыми людьми, разделявшими демократические мечты континента. Они собирались сорвать заговор Питта, создавшего огромную махину коррупции и пытавшегося растворить Ирландию в анти-якобинской среде Англии. По случайному стечению обстоятельств они смогли заставить британских правителей почувствовать себя проводниками беззакония. Жесткая и самовлюбленная фигура Питта осталась стоять с неуместным кошельком в руке, тогда как его более человечные противники сжимали в руках мечи – последний аргумент людей, которых нельзя купить, ибо они отказываются продаваться.

Мятеж вспыхнул и был подавлен. Но правительство,

подавившее его, было вдесятеро беззаконнее восставших. Судьба в этот раз решила разыграть спектакль исключительно в черно-белых тонах, как будто люди были аллегориями в ужасающе банальной трагедии. Герои действительно были героями, злодеи ничем не отличались от злодеев. Обычное хитросплетение жизни, когда хорошие люди совершают зло по ошибке, а плохие люди случайно творят добро, в этой ситуации решило не вязать своих узоров.

Мы должны были не только делать мерзкие вещи, но и чувствовать себя мерзко. Мы должны были уничтожить не просто благородных людей, но еще и выглядевших благородно. Среди них были такие люди, как Вольф Тон[88], государственный деятель высшей пробы, которому не терпелось основать государство, и Роберт Эммет[89], любивший свою землю и женщину, в котором видели нечто очень схожее с орлиным изяществом юного Наполеона. Но он был счастливее юного Наполеона – он так и остался молодым.

Его повесили, но не ранее, чем он произнес одну из тех фраз, которые движут историю. Его эпитафией стало то, что он отказался от эпитафий, и этим самым он поднял свою могилу в небо, как гроб Магомеда. Против таких ирландцев мы смогли произвести только Каслри[90] – это один из немногих людей в анналах, прославившийся только тем, что его опозорило. Он продал свою страну и угнетал нас, а остальных он запутал своими словесами, оседлав две разные и чувствительные нации ужасно невразумительной метафорой – «союз».

Тут не получится склоняться то в одну, то в другую сторону – как можно было бы симпатизировать то Бруту, то Цезарю или же колебаться между Кромвелем и Карлом I. Тех, кто отказывал бы Эммету в уважении, или тех, кто бы отказывал Каслри прямо в противоположном, просто не существует. Даже случайные совпадения между двумя сторонами делают картину контрастнее и дополняют превосходство националистов.

Да, и Каслри, и лорд Эдвард Фицджеральд[91] были аристократами. Но Каслри был продажным придворным, а Фицджеральд – благородным джентльменом, который, находясь в самом центре отвратительного бесстыдства нашей современной политики, вернул землю ирландским крестьянам.

И еще одно: такие аристократы XVIII века (как практически любые аристократы везде и всегда) сторонились и духа народа, и святынь бедных; формально протестанты, они были на практике язычниками. Но Тон был язычником, который не проводил гонений, в отличие от Галлиона[92]. Питт же был язычником другого типа, такие согласны с гонениями, его место рядом с

Пилатом. Он был и нетерпимым, и равнодушным – был вполне готов освободить папистов, но куда более готов истребить их. И опять-таки, два язычника, Каслри и Тон, выбрали языческий вариант ухода из жизни – самоубийство. Но обстоятельства были таковы, что любой человек, к какой бы партии он ни принадлежал, чувствовал, что Тон умер как Катон, а Каслри как Иуда.

Политика Питта продолжала свой марш – пропасть между светом и тьмой становилась все глубже. Порядок был восстановлен; и везде, где восстанавливался порядок, возникала худшая анархия из тех, что видел этот мир. Пытки выбрались из склепов инквизиции и пришли на улицы и поля. Деревенский викарий был убит и изрублен, его тело бросили в огонь под страшные шутки о «священнике на гриле». Правительство занялось изнасилованиями. Нарушение девственности стало функцией полиции.

С тем же ужасным символизмом английское правительство и поселенцы, казалось, пытаются актами звериной жестокости встать над женами и дочерями расы редкой и обособленной чистоты, чья вера восходила к невинности Богоматери. В телесном отношении все это напоминало войну бесов с ангелами, и если Англия не могла дать никого, кроме палачей, то Ирландия – никого, кроме жертв. Такова была часть цены, уплаченной телами ирландцев и душами англичан за право подлатать Пруссию после их катастрофы при Иене[93].

Но Германия присутствовала на сцене не только духом, Германия дала и плоть. Не хочу недооценивать «достижения» англичан или оранжистов, но безо всяких колебаний могу сказать – самые яркие «успехи» выпали на долю солдат, унаследовавших традиции ужасов Тридцатилетней войны, которая в одной старой песне называлась «жестокими войнами Высокой Германии».

Знакомый ирландец, чей брат был солдатом и чьи родственники занимали выдающиеся посты в Британской армии, рассказал мне о знакомой ему с детства легенде (скорее всего, правдивой) из 1798 года, после которого его собственная мать не позволяла употреблять в ее доме слово «солдат». И если мы внезапно обнаружим, что эта традиция жива, мы также обнаружим, что самые ненавистные солдаты были солдатами немецкими. Как говорили ирландцы, и как они говорят до сих пор, германские наемники были хуже оранжистов – настолько, насколько человеческий язык способен выразить. В них не было ничего, кроме проклятия Божьего, к тому же произнесенного на незнакомом наречии.

Практика применения немецких солдат и даже целых

немецких подразделений, одетых в форму британской армии, пришла к нам вместе с нашими германскими князьями и воспроизводилась во многих важных событиях XVIII века. Они, скорее всего, были среди победителей, расположившихся лагерем у Драмосье Мур[94], и они же (что более отрадно) были среди тех, кто быстро удирал от Престонпанса[95].

Когда крайне типичный немец Георг III – узколобый, серьезный, бескультурный и грубый домосед -спорил с людьми более одушевленными (а ими были не только демократы в Америке, но и аристократы в Англии), именно германские войска стали его посланцами по ту сторону Атлантики. Именно их вымуштрованные подразделения шли вместе с Бергойном[96] по лесам и болотам, пока не сдались при Саратоге; их деревянные лица видели наше падение. Их присутствие подействовало на многое и очень надолго. Как ни странно, их крайний милитаризм помог Англии стать менее военизированной и более меркантильной.

Мы почувствовали, хотя и неясно, что война -дело, которое следует поручить иностранцам. В целом это повысило репутацию немцев как вояк -в отличие от французов, которых мы по нашему тщеславию склонны недооценивать. Сходство военных форм создало основание для миража – стало казаться, что английский и германский монархи могут приветствовать друг друга как близкие родственники, которые живут в разных странах по недоразумению.

Даже в 1908 году, когда германский император воспринимался английскими политиками как угроза, а английский народ считал его просто безумным, все же не считалось неуместным или опасным появление Эдуарда VII на людях в прусской военной форме. При этом Эдуард VII был другом Франции и готовил союз с ней. Но если бы он надел красные брюки, точно французский военный, люди бы попадали со смеху, как если бы он нарядился китайцем.

Германские наемники или союзники отличались от нас (по печальному совпадению, о котором я говорю в этой книге не раз) – они поощряли все плохое, что есть в английском консерватизме и неравенстве, и отрицали все лучшее, что есть в нем. Верно, что в идеальном англичанине слишком много от сельского сквайра. В литературе лучшим образцом такого сквайра я считаю афинского герцога Тесея из «Сна в летнюю ночь», который был добр к своим людям и гордился своими собаками; он был бы самим совершенством, если бы время от времени не проявлял склонность выражать свою доброту и к тем, и к другим схожим образом.

Но такое естественное и почти языческое добродушие созвучно влажным теплым лесам и уютным облакам юга Англии; оно бы не прижилось среди суровых и прижимистых юнкеров Восточной Пруссии, страны восточного ветра. Они сварливы также, как и горды, и все созданное ими, в особенности армия, получалось созвучно их безупречному порядку. Дисциплина была достаточно жестокой уже в армии XVIII века, и лишь она могла удержать вместе людей, переживших долгое угасание любой веры.

Государство, ставшее первым в Германии, было первым и в жестокости. Фридрих Великий запрещал своим английским почитателям сопровождать его войска во время кампании, чтобы те не обнаружили, как просвещенный монарх, запретивший пытки по закону, ввел их обратно уже без всякого закона. Его влияние, как мы видели, оставило на теле Ирландии раны, которые никогда не зарубцуются.

Английское правление в Ирландии до этого было плохо, но я очень сомневаюсь, что на рассвете века революций оно смогло бы долго оставаться плохим, если бы мы не выбрали сторону, вынудившую нас льстить самой варварской тирании Европы. Мы бы вряд ли увидели кошмар англизации Ирландии, если бы до этого не видели германизацию Англии. Но и для Англии это не прошло даром; свидетельство тому – человек, который лучше прочих показал пагубность влияния на Англию ее союза с Германией. В следующей главе я вас с ним познакомлю.

V. Потерянная англия

Говорить правду об Ирландии крайне неприятно для патриотичного англичанина, зато очень патриотично. А то, о чем я рассказал в предыдущей главе, -правда. Несколько раз, особенно в начале войны, мы едва не обрекли себя на катастрофу только потому, что пренебрегали правдой и считали, будто наши преступления 1798 года – это что-то очень старое, тогда как ирландцы воспринимали их так, словно это случилось вчера. Покаяние за эти преступления как за что-то очень древнее в данном случае не годится и не будет принято. Очень легко забывать и прощать; но куда сложнее забывать и быть прощенным.

Правда об Ирландии такова: отношения между Англией и Ирландией напоминают отношения людей, совершавших совместное путешествие, в конце которого, на последней стоянке, один попытался ударить другого ножом. Или отравить в придорожной харчевне. Разговор между ними может выглядеть корректным, но при этом он будет напряженным. Тема попытки убийства, примеры из истории и литературы, скорее всего, не станут оглашаться из соображений такта, но подспудно будут иметься в виду. Время от времени неизбежны молчаливые паузы, не лишенные напряженности.

Пострадавший может думать, что второго покушения, скорее всего, не случится. Но ожидать от него убежденности в его невозможности – значит требовать от него слишком многого. Даже если, дай Бог, главенствующий партнер действительно чувствует вину за прежние формы своего главенствования и самоотверженно доказывает это чувство -например, спасая другого с риском для собственной жизни от грабителей, – бывшая жертва все равно не сможет подавить в себе некоторые психологические сомнения относительно того, когда же главенствующий партнер впервые почувствовал свою неправоту.

Это справедливое иносказание об отношениях Англии и Ирландии не только в 1798 году, но и раньше, когда была совершена измена и нарушен лимерикский договор[97], и существенно позже, во время Великого голода и после него. Поведение Англии по отношению к ирландцам после этого восстания очень похоже на поведение человека, который заманил в ловушку и связал другого, после чего бесстрашно тычет в него ножом. Поведение же Англии во время голода напоминает поведение того же человека, развлекающегося в последние минуты жизни второго веселыми ремарками о его крайне высоких

шансах истечь кровью до смерти.

Британский премьер-министр публично отказался использовать английский флот для предотвращения голода. Британский премьер-министр способствовал распространению голода, когда заставил недоедающих ирландцев платить за голодающих. Обычный приговор коронерского суда о причинах смерти многих несчастных звучал как «умышленно убиты лордом Джоном Расселом[98]», и это был приговор не только общественного мнения Ирландии, но и исторический приговор.

Среди тех, кто имел влияние в Англии, в то время нередки были те, кто не только публично поддерживал политику премьер-министра, но и провозглашал ее цель. Газета «Таймс», обладавшая тогда национальным авторитетом – вес ее слов недостижим для современной журналистики – открыто ликовала о скором наступлении «золотого века» Ирландии, когда вид ирландского аборигена будет «столь же редок на берегах Лиффи, как вид краснокожего на берегах Манхэттена».

Было бы довольно вызывающим, если бы это было сказано одним европейцем о другом, и даже европейцем о краснокожем индейце, если бы краснокожие индейцы занимали в ту пору и по сей день место ирландцев – если бы был индейский вождь Лорд Юстиции и индейский вождь Главно Командующий, если бы индейская партия в Конгрессе, в которую входили бы первоклассные ораторы и модные романисты, могла бы влиять на выборы президентов, если бы половина лучших войск страны тренировалась в метании томагавков, а половина лучшей журналистики в столице использовала бы пиктографы, если бы, по общему мнению, вождь по имени Сумеречная Сосна был бы лучшим из живущих поэтов, а вождь Тощая Рыжая Лиса был бы самым способным драматургом[99]. Если бы все это было так, английский критик вряд ли бы сказал что-то презрительное об этих краснокожих, а если уж сказал, то пожалел бы.

Но это удивительное признание показывает, что было самое странное в позиции[100]. Его политика не была обычным случаем ошибок в управлении. Не в меньшей степени она показывает, что сами учреждения, созданные нами, были негодны. А они были негодны – от полпенса Вуда[101] до учреждения Церкви Ирландии[102].

Нет никаких оправдания ни для методов Питта, ни для методов Пиготта[103]. Они существенно отличаются от обычных управленческих ошибок своими целями. Людей обуздывали не для того, чтобы они жили спокойно, но чтобы они спокойно умирали. А потом мы бы сидели с совиным неведением наших грехов и спорили о том, удастся ли ирландцам преуспеть в

спасении Ирландии. Но нам, на самом деле, не удалось спасти Ирландию. Мы просто не сумели ее уничтожить.

Невозможно отвергнуть этот приговор или изъять из него хотя бы один пункт. Он именно таков; что же должно сказать англичанам на эту тему? Есть что; однако англичанин ничего не скажет, даже случайно. Не скажет и ирландец, потому что это было бы признанием слабости или просьбой о защите. Возможно, ирландцам имело бы смысл сказать что-то против английского правящего класса, но они молчат, да и вряд ли они имели возможность установить тот простой факт, что этот класс правит Англией. Они справедливо полагают, что ирландцы должны иметь возможность говорить с ирландским правительством, но ошибаются, когда предполагают, что и англичане могут точно так же говорить с английским правительством.

Я совершенно уверен, что не впаду в национальное чванство, когда скажу, что обычный англичанин не был способен совершить те жестокости, которые совершались во имя его. Самое важное, и это исторический факт, – была и другая Англия, состоявшая из обычных англичан, которая не только старалась поступать лучше, но сделала существенную попытку поступать лучше. Если кто-нибудь попросит доказательств, то обнаружит, что они уничтожены или же сознательно замалчиваются, но их можно отыскать в наименее модных уголках литературы, и они подлинные. Если кто-нибудь спросит, что же это были за великие люди потенциальной демократической Англии, придется ответить, что их, великих людей, заклеймили ничтожными или вообще обошли вниманием – они были успешно принижены, когда освобождение, о котором они мечтали, утратило свое значение.

Величайший из них теперь немногим больше, чем просто имя в анналах; он был раскритикован, недооценен и недопонят. Но именно он представлял другой, более свободный народ Англии, и был чрезвычайно популярен именно потому, что его представлял. Приняв его как представителя этих людей, мы можем разом обозреть эту забытую легенду. И когда я начну говорить, я обнажу в его истории руку того вездесущего зла, о котором и написана эта книга. Это так, и я думаю, что это не совпадение -встав на некоторое время на место этого англичанина, я обнаружу напротив себя немецкого солдата.

Сын мелкого фермера из Суррея, уважаемый тори и верующий человек, он рискнул подать голос против тех исключительных жестокостей, которым подвергали связанных англичан германские начальники – эти мастера кнута и кровавых расправ шествовали тогда по английским полям в своих

непривычных мундирах. В землях, откуда они пришли, такие пытки были универсальным средством, призванным заставить мужчин погибать в вечных династических склоках севера. Но для бедного Уилла Коббета[104] на его провинциальном острове, мало что видевшего, кроме невысоких холмов и изгородей вокруг маленькой церквушки, где он нынче лежит под камнем, этот обычай показался странным – нет, крайне неприятным.

Он, конечно, знал, что порки есть и в британской армии, но немецкий стандарт порок был гораздо суровее – там вошли во вкус. Кроме этого, у Коббета были бабушкины предрассудки, будто право наказывать англичан принадлежит лишь англичанам, и другие подобные предубеждения. И он стал протестовать – не только устно, но и печатно. И скоро он узнал, как опасно вмешиваться в высокую политику высокой ганноверской военщины. Чтобы не ранить лучшие чувства иностранных наемников, Коббет был заключен в Ньюгейтскую тюрьму на два года, а штраф в 1000 фунтов должен был превратить его в нищего.

Этот небольшой инцидент – прозрачный набросок реальности Священного союза, демонстрирующий, что он на самом деле значил для стран, наполовину освобожденных, но принимающих сторону иностранных королей. Это, а не «Встреча Веллингтона и Блюхера», должно стать темой гравюры как величайшая сцена войны. Из этого примера пылкие фении должны узнать, что тевтонские наемники не ограничивались исключительно пытками ирландцев. Точно так же они были готовы пытать англичан; у наемников нет особых предпочтений.

В глазах Коббета мы страдали от наших союзников точно так же, как могли бы пострадать от завоевателей. Бони[105] был пугалом[106]; но немцы были подлинным кошмаром, к тому же сидящим на нашей шее. Для ирландцев союз означал разрушение всего ирландского, от веры святого Патрика до пристрастия к зеленому цвету. Но для Англии он означал также разрушение всего английского, от акта Habeas Corpus до предрассудков Коббета.

После истории с поркой он превратил свое перо в бич и бичевал им, пока не умер. Этот неудержимый памфлетист был одним из тех, кто доказал разницу между биографией и жизнью. Из его биографий мы можем узнать, что он стал радикалом, который когда-то был тори. Из его жизни мы бы узнали, что он всегда был радикалом, потому что всегда был тори. Немногие люди изменились меньше. Вокруг него такие политики, как Питт, менялись постоянно, будто факиры, скачущие вокруг священной скалы. Его тайна была похоронена вместе с ним; а заключается

она в его заботе об английском народе. Он был консерватором, потому что заботился о прошлом своего народа, и либералом, потому что заботился о его будущем.

Но было еще кое-что, куда более значимое. Он обладал двумя видами морального достоинства, очень редкого в наше время: он был готов с корнем вырвать древние успехи и готов был противостоять грядущим бедствиям. Бёрк говорил, что лишь немногие остаются партизанами, стоящими за павшего тирана, – он мог бы добавить, что еще меньше бывает критиков у тирана, который устоял.

И сам Бёрк определенно таким не был. Он дошел до безумного самобичевания, когда выступал против французской революции, уничтожавшей собственность богатых, но никогда не критиковал (или просто не видел, надо отдать ему должное) революцию английскую, начавшуюся с разграбления монастырей, а закончившуюся изгородями при огораживании, – революцию, широко и последовательно уничтожившую собственность бедных. Хотя он риторически помещал англичанина в крепость, политически он не позволял ему иметь даже выгон.

Коббет, куда более исторический мыслитель, увидел начало капитализма в грабежах тюдоровских времен и сожалел о них; а триумф капитализма он видел в индустриальных городах и бросил им свой вызов. Он стоял за парадоксальное утверждение, что Вестминстерское аббатство[107] куда более национально, чем аббатство Уэльбек[108]. Тот же парадокс велел ему утверждать, что жители Уоришкира должны гордиться Стратфордом-на-Эйвоне больше, чем Бирмингемом. Он бы не стал искать ни Англию в Бирмингеме, ни Ирландию в Белфасте.

Великолепный уровень литературного мастерства Коббета выжил после нападения на него со стороны его же равно великолепных взглядов. Но этот стиль тоже оказался недооценен в годы угасания английских традиций. Более осторожные школы упустили из вида, что сама суть английской речи не только сильна, но даже неистова. Англичанин первых газетных полос стал мягким, умеренным, сдержанным; но этот англичанин первых полос внутри пруссак.

Короткие согласные английских слов – это Коббет. Доктор Джонсон был нашим великим словесником тогда, когда говорил «вонь», а не тогда, когда говорил «загнивание». Возьмите простую фразу вроде «raining cats and dogs»[109] и заметьте, что она не только экстравагантно образна (она вполне шекспировская), в ее произношении есть зазубрины. Сравните «chats» и «chiens» – это не одно и то же.

Возможно, наш старый национальный дух спасся от

городского рабства в наших комических песнях, которыми восхищаются как раз люди, поездившие и познавшие культуру континента, вроде Джорджа Мура[110] или Беллока[111]. Одна (к которой я наиболее привязан) имеет припев: «O wind from the South / Blow mud in the mouth / Of Jane, Jane, Jane»[112]. Заметьте, опять-таки, что здесь есть не только потрясающее видение грунта, поднятого ураганом в воздух, но и уместность этих коротких звуков. Скажите «bone» и «bouche» вместо «mud» и «mouth» – получится далеко не то же самое. Коббет и был тем ветром с юга, и если он сумел залепить рты своих врагов грязью, то она была той самой плодородной почвой юга Англии.

И так же, как его кажущийся безумным язык – это настоящая литература, так и кажущийся безумным смысл его слов – это настоящая история. Современные люди не понимают его потому, что не понимают разницы между преувеличением правды и преувеличением лжи. Он преувеличивал, но то, что знал, а не то, чего не знал. Он кажется парадоксальным, потому что он встал за традицию против моды. Парадокс -это гротеск, который произносится единожды, но мода – это гротеск, повторяемый и повторяемый.

Я могу привести бесчисленное множество примеров из Коббета, но ограничусь одним. Каждый, кто считает себя сторонником среднего пути, получал что-то вроде физического удара от ярости Коббета. Никто из тех, кто читал «Историю Реформации», не сможет забыть абзац (за точность цитаты я не ручаюсь), в котором он говорит: одна мысль о таком человеке, как Кранмер, сводит с ума или же заставляет на мгновение усомниться в Божьей благодати. Но мир и вера возвращаются в душу в тот миг, когда мы вспоминаем, что он был сожжен заживо.

Это выглядит вызывающе. От этого перехватывает дыхание, но так оно и задумывалось. Я утверждаю: куда более вызывающим является тот факт, что куда более вызывающие взгляды самого Кранмера[113] были в дни Коббета не мимолетным воспоминанием, а непоколебимым историческим памятником. Тысячи священников и прихожан почтительно поминают Кранмера среди святых и мучеников; да и теперь многие уважаемые люди поступают так же.

Но такое поминание – не преувеличенная правда, а преувеличенная ложь. Кранмер не был тем жестоким монстром, каким считал его Коббет, но жестоким он был. А вот в том, что он не заслуживал поминаний священников, нет сомнений; ни в коем случае он не был святым, да и как грешник он не слишком привлекателен. От того, что его сожгли, он стал мучеником не больше чем Криппен[114], которого повесили.

Коббет потерпел поражение, потому что потерпел поражение народ Англии. После потрясших систему мятежей люди, как люди, были разбиты; и машины, как машины, били их. Питерлоо[115] было таким же поражением англичан, как Ватерлоо – поражением французов. Ирландия не получила самоуправление, потому что и Англия не имела его. Коббет не больше мог поглотить Ирландию, чем все тела мертвых ирландцев.

Но перед тем как потерпеть поражение, Коббет приобрел множество последователей; его «Регистр» был теми же многосерийными новеллами, которыми потом занялся Диккенс. Диккенс, кстати, унаследовал тот же инстинкт резкого говора, и, возможно, получал удовольствие от написания слов «gas and gaiters»[116] большее, чем от любых других двух слов в любом другом своем произведении. Но Диккенс поуже Коббета, конечно, не по своей вине, а потому, что в эпоху торжества Скруджа и Грэдграйнда[117] связи с нашим христианским прошлым были оборваны. Оставалось одно лишь Рождество, которое Диккенс спас так романтично, как будто они оба были на волосок от гибели и чудом уцелели вместе.

Коббет был йоменом, то есть свободным человеком со своей маленькой фермой. Во времена Диккенса йомены так же устарели, как и лучники. Коббет был существом средневековым; то есть он был полностью противоположным тому, что понимается под словом «современный». Он так же любил равенство, как святой Франциск, и был столь же независимым, как Робин Гуд. Как и другой йомен из баллады, он нес могучий лук в руке, и многие из его врагов познали мощь этого лука.

И пусть он иногда не поражал цель правды, зато он никогда не стрелял в другие мишени, как Фроуд[118]. Его образ XVI века, в котором завершилась средневековая цивилизация, не менее и не более красочен, чем у Фроуда; вся разница в такой скучной мелочи, как правда. Тот кризис не был источником сильной монархии Тюдоров, которая затем почти сразу же рухнула, он был источником того сильного класса, который завладел всем капиталом и землей, и владеет им по сей день.

Коббета попросили ни много ни мало согнуть его средневековый лук за клич «Святой Георгий и веселая Англия», хотя он и указывал на оборотную и уродливую сторону медали Ватерлоо; но его дурные предчувствия касались скорее Блюхера, чем Веллингтона. Если мы примем этот старый боевой клич как его прощальное слово (а он бы вполне мог попрощаться именно так), то должны заметить, что все в нем говорит против того, что современные власть имущие зовут то ли прогрессом, то ли империей.

Он включает в себя и обращение к святому, и самый народный и самый запретный дух Средневековья. Современный империалист думает о святом Георгии как о покровителе Англии не больше, чем он думает о святом Иоанне на станции метро «St.John's Wood». Он националист в самом узком смысле, да и непонятна красота и простота Средних веков тому, кто не видел креста святого Георгия отдельно, таким, как он был при Креси[119] и Флоддене[120] – насколько же он лучше Юнион Джека.

А слово «веселая» – это свидетель той Англии, которая славилась музыкой и танцами до прихода пуритан, искоренивших их совершенно неанглийской дисциплиной. Не два года, а целый век Коббет был в тюрьме; а его враг, «эффективный» иностранец, шествовал под солнечными лучами, величественный, вызывающий подражание.

Но я не думаю, что сами пруссаки когда-либо могли бахвалиться «веселой Пруссией».

VI. Гамлет и датчане

В одном из классических и лучших литературных продуктов, которые когда-либо поставляла Германия – я имею в виду не «Фауста», а сказки братьев Гримм, – есть великолепная история про мальчика, прошедшего через множество испытаний, но так и не научившегося трястись от страха. Во время одного из них, насколько я помню, он сидел у камина, и тут из дымохода выпала пара живых ног, после чего встала и пошла сама по себе. Затем из трубы выпало все недостающее и присоединилось к ногам – что, конечно, разрядило ситуацию. Это очаровательно и насыщено лучшей немецкой домовитостью. И это правда: вот какие удивительные приключения поджидают путешественника, оставшегося дома. Но также это показывает, какими разными были пути великого германского влияния на Англию, о котором и пишутся эти эссе – как оно начиналось с добра и постепенно превращалось в зло.

Оно началось с литературного влияния, с цветастых сказок Гофмана, с истории Синтрама[121] и так далее, воспроизводящих темный фон лесов за городами Европы. Старая тьма Германии была неизмеримо ярче нового германского света. Дьяволы Германии куда лучше, чем ее ангелы. Посмотрите на тевтонские картинки из «Трех охотников»[122] и вы увидите, что оба плохих охотника по-своему эффективны, но хороший охотник слаб с любой стороны – он вроде бесполой женщины с лицом, похожим на чайную ложку.

Но в этих первых лесных сказках есть еще кое-что, кроме уютных ужасов. На ранних стадиях суть истории была в спасении, в том, что мальчик *не* затрясся. Ужасы были страшными, чтобы показать его бесстрашие, а не то, что он сам может напугать. Пока все было в этих пределах, земля варварских грез сохраняла добропорядочность; и хотя некоторые индивидуальности вроде Кольриджа[123] и де Куинси[124] смешивали ее с худшими субстанциями (вроде опиума), она оставалась в целом страной уходящей романтики.

Но у леса есть один недостаток – в нем можно сбиться с пути. И одна опасность – не просто встретить дьявола, но начать ему поклоняться. Другими словами, фольклор всегда инстинктивно увязывал эту опасность с лесом – он может *зачаровать*, в нем можно потерять себя и попасть в плен или зависимость от неестественного, от духов. И в развитии германизма, от Гофмана до Гауптмана, мы видим растущую тенденцию воспринимать ужас всерьез, а это уже дьяволизм.

Немец начинает испытывать мрачную абстрактную симпатию к силе, а страх он описывает как некоторую особенность объекта своей симпатии. Немец больше не симпатизирует мальчику, вставшему против гоблина, – он на стороне гоблина, вставшего против мальчика. Все это происходит, как и у всех идолопоклонников, с бесчеловечной серьезностью; люди леса уже строят на горе пустой трон Сверхчеловека.

И в этот момент и для меня, и для других людей, любящих правду так же сильно, как сказки, начинает пропадать интерес к германской выдумке. Я за то, чтобы «идти в мир искать свою судьбу»[125], но я вовсе не хочу найти ее, а найти ее можно, лишь когда тебя закуют среди замороженных фигур Аллеи Победы[126]. Я хочу стать идолопоклонником еще меньше, чем идолом. Я хочу отправиться в страну фей, но и вернуться обратно я тоже хочу. Я буду восхищаться, но я не буду притягиваться, особенно мистикой или милитаризмом. Я за германские фантазии, но буду сопротивляться германской серьезности, пока не умру. Я за сказки братьев Гримм, но если появится такая штука, как закон братьев Гримм, я буду нарушать его, потому что я знаю, каким он будет. Мне даже нравятся прусские ноги (в их красивых ботинках), если они выпадут из дымохода и пройдут мимо меня в мою комнату. Но когда к ним присоединится голова и заговорит, мне станет немного скучно.

Немцы не могут быть глубокими, потому что не позволяют себе быть поверхностными. Они увлечены искусством, погружаются в него и не могут увидеть того, что окружает искусство. Они не верят, что искусство – это светлая и легкая штука – перышко, может быть из крыла ангела. В глубине бассейна есть только слизь, небо отражается в поверхности воды. Мы видим это в очень типичном процессе – германизации Шекспира. Я не огорчаюсь, когда немцы забывают, что Шекспир англичанин. Я огорчаюсь, когда они забывают, что Шекспир был человеком, у него были настроения, и ошибки тоже были, но прежде всего его искусство было именно искусством, а не признаком божественности.

В том-то и проблема с немцами, что они не могут «звонить похоронный звон попричудливее»[127] – в их похоронных звонах нет веселости. Фраза Гамлета о «зеркале, обращенном вверх к природе» обычно цитируется серьезными критиками и трактуется в том смысле, что искусство ничто, если оно не реалистическое. Но на самом деле эта фраза значит (или по крайней мере ее автор думал, что значит), что искусство – искусственное. Реалисты, как и другие варвары, действительно *верят* зеркалу, и поэтому бьют зеркала. Кроме того, они пропускают добавку «как бы»[128],

которую нужно иметь в виду в любом замечании Шекспира, и уж тем более в любом замечании Гамлета.

Когда я писал о вере в зеркало и разбивании его, я имел в виду один запомнившийся мне случай: некий реалистичный критик цитировал немецких ученых, доказывавших, что Гамлет имел определенные психопатологические отклонения, о которых в пьесе нигде не упоминается. Критик был заворожен, он думал о Гамлете как о реальном человеке, с прошлым и в трехмерном мире – которого не существует в зеркальном отражении. «Даже лучшие из этого рода людей – всего лишь тени» [129]. Ни один немецкий комментатор никогда не обращал на это обстоятельство достаточного внимания.

Так или иначе, Шекспир был англичанином, и наиболее им был именно в своих провалах; но ничто ему не удалось лучше, чем описание особенных английских типов характера. И если что-то надо сказать о Гамлете после того, что сказал о нем Шекспир, так я скажу – Гамлет тоже был англичанином. Он был столь же англичанином, сколь и джентльменом и сочетал в себе самые неисправимые слабости как тех, так и других.

Главной виной Англии, особенно в XIX веке, был недостаток решительности, и не только решительности в действиях, но и решительности в мысли -то, что зовут догмой. И в политике прошлого столетия этот английский Гамлет, как мы увидим, играл огромную роль – то есть отказался ее играть.

Было две волны германского влияния; одна – забавная игра с ужасом, и вторая – торжественное признание ужасных вещей. Первая указывала на страну эльфов, вторая – на Пруссию. Эта история развивалась с бессознательным символизмом и скоро получила впечатляющую проверку с политическим оттенком, что же мы уважаем на самом деле – фантазию тевтонов или тевтонский страх.

Процесс германизации Англии, его начало и поворотные пункты, лучше всего разметил гений Карлейля[130]. Вначале очарование Германии было очарованием ребенка. Тевтонцы никогда не были столь же великими, как в ту пору, когда ребячились; в их искусстве – и церковном, и народном – младенец Христос действительно ребенок, хотя Христос у них вряд ли человек. Неловкая суматоха в их педагогике наполовину искупается милостью того, что школы еще не были инкубатором для граждан, а скорее -садом для детворы. Самый первый и лучший лесной дух – это дух детства, его чудеса, его шалости, даже его невинный страх.

Карлейль точно отметил момент, когда германское чадо стало чадом избалованным. Чудо превращается в мистику, а

мистика всегда превращается в безнравственность. Шалости больше не поощряются, поощряется подчинение. Страх становится философией. Паника застывает и оборачивается пессимизмом или столь же угнетающим оптимизмом.

Карлейль, самый влиятельный английский писатель того времени, разметил все это в мысленном промежутке между своей «Французской революцией» и своим «Фридрихом Великим». И там, и там он был германцем. Карлейль был сентиментален, как Гёте, а Гёте был сентиментален, как Вертер. Карлейль понимал все во французской революции, кроме того, что она была французской. Он не мог себе представить холодную ярость, возникающую от вида оскорбленной истины.

Ему казалось абсурдом, что человек может умереть или убить за первое определение Эвклида, что он может смаковать государство гражданского равенства, как равносторонний треугольник, или станет защищать теорему о равнобедренном треугольнике[131], как Гораций Коклес[132] защищал мост[133] через Тибр. Но тот, кто этого не понимает, не поймет и французской революции – или, если на то пошло, американской революции. «Мы считаем самоочевидными следующие истины»[134], – это фанатизм прописных истин.

Карлейль не имел подлинного уважения к свободе, зато он по-настоящему благоговел перед анархией. Он восхищался первобытной энергией. Насилие, которое отталкивало большинство людей от революции, влекло его – и только оно. Пока виг, вроде Маколея, уважал жирондистов и порицал монтаньяров, тори, вроде Карлейля, скорее симпатизировал монтаньярам и выражал неоправданное презрение жирондистам. Эта страсть к бесформенной силе принадлежит, конечно, к лесам, к Германии. Но когда Карлейль попал туда, на него обрушилось своего рода заклинание, которое стало и его трагедией, и английской трагедией, и, в не меньшей степени, германской трагедией.

Подлинная романтика тевтонов – это романтика южных тевтонов, с их крепостями, которые буквально выглядят воздушными замками, с их рекой, окруженной виноградниками, которую можно срифмовать с вином[135]. Но поскольку Карлейлю была близка лишь романтика завоевания, он должен был доказывать, что завоеванное Германией куда поэтичнее всего остального, что есть в ней. Однако теперь завоеванное Германией – это самое прозаичное, от чего когда-либо уставал мир.

Сейчас даже в Брикстоне[136] больше поэзии, чем в Берлине. Стелла говорила, что Свифт мог очаровательно написать о помеле; а бедный Карлейль вынужден был романтично писать о

шомполе. Сравните его с Гейне, который тоже имел своеобразное пристрастие к мистическому гротеску Германии, но который ясно видел, где враг, почему и предложил использовать прусского орла в качестве мишени лучников на Рейне, приколотив его к стволу, как дохлую ворону.

Прозаическая суть Пруссии не доказывается тем фактом, что там больше не растут поэты, она доказывается куда более убийственным фактом – какими они там растут. Подлинная поэзия Фридриха Великого была написана не на немецком или варварском языке, но на французском – и оказалась очень слабой. Карлейль стал куда мрачнее, когда его врожденная меланхолия столкнулась с еще более глубокой прусской меланхолией – тут нечему удивляться. Его философия пришла к выводу, что пруссаки были первыми из немцев, а следовательно первыми из людей. Ничего странного, что на нас, остальных людей, он не возлагал особых надежд.

Но куда большее испытание ожидало и Карлейля, и Англию. Пруссия – тяжелая, упорядоченная, материалистическая, как глина, – продолжала твердеть и усиливаться после того, как непокоренная Россия и непокоренная Англия спасли ее, лежавшую ничком перед Наполеоном. В этом временном интервале двумя наиболее важными событиями были национальное возрождение Польши, которому Россия наполовину сочувствовала, а Пруссия была непримиримо враждебна, и отказ короля Пруссии от короны единой Германии просто потому, что она была предложена свободным германским объединением на условиях конституции. Пруссия не хотела вести немцев, она хотела завоевать немцев.

Но сперва она захотела завоевать другой народ. Она уже отыскала свое брутальное и немного забавное воплощение в Бисмарке; и Бисмарк принялся действовать по жесткой схеме, но не без юмора. Он поддержал, или сделал вид, что поддерживает, притязания принца Аугустенборга на герцогства, которые были частью Дании на законных основаниях. К поддержке этого слабого претендента он привлек две могучие силы – объединение германских государств, называемое Бунд, и Австрийскую империю.

Нет смысла рассказывать, что после занятия при помощи чисто прусского насилия оспариваемых провинций Бисмарк изгнал оттуда сперва принца Аугустенборга, затем германский Бунд, а напоследок и Австрийскую империю при помощи внезапной кампании при Садове[137]. Он был добрым мужем и добрым отцом, он не рисовал акварелей, а для таких уготовано Царствие небесное.

Но для нас символизм этой истории в другом. Датчане ожидали помощи от Англии, и если бы существовала хоть какая-то искренность в идеальном мире нашего тевтонства, они должны были ее получить. Они должны были получить ее, даже по мнению педантов того времени, которые уже заговорили о неполноценности латинян и неустанно объясняли, почему стране Ришелье нельзя править, а страна Наполеона неспособна сражаться.

Если уж для спасения совершенно необходимо быть тевтонцем, то датчане были большими тевтонцами, чем пруссаки. Если бы было жизненно важно, чтобы в роду были викинги, то датчане действительно были потомками викингов, в то время как у пруссаков в предках были и славянские племена. Если протестантизм является прогрессом, то датчане были протестантами, причем они достигли особенного успеха и богатства на небольшой площади при помощи интенсивного сельского хозяйства, которым обычно хвастались католические страны. Они воплотили в себе все достоинства, которые германцы обычно противопоставляют латинской революционности: тихую свободу, тихое процветание, простую любовь к полям и морю.

Более того, по совпадению, которые одно за другим преследуют эту драму, англичане времен Виктории нашли немало свежих впечатлений в северном духе детства и чудес датских гениев, чьи истории и рисунки сделались так популярны в Англии, что стали практически английскими. Хорошие истории, как сказки братьев Гримм, были собраны, а не созданы современными немцами – они были музеем вещей более древних, чем любая нация, проистекая из времен доисторических, не знавших летоисчисления.

Когда английские романтики захотели найти дух народных сказок еще живым, они обнаружили его в маленькой стране, где правил один из тех маленьких королей, которыми комично переполнены сами народные сказки. Они обнаружили то, что мы называем «оригинальным писателем». Они нашли целую страну фей в одной голове под высокой шляпой. Те из англичан, кто были детьми, обязаны Гансу Андерсену больше, чем любому из наших собственных писателей, за то исключительное открытие, что обыденное не скучно, а весьма фантастично, за открытие волшебной страны мебели и возможность увлекательных путешествий и приключений на ферме.

Его восприятие неодушевленных вещей как одушевленных не было холодной и угловатой аллегорией. Это было подлинное чувство присутствия бессловесной божественности в окружающих вещах. Благодаря ему ребенок ощущал, что стул, на котором он

сидит, – ближайший родственник деревянной лошадки. Благодаря ему дети, это счастливейшее людское племя, почувствовали, что крыша над их головой – это сложенные крылья какой-то громадной домашней птицы, а обычные двери обернулись огромным ртом, улыбающимся и приветствующим их.

В рассказе «Пихта» Андерсен пересадил в Англию куст, способный цвести свечами. А в сказке «Стойкий оловянный солдатик» он произнес речь в защиту романтики военного дела – против тех педантов, которые хотели бы запретить даже игрушки в детской. Он утверждал, в соответствии с традицией народных сказок, что достоинство солдата не в его величине, но в его несгибаемой верности и героической стойкости перед лицом высших и низших сущностей. Эти сущности, увы, оказались аллегориями.

Когда Пруссия, обнаружив, что ее преступления безнаказанны, впоследствии вторглась во Францию, как и в Данию, Карлейль и его школа предприняли определенное усилие, чтобы оправдать германизм. Они противопоставляли то, что называли смирением и простотой Германии, тому, что называли цинизмом и непристойностью Франции. Никто не смог бы утверждать, что Бисмарк смиреннее и проще Ганса Андерсена, но последователи Карлейля с молчаливым одобрением смотрели на то, как невинное крошечное королевство ломается, точно игрушка.

И здесь снова Англия с огромной вероятностью встала бы за правое дело, если бы английский народ имел английское правительство. Среди других совпадений была и датская принцесса[138], которая вышла замуж за наследника английского престола и рассматривалась толпой как принцесса из волшебной страны. Национальный поэт приветствовал ее как «дочь морского короля»[139], и она была и до сих пор остается наиболее популярной персоной среди королевского дома Англии. Но что бы ни нравилось нашим людям, наши политики оказались робкими, по сути полностью прирученными, и немели в страхе перед силой. Стойкий оловянный солдатик датской армии и бумажный кораблик датского военного флота, как и предсказала сказка, были смыты в большую канаву, ведущую в колоссальную *клоаку*, центр которой -в Берлине.

Почему же Англия не вмешалась? На этот счет было много причин, но я думаю, что все они явились разными следствиями единственной причины – непрямыми и иногда довольно нелогичными следствиями того, что мы называем германизацией Англии. Во-первых, наше островное положение, на котором мы так настаивали, привело нас к дикости отказа от места в главном

сенате наций. То, что мы считали нашей блестящей изоляцией, превратилось в позорное сонное партнерство с Пруссией.

Далее нашу безответственность усиленно тренировали два современных историка – Фримен[140] и Грин[141], учившие нас гордиться тем, что мы – возможные наследники безымянных врагов короля Артура, но не самого короля Артура. Король Артур, может быть, и не историческая личность, но хотя бы легендарная. Хенгист и Хорса[142] даже не были легендарными, после них не осталось легенд.

Всем очевидно, каким нужно быть, чтобы соответствовать Артуру: нужно быть рыцарственным, быть европейским. Но трудно вообразить, какие обязанности налагает на тебя родство с Хорсой, кроме соответствия чему-то лошадиному[143]. Видимо, это единственная часть англо-саксонской программы, которая действительно осуществляется в современной Англии.

Позже, при падении от Коббета до Кобдена[144] (от широкой к узкой человечности и здравому смыслу), был учрежден любопытный культ своеобразного мира – мира, распространяемого по планете не пилигримами, а разносчиками товаров. Мистики с самого начала взывали к миру, но они добавляли зароки бедности. Эти зароки кобдениты проигнорировали.

Затем снова приходит час роста симпатий к Пруссии, и этому ухудшению мы обязаны Карлейлю и его последователям. Но помимо них было еще кое-что – дух, который инфицировал нас целиком. Этот дух был призраком Гамлета. Мы дали великое имя «эволюция» процессу самотека. Наше богатство, наше островное положение, наша последовательная утрата веры так запутали нас, что старая христианская Англия уже пугает нас, как привидение, в существовании которого мы сомневаемся.

Аристократ, вроде Пальмерстона, любящий свободу и ненавидящий новомодную тиранию, должен был бы посмотреть на происходящее холодным взглядом и задать себе тот же самый страшный вопрос, что задал себе Гамлет: а не подлец ли я?

> Не желчь в моей печенке голубиной,
> Позор не злит меня, а то б давно
> Я выкинул стервятникам на сало
> Труп изверга[145].

Мы заставили онеметь наш гнев и нашу честь, но это не принесло нам мира.

VII. Полночь Европы

Преступлением небольшой тяжести, совершенным Англией, можно назвать мелочную критику Наполеона III и легкий отказ от него.

У викторианцев была очень дурная привычка полагаться на слова и в то же время презирать их. Они пытались строить свою историческую философию на двух или трех титулах, причем отказывались называть их верно. Солидный викторианец с его усами и правом голосовать на парламентских выборах совершенно спокойно говорил, что Луи Наполеон и Вильгельм Прусский стали императорами, и понимал под этим словом самодержцев. Его бы усы яростно топорщились и он бы назвал вас «буквоедом», если бы вы ответили ему, что Вильгельм -это германский император, а вот Наполеон – не французский император, а только император французов. Разве изменение порядка слов значимо?

Но тот же самый викторианец был бы более чем возмущен, если бы ему предложили удовлетвориться общением с учителем рисования[146], хотя в рекламе был указан магистр гуманитарных наук[147]. Его возмущение усилилось бы, если учитель рисования обещал бы ему морской пейзаж[148], но вместо этого принес бы часть моря[149]; или если бы юморист от эстетики, украшающий его дом, использовал бы вместо краски «индийская красная»[150] краснокожего индейца[151].

Англичанин не видел, что если бы между французским императором и императором французов была только словесная разница, то точно такая же только словесная разница была бы между императором и республиканцем или между парламентом и отсутствием парламента. Он уже знал, что император -это, обычно, деспотизм, но еще не выучил, что парламент – это, как правило, олигархия. Он не знал, что народ Англии скоро лишится сил не из-за потери избирателями их гражданских прав, а просто из-за молчания своих представителей, и что теперь правящий класс Англии опирается не на «гнилые местечки»[152], а на гнилых парламентариев.

Поэтому он не понимал бонапартизма. Он не понимал, что французская демократия стала более демократической, когда она превратила всю Францию в один избирательный участок, который избирал одного депутата. Он не понимал, насколько замедляло республику все, что в ней было не республиканское, но чисто сенатское. Он не понимал, как огромное представительное собрание может превратиться в насквозь продажный сенат.

Теперь-то мы и в Англии слышим об «упадке парламента» как о чем-то очевидном от лучших наших парламентариев, например, мистера Бальфура[153]. Мы слышим от одного частично французского и целиком якобинского историка французской революции совет английскому злу вернуть короне мощь. Кажется, что мы, бросившие Луи Наполеона в серую пыль мертвых деспотий, сами можем завершить наши революционные изменения тем, с чего Луи Наполеон только начинал.

Другими словами, наш викторианец не понимал термина «император французов». Этот вариант титула был намеренно избран, чтобы показать его выборное и народное происхождение; и он противоположен словосочетанию «германский император», которое выражает почти сверхъестественный племенной патриархат, или же словосочетанию «король Пруссии», которое выражает личное владение целой территорией. Когда речь идет о *государственном перевороте*, непростительно оправдывать мятеж против деспотии и одновременно запрещать мятеж против аристократии.

Идея «императора французов» еще не умерла, скорее, восстала из мертвых. Эта идея проста: хотя правительство может пользоваться поддержкой народа, но подлинно народной может быть только личность. Эта идея до сих пор венчает американскую демократию, как когда-то венчала французскую. Официальное лицо с огромными полномочиями, делающее выбор между войной и миром, должно бы называться не «президент Соединенных штатов», а «президент американцев». В Италии мы видели, как король и толпа преодолели консерватизм парламента, и в России новая народная политика мистически символизируется личностью царя, встающего во главе ее новых армий.

Но есть место, где существует подлинная форма слов и где эта подлинная форма блестяще подтверждается. Одному человеку среди себе подобных было позволено исполнить этот принцип с ужасной и оглушительной чистотой. Политический и географический крах[154] оставил ему лишь королевский титул, начертанный на небесах; потеряв дворец, столицу и земли, этот монарх доказал, что народ он не потерял, что король он не законом, а любовью соотечественников, король не почвой, а душами людей. Эти два слова останутся подлинными в замаранных и нелепых хрониках человечества: «Король бельгийцев»[155].

Уже стала расхожей постоянно повторяемая фраза бешено красноречивого Виктора Гюго, будто Наполеон III был жалким подражателем Наполеона I. Один политик сказал в «Орлёнке»[156], что «шляпа была, а вот головы не было» – речь тут,

конечно же, об имитации. Шляпа была экстравагантным преувеличением, но те, кто говорит об этом, часто упускают пару моментов, которые действительно имели место в этом преувеличении. Одно совпадение уж точно есть. Верно подмечено, что слава обоих Наполеонов была не так велика, как казалась; но и в том, и в другом случае надо решительно добавить, что и их падение было не таким грандиозным, как выглядело.

Оба преуспели сначала, оба затем пали. Но оба еще и преуспели в итоге, после падения. Если сейчас мы можем поблагодарить Наполеона Бонапарта за армии единой Франции, то мы точно так же можем поблагодарить Луи Наполеона за армии единой Италии. У этого великого движения к более свободной и более рыцарственной Европе, которое мы сегодня называем основой нашего союза, были предшественники и были победы не только при Арколе[157], но и при Сольферино[158].

Люди, которые помнят, как Луи Наполеон был принят в салона графини Блессингтон[159], где он считался почти слабоумным, обычно говорят, что он обманул Европу дважды. Первый раз – когда заставил людей поверить, что он глупец, и еще раз – когда заставил их подумать, что он государственный деятель. Но он обманул их и в третий раз – когда заставил их думать, что мертв и дело его ничтожно.

Несмотря на оголтелые стихи со стороны Гюго и еще более оголтелую прозу Кинглейка[160], на самом деле Наполеон III опозорен в истории единственно из-за катастрофы 1870 года. Гюго метал в Луи Наполеона бесчисленные молнии, но почти не осветил его. Некоторые части его «Возмездия»[161] похожи на карикатуры, изваянные из вечного мрамора.

Они всегда будут напоминать вялым и рыхлым поколениям, вроде викторианского, великую правду о том, что ненависть может быть прекрасной, если это ненависть к уродствам души. Но большая часть этих стихотворений могла быть написана и об Амане, и о Гелиогабале, и о короле Иоанне, и о королеве Елизавете в той же степени, что и о бедном Наполеоне III. В них нет и следа от понимания его заветной цели, зато есть очевидное презрение к жирным душам политиков сената.

И если такой истинный революционер, как Гюго, не отдал должное революционной составляющей цезаризма, то тем менее мог это сделать такой тори из Лиги первоцвета[162], как Теннисон. Кинглейк до забавного едко говорил о (приходе к власти Наполеона III как о – *С. М) «государственном перевороте»*, но я боюсь, что эта снисходительность[163] является одним из наименее приятных свойств наших национальных перьев и

прессы, к тому же почти улетучившимся после дела Дрейфуса. Поистине, не самое удачное занятие -публично каяться за грехи других людей.

Если это было легко для англичанина Кинглей-ка, то тем легче это было для немцев – супруга королевы Виктории и для самой королевы Виктории, находившейся под его влиянием. Но если разумные массы народа Англии и проявляли хоть какой-то интерес к континентальным делам, то они, вероятно, симпатизировали Пальмерстону, который был популярен, в то время как принц-консорт[164] популярен не был.

Черной отметиной напротив имени Луи Наполеона является лишь Седан[165], и сегодня в наших собственных интересах воспринимать Седан как промежуточный эпизод. Если его воспринимать по-другому, придется считать его концом света. Но мы должны положить конец подобным концам. И хотя война продолжается, а народы проходят чистилище чудовищной бойни, история мира все равно должна завершаться добром.

Эти картины истории не столь далеки, хотя и скрыты от взора ближайшими холмами. Одна из них – за мягкими холмами Суррея, где спит Коббет с его так и не родившейся английской революцией. Другая – за высотой, именуемой «Итальянский шпион», где юный Наполеон повернул своих золотых орлов против черных орлов Австрии. Но и эта авантюра французов в поддержку итальянского восстания очень важна, и мы только начинаем понимать ее значение. Это был вызов германской реакции, за который она отомстила в 1870 году, точно так же как балканская победа[166] была вызовом германской реакции, и 1914 год стал попыткой мести за него.

Верно, что освобождение Италии французами осталось незавершенным. Проблема Папского государства, например, не была затронута миром в Виллафранка[167]. Вулканический, но плодотворный дух Италии уже произвел чудесную, странствующую и почти вездесущую личность, чья красная рубашка превратила ее в бродячий флаг – Гарибальди. Многие английские либералы симпатизировали ему и его непримиримым сторонникам. Пальмерстон называл его «миром выше всякого понимания», но богохульства этого веселого старого язычника были скорее знаком того, что он осознавал: есть вещи глубже тех, что он может понять.

Спор с Папой Римским и последующее примирение с ним имели у бонапартистов форму инстинкта, и англосаксу этот инстинкт не получится ни понять, ни предугадать. Бонапартисты знали правду: антиклерикализм вовсе не разновидность протестантского движения, это – настроение католиков. Кроме

того, английские либералы не сумели убедить собственное правительство рискнуть так же, как рискнуло французское, и сам Наполеон III блестяще ответил Пальмерстону, его сопернику по международному либерализму, что половинчатая война лучше ее полного отсутствия. Суинбёрн назвал Виллафранку «привалом перед Римом» и выразил учащенный пульс мира того времени словами: «И пусть раздастся рык льва, возвещающего о республиканском Риме». Но он бы мог вспомнить, что вообще-то это не британский лев, которому британский поэт может властно приказать: «Рычи опять! Рычи опять!»

Правда, Англия не получала столь же ясного сигнала из Италии, какой она получила отДании. Великие державы не имели обязательств помогать Италии становиться нацией, в то время как они имели обязательства поддерживать тот неоспоримый факт, что Дания такой нацией была. Но великий патриот Италии имел опыт общения с двумя крайностями английского парадокса, и с этим были связаны два национальных и анти-германских случая.

Италия получила поддержку англичан, но не Англии. Немало наших соотечественников последовали за красной рубашкой, но среди них не было красных мундиров. И когда Гарибальди прибыл в Англию[168], причем не из-за Италии, а из-за Дании, итальянец вдруг обнаружил, что он более популярен среди англичан, чем любой англичанин. Он прошел через лес приветственных рук, которые хотели бы стать лесом мечей. Но тот, кто владел мечом, держал его в ножнах.

Для правящего класса доблесть героя Италии, как и красота принцессы Дании, была объектом восхищения, доставляющим удовольствие, как роман или газета. Пальмерстон был переполнен пацифизма, потому что он был переполнен джингоизма. Духом такой же беспокойный, как Гарибальди, в реальности он был осторожнее Кобдена. Англия имела самую осторожную в мире аристократию и самую бесшабашную демократию. Это было и остается тем английским парадоксом, из-за которого нас не понимают, особенно в Ирландии.

Капитаны нашей нации были рыцарями паркета; странствующие же рыцари находились в оттесненных от правительственных решений рядах черни.

Когда австрийский генерал, который порол женщин в завоеванных провинциях, появился на улицах Лондона, обычные извозчики вели себя в традициях донкихотства сэра Ланселота или сэра Галахэда. Он бил женщин, а они побили его. Они считали себя мстителями за честь дам и сломали кровавый кнут немецкого задиры, – так Коббет пытался сломать его, когда этот кнут стегал мужчин Англии. Хамство сидело в германских и

полугерманских правителях, носивших кресты и шпоры; их галантность валялась в канаве. Английские извозчики оказались рыцарственнее тевтонских аристократов, да и английских тоже.

Я немного задержался на опыте Италии потому, что он показал Луи Наполеона таким, каким он был до падения: политиком, возможно, не самым разборчивым, но определенно демократическим. Власть редко остается незапятнанной, и то, что Вторая империя была заражена шпионами и мошенниками без отечества, не подлежит сомнению – это показали такие демократы, как Рошфор[169] и Гюго.

Дело было не только во французской неэффективности – она весила не больше волоса на весах, другую чашу которых наполняла мощная и враждебная эффективность Пруссии. Ее неумолимая машина уже сокрушила Данию и Австрию и была готова ударить снова, чтобы потушить лампу, освещающую весь мир. Но перед ударом молота возникла заминка, и Бисмарк устранил ее щелчком пальцев, при помощи подмены[170] – у него на счету было много подобных куншттюков.

Франция пала; и вместе с ней пала свобода – у власти встали тираны и древний ужас. Коронация кайзера во дворце французских королей прошлого была аллегорией, подобно аллегорическим картинам на стенах Версаля. Для этого старая корона деспотов была поднята, а затем опущена на низкий лоб варвара[171]. Вернулся Людовик XI[172], а не Людовик IX Святой[173]; и Европа должна была знать, что на этом скипетре голубю не сидеть.

Мгновенно явились зловещие доказательства того, что Европа теперь в тисках дикаря. Захватчики вели себя с таким простодушным безверием и зверством, о котором в этих землях не слышали с той поры, когда Хлодвиг пометил их крестом. Для неприкрытой спеси этих новоявленных варваров остальных наций просто не существовало. Сопротивляющееся население двух крупных провинций было вышвырнуто со своих земель, как порабощенные жители разграбленного доисторического города.

На Францию обрушились репарации за попытку быть нацией, и по плану эти репарации должны были разрушить ее навеки. Под давлением столь вопиющей несправедливости Франция взывала к христианским народам – одному за другим, поименно. Ее последний возглас затих в тишине, такой же, что окружала и Данию.

Отозвался лишь один человек – тот, кто спорил с французами и их императором, но кто понимал, что под прусским штыком пал не только император. Гарибальди – не всегда мудрец, но всегда герой – встал с мечом в руке под темнеющим небом

христианского мира и разделил свою судьбу с Францией. Есть любопытная запись, в которой немецкий командующий отметил энергию и действенность последних ударов раненого льва Аспромонте[174].

А Англия тогда просто удалилась в печали, зато со всеми своими огромными владениями.

VIII. Не та лошадь

В одной из глав я упоминал замечания покойного лорда Шефтсбери[175] с сожалением, но уважительно, уверяю вас. Однако по определенным пунктам он заслуживает безоговорочного уважения, какое только может быть выказано. Его критики говорили, что он «думал вслух»; наверное, это одно их самых благородных соображений, которое может быть высказано о человеке. Над ним за это насмехались журналисты и политики, не способные мыслить или же недостаточны смелые для высказывания своих мыслей. Но у него была еще одна черта, искупающая сотни ошибок его беспорядочного цинизма. Он мог публично изменить свое мнение, он мог публично покаяться. Он мог не только думать вслух, он мог и передумать вслух.

Час, когда он объявил о своем обращении, стал одной из поворотных точек Европы – он публично отказался от нехристианской и неевропейской политики, в которую его втянул ловкий хозяина Востока Дизраэли, и заявил, что Англия «поставила деньги не на ту лошадь». Он это сказал о поддержке, оказываемой туркам из неоправданного страха перед Россией. Но я не могу не думать о том, что, проживи он подольше, он бы почувствовал то же отвращение к своей долгой дипломатической поддержке великого союзника турок на Севере. Он не дожил, а мы дожили до того момента, когда «не та» лошадь понесла, увлекая нас во все более дикие места, пока мы наконец не осознали, что скачка оборачивается кошмарным бредом.

Кому же мы так доверялись? Как объяснить превращение мечты в кошмар, и особенно – удивительное спасение, благодаря которому нас не швырнуло в стихию разрушения, как швырнуло турок? Причина превращения в определенном духе, и не требуется какой-то особенной логики, чтобы дать ему определение. Тем более не стоит требовать ее от людей, открестившихся от логики, ведь в их случае речь идет не о стройной теории, а о путанице мыслей. В самом широком и самом простом смысле причина скрывается за словом «тевтонство» или «пангерманизм», и с него (поскольку именно он казался победителем 1870 года) начать лучше всего. Суть пангерманизма можно проиллюстрировать аллегорией.

Допустим, лошадь считает, что все иные существа имеют моральный долг пожертвовать своими интересами в ее пользу на том основании, что она обладает всеми благородными и необходимыми качествами, и вообще вещь в себе. В ответ на это ей указывают, что при подъеме на деревья лошадь несколько

менее грациозна, чем кот, что любовники и поэты не так уж часто обращаются к лошадиным песням за вдохновением и предпочитают соловья, что при погружении под воду на средние и длительные сроки она чувствует себя менее комфортно, чем пикша, и что если разрезать ей живот, то шансов найти там жемчужину не так уж много, особенно по сравнению с устрицей.

На это лошадь могла бы ответить (и сделает так, потому что она просто тупая лошадь), что обладание непарным копытом существенно важнее жемчужин из океана, лазания на деревья или песен при луне; но скажет она не только это. Она поразмышляет несколько лет о котах, пока не обнаружит среди кошачьих характеристик «типично лошадиную каудальность, сиречь хвост»; итак, коты – это лошади, и каждый поднятый на верхушке дерева кошачий хвост – это флаг лошадности. У соловьев обнаруживаются ноги, которыми и объясняется красота их песен. Раз у пикши есть хребет, то она -морской конек. Даже устрицы, хотя внешне они не очень похожи на лошадей, что должно отделять их от последних, наполнены природными энергиями сродни тем, что движут лошадьми и делают их бег таким ровным.

Этот образ ничуть не более фантастичен, чем то, что утверждают тевтонцы. Немцы действительно говорят, что англичане – это просто морские немцы, то есть пикша на самом деле морской конек. Они действительно говорят, что соловьи Тосканы или жемчужины Греции – это в какой-то степени немецкие птицы и немецкие драгоценности. Они упорствуют в том, что итальянский Ренессанс на самом деле был немецким Ренессансом, и немцы брали итальянские имена, когда становились художниками, как поступают иногда кокни[176], когда становятся парикмахерами. Немцы предполагают, что тевтонами были Иисус и великие евреи. Один тевтонец, которого я читал, объяснял свежую энергию французской революции и косность их германских врагов тем, что во Франции пробудилась германская душа и атаковала латинское влияние в Германии.

О преимуществах этого метода много рассказывать не надо: если вас беспокоит то, что Джек Джонсон[177] нокаутировал английского чемпиона, вам достаточно только сказать, что белизна в этом черном человеке победила, а чернота белого человека проиграла. Но об итальянском Ренессансе они говорят не так общо, они углубляются в детали. И они обнаружат (в их «истрических», как говорит мистер Гэндиш[178], исследованиях), что у Микеланджело была фамилия Буонаротти; они извлекут из этого слова слог «rot» и докажут, что это немецкое слово «красный». В каком-то смысле это верно. Большинство англичан не утратят спокойствия и просто пройдут мимо этого «rot»[179].

Вот, собственно, и все, что можно сказать об этой части нелепой прусской истории, в которой говорится, например, о «полной религиозной терпимости готов», – с тем же успехом можно рассуждать о юридической беспристрастности ветрянки.

Эти англичане не станут верить, что евреи были немцами; хотя, возможно, они встречали некоторых немцев, которые были евреями. Но глубже, чем любые практические приложения, внутренняя противоречивость этого принципа. Она состоит вот в чем: если тевтонство используется для включения, его трудно использовать для завоевания. Если все интеллигентные народы – германские, то пруссаки оказываются наименее интеллигентными германцами. Если люди во Фландрии – такие же германцы, как люди во Франкфурте, то мы можем сказать, что, защищая Бельгию, мы помогаем немцам, сражающимся против других немцев, впавших в заблуждение.

В Эльзасе завоеватели оказались в идиотской ситуации: они присоединили провинцию, потому что она населена немцами, а затем преследовали ее жителей за то, что они французы. Французские тевтоны, построившие Реймсский собор, должны сдаться южногерманским тевтонам, не достроившим Кёльнский собор, а те в свою очередь должны сдаться северогерманским тевтонам, не построившим ничего, кроме деревянной куклы Тетушки Салли[180] с физиономией старого Гинденбурга[181]. Увидев ее, каждый тевтон должен пасть перед лицом внутреннего тевтона; и так до тех пор, пока они не найдут среди отвратительных болот на берегу Балтийского моря самого исконного из всех возможных тевтонов, не поклонятся ему – и вдруг обнаружат, что он славянин. Вот что такое пангерманизм.

Но, хотя тевтонство и неопределимо, или по крайней мере не определено самими тевтонцами, оно все-таки не нереально. Неясная, но настоящая душа владеет всеми народами, которые увлекло тевтонство – оно увлекало и нас, так как и нас затронула эта дурь. Не как раса, а скорее как религия, она была нам явлена, и в 1870 году ее солнце было в зените. Очень кратко мы можем обозначить три ее принципа.

Победа германского оружия и до битвы народов при Лейпциге, и сейчас означает крушение определенной идеи. Это идея – идея гражданина. Она очень верная, она благородна даже как абстракция, причем идея гражданина не означает отказ от угнетения. Эта идея прекрасно сочетается с той точкой зрения, что у немцев управление лучше, чем у французов. В самых разных вопросах немцами действительно управляли лучше. Но управляй ими власть в десять тысяч раз лучше, все равно немцы были бы бесконечно далеки от того, чтобы управлять самим. Идея

гражданина заключается в том, что отдельная человеческая личность должна быть постоянно и созидательно активна в *изменении* государства. Немцы правы, считая эту идею опасно революционной. Каждый гражданин – революция.

Да, он разрушает, пожирает, подгоняет свое окружение по мерке своих мыслей и своей совести. Именно это отличает человеческое общественное усилие от нечеловеческих – пчела строит улей, но не критикует его. Германский правитель действительно кормит и учит немцев столь же заботливо, как садовник поливает цветок. Но если цветок вдруг станет поливать садовника, тот очень удивится. В Германии действительно люди образованы; но во Франции люди образовывают. Француз не только прихорашивает[182]свое государство, но и делает[183] его, и не только делает, но и переделывает.

В Германии правитель – это художник, постоянно рисующий счастливого немца как портрет; во Франции художник – это сам француз, он красит и перекрашивает Францию, как свой дом. Ни одно государство социального благоденствия, в котором гражданин *не выбирает*, а выбрав, не получает избранное, не имеет понятия об идее гражданина. Говорить, что германские государства воюют с этой идеей, значит проявить к ним уважение и воспринять их серьезно; в противном случае их война с французской революцией была свалкой невежд. Нет, они понимали, насколько рискованное и странное это понятие - творческий и критический гражданин, лежавший в 1870 году ничком перед объединенной Германией, под ее непарным копытом.

Однако, когда немец говорит, что он свободен и что он любит свободу, он не лжет. Он действительно имеет в виду то, что говорит, и то, что он имеет в виду, – это второй принцип, который я бы определил словами «безответственность мысли». В железных рамках неизменного государства у немца нет другой свободы, кроме анархии. Говорить можно все, что в голову взбредет, причем именно потому, что сделать ничего нельзя. Философия действительно свободна.

Но на практике это означает, что камера узника стала камерой безумца, что он нацарапал на ее стенах звезды и галактики, и теперь она стала похожа на нечто вечное. Это противоречие, отмеченное доктором Саролеа[184] в его прекрасной книге, противоречие между неукротимостью германской теории и укрощенностью германской практики. Германцы *стерилизовали* мысль, сделали ее активной и дикой, однако бесплодной.

Но хотя теорий и множество, большинство из них растут из

одного корня и зависят от одного предположения. Не так уж важно, назовем ли мы его «историческим материализмом», вместе с германскими социалистами, или, вместе с Бисмарком, принципом «железа и крови». Если коротко, то вот этот корень: все *главные* события в истории – биологические, начиная с выбора пастбища и заканчивая коммунизмом волчьей стаи. Профессора рвут волосы на челе, пытаясь доказать, что Крестовые походы были миграцией в поисках пищи – вроде той, которую совершают ласточки, а французские революционеры просто роились, как пчелы. Эта мысль работает в двух направлениях, которые считают противоположными, и объясняет как германских социалистов, так и юнкеров.

Первое из этих направлений, избранное тевтонским империализмом, делает «белокурых бестий» Германии львами, в природе которых съедать овец, коими и являются французы. Значительного успеха в этом деле, с их точки зрения, добилась раса, славная своей физической крепостью и бойцовой породой, склонная к честному грабежу и жуткому лицемерию при правлении – турки, которых некоторые тори звали «джентльменами Европы». Кайзер остановился, чтобы поклониться полумесяцу, когда ехал оказать покровительство кресту[185]. Это чувство родства получило свое воплощение, когда греки в одиночку восстали против турок и были быстро сокрушены[186]. Английские орудия помогли навязать в основном германскую политику Концерта великих держав на Крите, и мы не должны закрывать на это глаза, когда делаем предложения Греции – или пишем о преступлениях Англии.

Но тот же самый принцип держит внутреннюю политику Германии в спокойном состоянии и препятствует превращению социализма в реальную надежду или опасность, присутствующую во многих других странах. Он работает двояко. Во-первых, формулирует странное заблуждение, будто бы «время еще не пришло», как будто оно вообще может приходить. То же самое дикое лесное суеверие поразило Мэтью Арнольда[187], когда он сделал личностью «Дух времени» (Zeitgeist) – возможно, единственный призрак, целиком и полностью сказочный. Его можно разоблачить биологической параллелью с цыпленком, вылупляющимся из скорлупы, «когда пробьет его час». Ну уж нет, он вылупляется именно тогда, когда вылупляется.

Социализм марксистов не ударит, пока не пробьют часы, но часы сделаны в Германии, и они никогда не пробьют. Ведь если по теории вся история начинается и завершается поиском пищи, то массы будут искать лишь пищу и лекарства, но никак не свободу. Лучшая работающая модель такой теории – система

обязательного пенсионного страхования, оказавшаяся проваленной и мертворожденной во Франции, но ставшая, в германском понимании, великим достижением Германии. Она рассматривает наемных работников как постоянную, отделенную, низшую касту, неспособную самостоятельно заниматься откладыванием части своих маленьких зарплат. В 1911 году система пенсионного страхования была предложена в Англии мистером Ллойд Джорджем[188], изучившим ее на примере Германии, и благодаря престижу прусских «социальных реформ» была принята парламентом.

Эти три тенденции объединяются в установлении, у которого есть и великие исторические предпосылки, и великие современные удобства. Как Франция была законодателем мод в гражданском обществе в 1798 году, так и Германия в 1915 году стала законодателем мод в этом альтернативном гражданству деле. Это установление, которое наши отцы звали рабством, соответствует и логично вытекает из всех трех принципов, о которых я говорил, и обещает всем трем принципам большие преимущества. Отдельному работнику оно дает все, кроме возможности изменить государство и свой собственный статус. Окончательность статуса (которую некоторые маньяки-свободолюбы сочтут безнадежностью) есть душа рабства и обязательного пенсионного страхования.

Опять же, свобода, которую Германия дает индивидуальности, – это в точности та свобода, которая доступна рабам – свобода думать, свобода мечтать, свобода впадать в ярость, свобода выдвигать любые интеллектуальные гипотезы о неизменном мире и государстве. Ведь рабы всегда имели этот набор свобод от стоических принципов Эпиктета до забавных волшебных сказок дядюшки Римуса. Не менее верно и то, что утверждают все защитники рабства: раз уж историю можно измерять по материальным показателям, то приходится признать – материальные условия подчиненных при рабстве имеют тенденцию к улучшению, а не наоборот.

Когда я однажды указал, как точно «модельная деревня» одного великого работодателя воспроизводит безопасность и уединение старой рабовладельческой усадьбы, этот работодатель счел вполне достаточным возмущенно ответить, что он предоставляет своим наемным работникам бани, игровые площадки, театр и так далее. Возможно, он думал, что плантатор из Южной Каролины до него не хвастался тем, что предоставляет рабам банджо, книги гимнов и места для прогулок. Тем не менее банджо предоставлял именно плантатор, так как рабы не имели собственности.

Если эта германская социология возобладает среди нас, то я думаю, что ряд наших мыслителей, сходящихся в убеждении о ее превосходстве, будет славить многих доблестных джентльменов, чьи могилы находятся на поле последней битвы с дикостью. Людей, которые имели отвагу сражаться за нее, умирать за нее, и конечно, дать ей свое имя.

На этом принятии Англией германского акта о страховании я завершаю свой набросок о предыдущих отношениях двух стран. Я пишу эту книгу потому, что хочу раз и навсегда раскрыть тему[1] для моего друга профессора Вихря из Пруссии. Он так усердно защищал свою страну, что в итоге отчаялся и стал обвинять мою. Он перестал, под дружный смех, пытаться называть что-то правильным, поскольку даже его канцлер сказал, что это неправильно. Но он думает, что если сможет показать, будто кто-то в Англии делает что-то неверно, то эти два минуса в итоге дадут плюс.

Ради умаления страданий католиков-поляков этот пруссак не пошевелил и пальцем – даже не попытался, лишь ожесточился; однако у него нашелся (до чего же прекрасна человеческая непоследовательность!) теплый уголок в сердце для католиков-ирландцев. Он ничего не сказал от себя о кампании в Бельгии, но он до сих пор не перестал говорить мудрые, полные укоризны слова о кампании в Южной Африке[189]. Что ж, эти слова надо принять. Я не имею ничего общего с глупой претензией переднескамеечников[190], полагающих, будто бы наши правители всегда правят хорошо, что наши правители никогда не обеляют себя и даже не имеют надобности обелять.

Единственное моральное превосходство, на котором я настаиваю – это отказ от защиты того, что нельзя защищать. Я искренне призываю моих соотечественников не прятаться за тонкими официальными извинениями, фальшь и недостаточность которых наши сестринские королевства и подчиненные нам расы прекрасно видят. Мы можем покаяться в том, что наши преступления – как горы, закрывшие небеса, и при этом не бояться такого сравнения.

Может быть, кто-то опасается застрять в этот темный час в наших прошлых провалах, но я убежден, что главный риск не в этом. Я верю, что самая страшная опасность для наших армий сейчас исходит от малейшей струйки дыма самовосхваления, малейшего аромата моральной подлости, любого признака наглой и абсолютной беспардонности, из-за которых любой бур, или шотландец, или валлиец, или ирландец, или индиец могут почувствовать, что они торят путь для второй Пруссии.

Значительную часть жизни я критиковал и осуждал

существующих правителей и установления моей страны: по-моему, это самое патриотическое занятие, какое только может быть у человека. У меня нет иллюзий ни относительно нашего прошлого, ни относительно нашего настоящего. Я думаю, что вся наша история взаимоотношений с Ирландией – это вульгарная и невежественная ненависть к распятию, выраженная при помощи распинания. Я думаю, что Бурская война была грязной работой, сделанной под бичами ростовщиков. Я думаю, Митчелстаун[191] был позором. Я думаю, Деншавайское дело[192] – это дьявольщина.

И тем не менее есть одна часть нашей жизни и истории, в которой можно говорить об абсолютной незапятнанности Англии. Лишь в одном случае наши одеяния белы и над нами венец невинности. Как бы ни был долог и утомителен список наших грехов, только в одном случае мы не сделали ничего плохого. Мы обижали кого угодно, но мы никогда не обижали Германию. Снова и снова мы вытаскивали ее из мстительных рук ее врагов, спасали от святого гнева Марии Терезии, от нетерпимого и высокомерного здравого смысла Наполеона. Мы прикрывали тыл немцам, когда они грабили Данию и расчленяли Францию. Если бы мы так служили нашему Богу, как служили *их* королям, сегодня бы их не было на нашем пути, они бы не злословили на нас и не убивали нас.

IX. Пробуждение Англии

В октябре 1912 года молчащие и кажущиеся безжизненными утесы и долины одной высокогорной области западных Балкан услышали и ответили эхом на одиночный выстрел. Стрелял король – настоящий король, сидевший на крыльце своего дома (вряд ли его можно назвать дворцом) и слушавший жалобы своего народа. Наслушавшись, он иной раз сажал притеснителей по тюрьмам. Он говаривал, что его уважение к Гладстону[193] как к западному адвокату свободы Балкан не омрачило то обстоятельство, что Гладстон не преуспел в поимке Джека Потрошителя.

Этот простодушный монарх считал, что если злодей нарушает покой горных селений, их жители вправе ожидать от него, что он сам возьмет в руки оружие и будет преследовать негодяя. Если же он откажется сделать это, то сам может стать жертвой преследования со стороны другого, нового короля. И из того же немудреного принципа, что у короля есть определенные обязанности, следовало, что он должен начать и зарубежную кампанию, что именно он должен сделать первый выстрел в войне, которой суждено было обратить в прах древнюю империю великих турок.

Его королевство было лишь немногим больше черной горы, давшей ему название; мы обычно используем его итальянский перевод – Монтенегро[194]. Надо чуть задержаться на этом живописном и своеобразном сообществе, потому что оно – простейшая работающая модель того, что стоит на пути великой германской социальной машины, описанной мной в предыдущей главе. Уточнение – стоявшего на пути и быстро уничтоженного ее натиском. Оно – часть сербского генофонда, забравшаяся на скалы, свившая там орлиное гнездо и оттуда, на протяжении сотен лет, высмеивавшая грабительскую империю турок.

Сербы, в свою очередь, – это ветвь славян, миллионы которых живут в России, а некоторые подчинены империям, к которым имеют куда меньшую симпатию. А славяне, в свою очередь, в самых общих чертах, которые только и важны здесь, – не только славяне, но европейцы. Конкретная картина обычно куда точнее и яснее, чем тенденции, перемешанные с другими тенденциями, поэтому неразбавленная европейская простота Черногории – отличная модель.

Более того, на примере одного небольшого христианского государства можно показать, что спор идет не между Англией и Германией, но между Европой и Германией. На этих страницах я

задался целью не щадить свою страну там, где ее есть за что критиковать, и я открыто заявляю, что Черногория в моральном и политическом смысле почти в той же степени превосходит Англию, в какой она превосходит Германию.

В Черногории нет миллионеров – и поэтому нет социалистов. Почему там нет миллионеров – загадка, а самые хорошо изученные загадки кроются в истории Средних веков. Мрачный гений священников тех времен открыл удивительную, любопытную вещь: если вы убьете каждого ростовщика, каждого спекулянта, каждого растлителя, каждого обвешивателя, каждого обмеривателя, каждого похитителя земли или воды, то после этой процедуры перед вами возникнет чудесное видение, отблеск правды из рая – у вас не будет миллионеров. Чтобы не погружаться дальше в эти темные материи, скажу, что этот гигантский пробел в черногорской реальности объясняет и другой пробел – отсутствие социалистов.

Забавно, но сознательный пролетариат всех стран оторван от земли. Причина, по которой пролетарий так классово сознателен, не в том, что он часть пролетариата всех стран, а в том, что он пролетарий без земли. Бедные люди Черногории имеют землю, но обходятся без землевладельцев. У них есть корни; корни всех священников, поэтов и воинов -в крестьянстве. Именно они, *корпи*, а не взаимные обвинения в насилии, и есть причина для вековой неприязни Балкан к турецким завоевателям. Черногорцы – патриоты Черногории, но турки не патриоты Турции. Они не укоренены в ней по-настоящему. Турки – бедуины, кочевники из пустынь. «Той лошадью» лорда Солсбери был арабский жеребец, нашедший стойло в Византии. Не так уж просто управлять бродягами, вроде цыган. И совершенно невозможно вытерпеть, когда они управляют тобой.

Тем не менее XIX век прошел под знаком неясного суеверия (вроде пифагорейской веры в числа), разрушительного и реакционного, и турки, величайшие реакционеры, сидели в седле крепче, чем обычно. Самый цивилизованный из христианских народов, находившийся в тени полумесяца[195], посмел атаковать их и был раздавлен в катастрофе, казавшейся необратимой, как Хаттин[196]. В Англии Гладстон и его последователи были мертвы, а мистер Киплинг и менее мистически настроенный Карлейль славили британскую армию такими словами, которые куда больше подходят прусской армии.

Прусская армия правила Пруссией; Пруссия правила Германией; Германия правила концертом европейских держав. Она везде расставляла свою новую послушную технику – ее секрет. Верным признаком национального подчинения были

деловые контракты, поэтому Крупп мог рассчитывать на кайзера, а кайзер на Круппа. Практически каждый коммерческий путешественник, прибывавший оттуда, был горд тем, что он одновременно и раб, и шпион. Старые и новые тираны ударили по рукам. Методы Пруссии были столь же бесшумны и смертельны, как методы Турции на берегах Босфора. Мечтам граждан пришел конец.

И вот тут под свинцовыми небесами на дорогу, покрытую костями, вышел старомодный князь из маленькой горной страны[197]. Он вышел первым, раньше всех своих друзей, в последний и казавшийся безнадежным мятежный поход против Оттоманской империи. Лишь одно из предзнаменований не сулило катастрофы, но и оно было сомнительным. После успешной средиземноморской атаки на Триполи, доказавшей отвагу итальянцев (если она нуждалась в доказательствах), можно было пойти двумя путями. Большинство искренних либералов видели в происходящем только продолжение империалистической реакции в Боснии и Герцеговине, а вовсе не обещание чего-то нового. Надо помнить, что Италия по-прежнему была союзником Пруссии и Габсбургов.

Время застыло, дни казались месяцами, когда микроскопическое государство затеяло свой одиночный, обреченный на провал Крестовый поход. И эти дни ошеломили Европу, ибо рушились турецкие укрепления, слабели турецкие когорты и падал непобедимый запятнанный кровью полумесяц. Сербы, болгары и греки поднялись из своих убежищ. И люди увидели, как простые крестьяне сделали то, что политики сделать уже отчаялись. Тень первого христианского императора поднималась над городом, нареченным его именем[198].

Германия в этом неожиданном балканском натиске увидела, что после отлива воды мира обратились вспять. Казалось, что Рейн теперь берет начало в океане и течет в Альпы. Долгие годы все самое важное в европейской политике делалось Пруссией или с ее разрешения. Она отстраняла от власти французских министров и замораживала российские реформы. Ее правитель был признан величайшим государем своего века такими англичанами, как Родс[199], и такими американцами, как Рузвельт. Один из самых известных и ярких наших журналистов назвал его «верховным судьей Европы». Он был самым сильным человеком христианского мира, и он поддерживал и освящал полумесяц.

Но именно тогда, когда «величайший государь» освятил его, маленькие горные народы поднялись и растоптали его в пыль. Два события, произошедшие в одно и то же время, достигли

прусского уха и вызвали у Пруссии сомнения и тревогу. Она хотела сделать небольшое приобретение на северо-западном побережье Африки, но Англия вдруг проявила странную жесткость, отвергая ее притязания. В переговорах вокруг Марокко Англия встала на сторону Франции, что уже не казалось случайным решением. Но мы не погрешим против истины, если скажем, что основным источником германской тревоги и озлобления стали военные успехи балканских стран и падение Адрианополя.

И это не только потому, что возникла угроза утраты ключей от Азии, а следовательно, угроза всей восточной мечте германской коммерции. И не только потому, что армия, подготовленная французами, била армию, подготовленную немцами. И не только потому, что пушки Крезо одержали техническую победу над пушками Круппа. Нет, заводы Круппа победила крестьянская пашня. До этого мгновения в северогерманских мозгах царило извращенное представление о героическом мифе, столь любимом человеческим родом. Пруссия *ненавидела* романтику. Рыцарство было ей неприятно. Нет, она им не пренебрегала, рыцарство являлось для нее пыткой, вызовом, каким оно становится и для любого задиры.

На предыдущих страницах я писал, чем завершился этот странный генезис: души этих загадочных людей всегда были на стороне дракона против рыцаря, на стороне великана против героя. Любая неожиданность – надежда одиночек, воодушевление перед неизбежностью, делающее слабых сильными, пробуждающее людей как трубный глас – наполняла пруссаков холодной яростью, как напоминание о несостоявшейся судьбе. Пруссаки чувствовали себя, как чувствовал бы себя владелец чикагской бойни, если бы свиньи не только отказались пройти через его машины, но обернулись бы романтическими дикими вепрями, рвущими и мечущими, готовыми занять свое место на гербах королей.

Пруссаки увидели это и крепко задумались. Они смолчали, но принялись за дело, и работали долгих три года без передышки, чтобы создать военную машину, способную лишить мир таких вещей, как романтическая случайность или неожиданное приключение, машину, способную лишить людей-свиней иллюзий, будто и у них могут вырасти крылья. Они составили план и подготовили вторжение, предвосхищающее и преодолевающее любое сопротивление – теперь, когда документы опубликованы самими германцами, это знают все.

Предположим, что человек продал всю свою землю, кроме маленького двора с колодцем; предположим, что при разделе

наследства старого друга он попросил его бритвы и получил их; предположим, что когда к нему прислали баул, завязанный веревкой, он вернул баул, но веревку оставил себе. И когда мы слышим, что его враг был пойман при помощи лассо, затем ему было перерезано горло, предположительно бритвой, а тело в итоге найдено в колодце, нам не нужно звать Шерлока Холмса, чтобы сделать предварительное предположение, кто во всем этом виноват.

В ходе переговоров прусского правительства с лордом Холдейном и сэром Эдуардом Греем, как мы теперь можем увидеть, также были вещи отданные и вещи удержанные – решения, устраивающие прусского заговорщика, и решения, его не удовлетворявшие. Германский канцлер отказался обещать Англии, что Пруссия не будет агрессивной, и попросил вместо этого, чтобы Англия обещала быть нейтральной.

В этом не может быть иного смысла, кроме одного -так может рассуждать агрессор. Германия предложила мирное устройство, запрещавшее Англии вступать в военный союз с Францией, но разрешавшее Германии сохранить ее старый военный союз с Австрией. Когда час битвы пробил, немцы использовали Австрию, своего старого военного союзника, и попытались использовать свою свежую идею нейтралитета Англии. Иными словами, они использовали и веревку, и бритву, и колодец.

Но, либо по случайности, либо по причине личных качеств дипломатов, Англия к концу этих трех лет сохранила свободу рук и сумела сорвать германский план. Массы английского народа не имели о нем никакого понятия. Они вообще считали возможность существования подобного плана абсурдом. Но были люди, знавшие то, что следовало знать. Слова благодарности и извинения надо адресовать тем, кто даже в дни глубочайшего затишья нашего сонного партнерства с Пруссией видел: она не партнер, а потенциальный враг. Речь идет о таких людях, как мистер Блэтчфорд[200], мистер Барт Кеннеди[201] или покойный Эмиль Рейх[202].

Но указать на одну их неточность все-таки придется. Лишь немногие из них, за восхитительным и едва ли не магическим исключением доктора Саролеа, видели Германию такой, как она есть, – заинтересованной только в Европе и лишь случайно – в Англии, а в действительности, на первых шагах, не заинтересованной в Англии вовсе. Даже антигерманцы были слишком островными. Даже те, кто видел большую часть германского плана, обращали внимание в основном на те его аспекты, которые были посвящены Англии. Они рассматривали его как чисто коммерческую и колониальную ссору и видели

проблему в картинах ужасающего вторжения в Англию, которое на самом деле было невероятным. Страх перед Германией был очень германским страхом перед Германией. Они тоже смотрели на англичан, как на морских немцев.

Они думали, что Германия собирается воевать с чем-то себе подобным – практическим, прозаическим, капиталистическим, соревнующимся с Германией, пытающимся вести себя в бою, как в бизнесе. Время более широкого видения тогда еще не пришло. Лишь потом мы осознали, что куда серьезнее Германия воюет с вещами, которые на нее не похожи; вещами, которые мы, к сожалению, практически утратили. Именно поэтому мы должны помнить, какими мы были и какой путь прошли. Мы должны помнить, что вдали, высоко на горе, с которой был сброшен полумесяц, виднеется подлинный противник прусского железного креста – крест крестьянский, деревянный.

Первые волны нашей паники были провинциальными, неглубокими; в основном мы были одержимы идеей мира, убеждены в его необходимости. Но этот мир был бы позорным. Мы находились на уровне самого глубокого ущелья нашей складчатой истории; надо признать, что презрительный расчет Германии на нашу покорность и отстраненность не был беспочвенным, хотя, слава богу, в итоге оказался ошибочным.

Пришел час «наслаждения плодами» наших с ней союзов, направленных против свободы. Робкое принятие германской Kultur в наших книгах и школах закабалило некогда свободную страну, при помощи германского формализма и германского страха. По странной иронии, тот же популярный писатель, который уже предупреждал нас об опасности, исходящей от пруссаков, пытался нести людям чисто прусский фатализм, настаивая на важности для нас шарлатана Геккеля.

Борьба двух великих партий давно уже превратилась в нежные объятия. Эту реальность отрицали, притворно говорили, что никаких договоренностей нет, а есть просто общий патриотизм. Но правда вышла наружу: стало очевидно, что лидеры двух партий, отныне не идущих каждая своей дорогой, были куда ближе друг к другу, чем к своим последователям. Власть этих лидеров выросла неимоверно, но расстояние между ними сократилось, пока не исчезло совсем. В 1800 году в насмешку над последователями Фокса говорили, что виги въехали в парламент на извозчиках. Но в 1900 году и виги, и тори ехали в парламент на одном кэбе.

Нет, это был не тот случай, когда две башни различаются формой крыши, но стоят рядом на одной земле. Это был случай арки, когда камни в столбах могут думать, что принадлежат к

разным зданиям, но камни рядом с замковым камнем знают, что он – один на всех. Эта «машина с двумя руками» по-прежнему готова была обрушивать удары, но уже не на другую часть себя, а на тех, кто рисковал отрицать, что она еще может так поступить. Нами как бы правили король и королева Страны чудес[203], которые могли рубить головы не за то, что те встревали в их споры, а за то, что те твердили об отсутствии таковых. Закон о клевете отныне преследовал не ложь о частной жизни, а правду о ней. Представительная власть перестала быть представительной, но превратилась в лабиринт с лазейками.

Так вышло из-за чудовищного влияния теневых денег, благодаря которым многие только и смогли выиграть самые разорительные выборы века. Эти деньги давались и распределялись еще менее прозрачно, чем принято в торговле самого низкого пошиба. Только один или два голоса поднялись против этих тайных финансовых потоков, но мало кто их услышал. Через эти потоки великие капиталисты вертели политикой, да и всем остальным тоже. Бедные безнадежно противостояли растущим ценам, а все попытки потребительской кооперации или совместного отказа от плохо оплачиваемой работы рассматривались прессой, как либеральной, так и консервативной, как выпад против государства. Так оно, по сути, и было, но это государство основывалось на рабстве.

В таком состоянии находилась Англия в 1914 году, когда Пруссия, к этому моменту уже вооруженная до зубов и уверенная в триумфе, возвысилась над миром и торжественно, как будто выполняя некое предназначение, освятила свою кампанию преступлением. Она вломилась в запретную дверь, причем в ту, которую сама себе открывать запретила – маршируя во Францию через нейтрализованную Бельгию, она каждым своим шагом нарушала собственное слово. Бельгия попыталась сопротивляться, как, впрочем, должны были сделать и мы. И мгновенно все вторжение окрасилось пламенем нравственного помешательства – нации, наблюдающие за происходящим, тут же обратились в невинных младенцев, никогда не знавшихся с пруссаками.

Статистика жертв и мучений мирного населения быстро превзошла всякое воображение. Два моих друга побывали в деревне, разграбленной прусскими войсками. Один видел дарохранительницу со святым причастием, которую терпеливо расстреливали, как мишень, выстрел за выстрелом. Другой видел деревянную лошадку и другие игрушки в детской, трудолюбиво разрубленные на куски. Этих двух фактов вполне достаточно, чтобы понять, какой именно дух здесь орудовал.

И случилась странная вещь. Англия, у которой вообще не

было армии в современном смысле этого слова, была спасена ее собственными детьми. Уважаемые учреждения и отдельные репутации заколебались и рухнули – хотя лидеры государства повели себя достойно и отвергли взятки иностранного задиры, многие политики оказались куда безумнее и слабее, пусть в душе они и считали себя патриотами. Один из таких политиков пытался сдерживать и журналистов, и самого себя, хотя был куда скандальнее, чем они. Другой обвинял рабочий класс в стиле пьяного лектора, рассуждающего о пользе воздержания. Но Англия была спасена теми, о ком уже почти забыли, - англичанами. Простые люди с простыми убеждениями, главное из которых – ненависть к несправедливости, вышли из мрачных арендованных углов, из опрятных магазинов, покинули поля и предместья, фабрики и притоны – и потребовали себе оружие.

Их набралось как минимум три миллиона – островитян, покинувших остров так же просто, как горцы спускаются с гор навстречу рассвету.

X. Битва на Марне

Впечатление, произведенное первой неделей войны, было таким, как будто британский контингент подоспел к концу света вовремя. Или, скорее, любому чувствительному человеку, затронутому как современными сомнениями, так и современным мистицизмом, показалось, что старым теократическим представлениям далеко до тошнотворного ужаса наших дней. То были дни суда, но на троне в небесах, на плечах херувимов, восседал не Бог, но кто-то другой.

Британцы были отправлены в крайнюю западную точку союзной линии на севере. Другой фланг этой линии опирался на надежный город-крепость Намюр, а наш фланг не опирался ни на что. Не будут сентиментальной чушью слова о том, что в этой позиции было что-то жалкое – неприкаянный угол странной земли, где между нашими войсками и морем были только унылые поля Северной Франции. Им было ясно, что этот неприкаянный угол враг, скорее всего, накроет своими снарядами – очевидно, что смерть может прийти с любой стороны.

Не стоит забывать, что многие критики, в том числе и англичане, сомневались, а не разъела ли ржавчина армию, как и прочие институты нашей национальной жизни. Они опасались, что Англия слишком долго пренебрегала и духом, и технической стороной войны, и в итоге окажется слабым звеном цепи. Враг был уверен, что так оно и будет. И к этим людям, оказавшимся посреди чистого поля с редкими тополями, пришла весть – Намюр пал. Для их командиров Намюр был одним из четырех столпов света. Но две армии вошли в соприкосновение, и слабейшая тут же получила ошеломительный удар током от той энергии из недр Германии, где копились – батареи за батареями – бездонные силы.

Союзники тут же поняли, что враг оказался более многочисленным, чем они думали. На самом деле он оказался даже более многочисленным, чем они в тот миг обнаружили. Каждый встреченный всадник двоился, как в глазах у пьяного. Вскоре армии сошлись в безмолвной схватке и силы союзников дрогнули в трагической битве у Монса, началось тяжелое отступление. В те дни многие новобранцы узнали, что война – это самая страшная вещь в мире, а многим никогда уже не суждено вернуться.

В этой мрачной атмосфере разрасталось странное чувство, которого наша кровь уже долго не знала. Эти шесть дней сгустились в облако легенд и мерцающих теней, как шесть

столетий Тёмных веков. Многие страхи оказались на поверку преувеличенными фантазиями, некоторые – чистой выдумкой, но некоторые были куда вещественнее и куда труднее рассеивались при свете дня. Один любопытный факт точно никуда не денется, даже если все свидетельства о нем – ложь или, если угодно, художественный вымысел. Все как-то разом позабыли про самые близкие к нам, самые деятельные три столетия, о которых я рассказывал в этом очерке, – столетия, когда тевтонское влияние распространялось на наши острова.

Призраки явились, но это были призраки хорошо забытых предков. Никому не привиделся Кромвель или Веллингтон, никто не взывал к духу Сесила Родса. То, что видели и о чем говорили британцы, воодушевляло их сильнее, чем любой военный союз с французами, которые говорили о Жанне д'Арк, пришедшей из рая и вставшей над обреченным городом, или с русскими, которым снилась Богоматерь, указывавшая рукой на запад.

Это были видения или откровения средневековой армии, и поэт опирался на реальные слухи, когда писал о призрачных лучниках, кричавших «Стройся! Стройся!» – как о давно расформированных йоменах, среди которых я представлял себе Коббе-та, натягивающего тетиву. Другие слухи, истинные или только фиксирующие настроение, рассказывали об огромной белой лошади, которая не являлась ни в день победы у Бленхейма[204], ни в годы Чёрного Принца, но которая встречалась в старинных легендах о святом Георгии. Один солдат говорил, что узнал святого, потому что тот отчеканен «на каждом соверене». Но на монетах святой Георгий имеет вид римского солдата.

Эти фантазии, если они были только фантазиями, могут показаться последними угасающими сполохами старого мира, ныне смертельно раненного. Пришедший ему на смену новый мир навалился всем своим весом, но прежде старый мир никогда не взывал к семи защитникам христианства[205]. Сейчас, в дни больших сомнений и больших надежд, практически невозможно заново пережить чувство роковой и неодолимой мощи первого германского удара. Казалось, все символы древней доблести пали со своих пьедесталов и врагу открывалась широкая мощеная дорога прямо к воротам Парижа. Германия двигалась к ним как огромный, непостижимый сфинкс, чья гордыня была способна уничтожить все вокруг себя и при этом не поколебаться. В ее обозе ползли, как шевелящиеся горы, циклопические пушки. Таких пушек люди еще не видели – перед ними городские стены таяли, как воск, их пасти нагло устремлялись к небу, как будто угрожая самому солнцу. Говорить так о новых, циклопических

орудиях – это не прихоть фантазии, именно в их огромных колесах и стволах заключена была душа Германии; ее пушки были куда символичнее ее знамен.

И тогда, и сейчас, в любых обстоятельствах бросается в глаза, что германское превосходство – вещь совершенно четкая, принадлежащая к определенному типу. Оно проявляется не в единстве и не в дисциплине как моральном понятии. Ничто не может превзойти в единстве как моральной величине подразделения французов, британцев или русских. Нет ничего более единого, если уж на то пошло, чем клан горных шотландцев из Килликранки[206] или чем натиск религиозных фанатиков из Судана.

Такие машины, таких размеров и в таком количестве демонстрируют на самом деле тип жизни, естественно нетерпимой к более счастливым и более здравомыслящим людям, тип жизни, разросшийся и поработивший больше людей, чем когда-либо ранее. Они свидетельствуют о городах, выросших больше провинций, и заводах, выросших больше городов, они возвещают империю трущоб. Они свидетельствуют о такой степени унификации и такой нечеловеческой степени разделения труда, которым ни один человек, рожденный для краткой жизни под солнечными лучами, не сдался бы, если бы у него оставалась хоть малейшая надежда перековать орала на мечи.

Народам мира следовало сдаваться не кайзеру, им следовало сдаваться Круппу, его и их повелителю.

Французы, британцы и русские должны были сдаться Круппу, как и сами немцы, которые ему уже сдались. Через каждую шестеренку этой несравненной техники, через каждое звено этой бесконечной железной цепи истекало владычество как определенный род искусства. Этот художник не дает рукам покоя во сне, не приказывает им в минуту отвращения замазать нарисованное, не всплескивает ими в час чуда или гнева. Нет, он уверен, что его прикосновение к тысячам мелких вещей и есть невидимая механика жизни. Этот художник познал час триумфа, но так и не обрел имени. Древний мир называл его рабом.

Перед этой наступающей махиной строй союзников, в том числе и британцев, спасался при помощи череды отчаянных маневров – солдатам должно было казаться, что им сопутствует непостижимое счастье мыши, бегущей от кота. Снова и снова кавалеристы фон Клюка[207], поддерживаемые артиллерией и пехотой, как когтями цепляли британские силы, а те ускользали от них, отступая все дальше и дальше. Иногда преследователь оказывался так близко к своей жертве, что она не успевала освободить ему дорогу и огрызалась, но лишь затем, чтобы

выиграть мгновение, необходимое для нового бегства.

Это продолжалось день за днем. И день за днем будущее виделось все мрачнее и мрачнее. Пока с британскими солдатами не началось твориться что-то странное. Эту удивительную метаморфозу можно описать разными способами, но ее наверняка не смогут осознать те люди, которым не хватило мужества взглянуть в лицо фактам, характеризующим последние предвоенные десятилетия их страны. В частности, произошедшее можно выразить так: хотя несколько тысяч англичан погибли, но сама Англия отнюдь не умерла.

Крепость Мобёж[208] манила союзников, предлагая, если можно так выразиться, убежище после вынужденного мучительного отступления; но британские генералы продолжили свою, казавшуюся безнадежной, кампанию вне крепостных стен, как того и требовал общий план союзников.

Однажды ночью крупные силы немцев неожиданно наткнулись на небольшой отряд британцев в Ландреси[209], и – невероятно – у них не получилось выбить их оттуда – немцы потеряли в ночном бою целый батальон. На крайнем фланге позиций дивизии генерала Смит-Дорриена[210], практически отрезанные от основных сил, британцы сражались при соотношении сил один к четырем и так отдубасили немцев, что те вынуждены были дать им уйти. Когда взрыв моста возвестил, что последний солдат наконец пересек реку, оказалось, что спасены не только остатки изрядно потрепанного подразделения, но и воинская честь, честь флага, честь страны.

Тем временем дрогнувшая и разбитая армия союзников откатилась практически под стены Парижа, и мир уже ждал гибели великого города. Казалось, его ворота открыты, и пруссаки готовы ворваться в них в третий и последний раз, казалось, пришел конец светлой поэме равенства и братства. Но один прозорливый француз с бульдожьей фигурой, затянутой в небесно-синий мундир, олицетворение последней надежды уже почти безнадежного союза, был тверд и неколебим, как скала[211].

Он приказывал отступать своим сбитым с толку солдатам, когда они перешли в контрнаступление у Гиза[212]. Он взял на себя ответственность за тяжесть отступления. И когда пришел час отчаяния, когда до столицы оставалось всего несколько лиг[213], он оказался так же тверд в своих решениях. И могучая волна железного нашествия отвернула в сторону.

Вокруг Парижа выстраивались новые линии обороны, полки в синих шинелях медленно обхватывали фон Клюка, как синие крылья. Фон Клюк остановил стремительное наступление, а затем, бросив несколько вспомогательных подразделений

навстречу этим крыльям, устремился через линии союзников в безрассудную атаку, пытаясь железным молотом проломить их центр. Эта атака была менее безрассудной, чем кажется теперь; фон Клюк рассчитывал, и рассчитывал довольно точно, на моральный и физический износ британских войск и на разложение французской армии, ведь до этого он гнал их без перерыва шесть дней, как вихрь гонит осенние листья. И действительно, войска союзников немногим отличались от осенних листьев – в бурых пятнах запекшейся крови, запыленные, оборванные, они казались беспорядочной кучей, как будто их метлой смели в угол.

Но как только прусская машина покатились обратно на восток, горны союзных армий подали голос. Англичане рванулись вперед через лес, именуемый Креси, и отметили его своей печатью во второй раз.

Но это был уже не тот Креси, где английские и французские рыцари в более красочный век сошлись в битве, столь напоминающей турнир. Здесь билась сборная всех рыцарей из всех остатков рыцарства, из всех братств по оружию и по духу, против тех, кто изначально был решительным противником рыцарства и братства.

Многое еще случилось потом – битвы, воспаленное безумие, мясорубки на земле, на море и в небе; но в своих сердцах люди уже знали, что третий натиск пруссаков провалился, а христианский мир вновь устоял. Империя крови и железа медленно откатилась назад, под сумрак северных лесов, а великие нации Запада двинулись вперед. И, как встретившиеся после долгой ссоры любовники, над ними поднялись знамена Сен-Дени и святого Георгия.

Маленькое примечание о слове «английский»

Слова «Англия» и «английский», используемые здесь, требуют пояснения, поскольку я загодя предвижу неизбежный гнев шотландцев. Начну с того, что слово «британский» содержит в себе похожую несуразность. Я использовал его раз или два, когда писал о таких вещах, как военная слава или единство, однако я уверен, что и в этом случае мне не удалось полностью отразить всю сложность предмета. Проблема в том, что слава и единство, в смысловое поле которых, безусловно, включены шотландцы, точно так же должны включать и ирландцев. И если можно сравнительно безопасно назвать шотландцев северными британцами (несмотря на справедливый протест Стивенсона), то назвать ирландцев западными британцами будет уже далеко небезопасно.

Есть более глубокая проблема. Я могу уверить шотландцев, что я говорю «Англия» не потому, что отрицаю шотландскую национальную идентичность, но потому что настаиваю на ней. Более того, я могу сказать, что не включаю шотландцев в главный посыл этой книги просто потому, что не могу распространить на них мое осуждение. Эта книга – исследование, но не болезни, а скорее слабости, которая характерна именно для главенствующего партнера. Например, совершенно неверно говорить, что население Ирландии и Шотландии недостаточно религиозно; но я думаю, что британская политика серьезно пострадала именно от английского недостатка религиозности, являющегося неизбежным результатом власти богатства и классового снобизма.

Краткая история Англии

I. Вступление

Почему я решился и даже с некоторым вызовом взялся за написание доступного очерка об английской истории, хотя не могу похвастать какими-то исключительными познаниями в этой области, да и вообще по существу являюсь человеком из народа? Вопрос совершенно обоснованный. Ответ таков: я знаю, что истории, написанной с точки зрения человека из народа, пока нет, и этого знания мне вполне достаточно.

То, что мы называем «народной историей», скорее, должно быть названо «антинародной историей». Все трактаты подобного рода, почти без исключений, написаны против народа; в них либо замалчиваются голос и роль простого народа, либо убедительно доказывается, что он ошибается. Верно, что Грин назвал свою книгу «Краткая история английского народа»; но, кажется, она слишком кратка, чтобы народ в ней был представлен внятно. Например, Грин назвал одну, весьма большую часть своей истории «Пуританская Англия». Но Англия никогда не была пуританской. Назвать ее так почти столь же несправедливо, как назвать приход к власти Генриха

Наваррского «Пуританской Францией». Некоторые из наших историков-вигов в таком случае могли бы назвать кампании Уэксфорда и Дрозды[214] «Пуританской Ирландией».

«Народная история» растоптала народные обычаи, особенно когда речь заходила о Средних веках. Из-за этого возник смешной контраст между общей информацией, представленной о последних двухтрех столетиях Англии, за которые была построена ее индустриальная система, и общей информацией о предшествующих столетиях, называемых в целом Средневековьем. Последняя напоминает музей восковых фигур, который считается достаточным для показа эпохи аббатов и крестоносцев. Ограничусь простеньким примером.

Энциклопедия для читателя с улицы, опубликованная несколько лет назад, пыталась научить темные массы, наряду с другими темами, английской истории. В ней я наткнулся на ряд изображений английских королей. Никто не ждал, что они будут соответствовать действительности, но хоть они и были вынужденно воображаемыми, они вызвали мой интерес. В современной литературе упоминается много ярких черт таких людей, как Генрих II или Эдуард I, и эти сведения можно было бы найти и использовать при подготовке портретов, но их не нашли, и не факт, что искали. А когда я дошел до иллюстрации, подверстанной к статье о Стефане Блуаском[215], мой взгляд упал

на джентльмена в одном из тех серпообразнополумесячных шлемов, которые пришли в век брыжей и кюлотов. Подозреваю, что на самом деле это был алебардщик из сцены казни Марии Стюарт. У того тоже шлем, а раз шлем – штука средневековая, то Стефану подойдет любой старый шлем.

Допустим, читатель этой работы обнаружил бы по ссылке на портрет Карла I голову полисмена. Допустим, что он был бы изображен как есть, в современном шлеме, как будто на фото из репортажа «Дейли Скетч» об аресте госпожи Панкхёрст[216]. Я думаю, что если мы зайдем так далеко, то читатели откажутся признать это изображение реалистичным портретом Карла I. Они сойдутся во мнении, что тут должна быть какая-то ошибка. Но время, разделяющее Стефана и Марию, существенно больше времени, разделяющего Карла и нас. Изменения, произошедшие в человеческом обществе в период между первыми Крестовыми походами и последними из Тюдоров неизмеримо масштабнее любых изменений, произошедших в период между Карлом и нами. Именно эти изменения должны быть первой и главной темой того, что можно назвать «народной историей». Они должны вылиться в рассказ о великих достижениях народа, к настоящему времени почти полностью утраченных.

Я скромно утверждаю, что знаю об английской истории еще кое-что; и это дает мне право написать доступный очерк о ней ничуть не в меньшей степени, чем джентльмену, поменявшему головные уборы крестоносцу и алебардщику. Пренебрежение средневековой цивилизацией или даже пропуск ее в подобной истории – вещь любопытная и захватывающая. О причинах подобного явления я уже писал. Они заключены именно в народных преданиях, оставшихся за бортом «народной истории».

Например, каждый работающий человек – плотник, бондарь или каменщик – непременно получал сведения о Великой хартии, которая в его глазах походила на что-то вроде бескрылой гагарки, то есть она представлялась чем-то исключительным, жутковатым и нежизнеспособным. Однако его не учили, что ткань Средних веков была крепка именно за счет пергамента хартий, что общество представляло собой систему хартий, причем куда более ориентированных на его интересы. Плотник слышал об одной хартии, данной баронам и в основном в интересах баронов, но плотник не слышал о хартиях, данных плотникам, бондарям, да и вообще всем подобным ему людям.

Или – возьмем другой пример – мальчики и девочки, читающие адаптированные для школы учебники истории, практически ничего не слышали о таком существе, как бюргер, до тех пор, пока он не появляется в сорочке с петлей на шее. Они не

могут себе представить, что же означало это слово в Средние века. Лавочник викторианских времен не мог представить себя вовлеченным в такое приключение, какое случилось в Куртре[217], где средневековые лавочники совершили нечто большее, чем заурядное приобретение дворянских шпор – нет, они отобрали шпоры у своих врагов в битве.

Не претендуя на глубину и оригинальность, расскажу одну незатейливую, но правдивую сказку. В моих скитаниях я встретил человека, который вырос в подвале циклопического здания, питаясь в основном объедками, какие доставались ему от жильцов верхних этажей, и занимаясь в основном обслуживанием этого здания. Известно, что его стенания смирили и его статус узаконили при помощи одной изобретательной теории. Она утверждала, что его дедушка был шимпанзе, а отец – дикарем из леса, пойманным охотниками и прирученным до состояния некоторой разумности. Поэтому он должен быть благодарен судьбе за свою почти человеческую жизнь, которой он незаслуженно наслаждается; и он может спокойно жить, окрыленный надеждой, что и он, и другие животные будут эволюционировать все дальше и дальше.

Довольно странно, но именование этой истории священным именем «Прогресс» меня не удовлетворило. Я заподозрил (а впоследствии и убедился), что она не имеет отношения к истине. Теперь я знаю, что по крайней мере по происхождению этот человек из подвала не был недоразвитым – нет, его просто лишили наследства. Его фамильное древо – не обезьянье. Скорее, оно похоже на дерево, вырванное с корнями и названное Dedischado[218] – созвучно девизу на щите неизвестного рыцаря.

II. Провинция Британия

Земля, на которой мы живем, некогда имела высокую поэтическую привилегию быть краем света. Благодаря пограничному положению ее именовали Ultima Thule [219], рубеж небытия. Когда на эти острова, затерянные в северных морях, упал взгляд Рима, латиняне ощутили, что наконец достигнут самый удаленный край обитаемого мира – что ж, тем больше следовало гордиться обладанием им.

Это впечатление не было ошибочным, даже с точки зрения географии. В здешних землях на границе всего сущего действительно было нечто достойное наименования «крайний». Британия – не столько остров, сколько архипелаг; по крайней мере ее изрезанная береговая линия похожа на лабиринт из заливов и полуостровов. Не так уж много найдется стран, где можно так же просто и неожиданно наткнуться на море посреди полей или на поля посреди моря. Кажется, что великие реки не столько встречаются в океане, сколько прячутся друг от друга между холмами: земля, в целом низменная, поднимается к западу, нагромождая горы.

И островитяне были под стать своей земле. Разные, как и нации, на которые они сейчас разделены -шотландцы, англичане, ирландцы, валлийцы западных возвышенностей – все они выходили за рамки скучной упорядоченности внутренних германцев или здравого смысла французов, способного быть и яростным, и банальным. Есть что-то общее у всех британцев, что даже Акт о союзе[220] не смог разодрать в клочья. Наиболее подходящее имя для этого общего – отсутствие гарантий безопасности; именно оно тянет людей погулять по опасным утесам или заглянуть за край. Тяга к приключениям, вкус к свободе, юмор без мудрствования – загадки как для критиков островитян, так и для них самих. Их души подтачивало море, как и их берега. Они склонны к смущению, замечаемому всеми иностранцами; оно выражается в том, как ирландцы путаются в словах, а англичане -в мыслях. Для ирландцев говорить нелепицами – это практически законное право, символ языка.

Но собственная нелепица Джона Булля[221], английская нелепица – это «безгласный вол мысли», постоянная затуманенность сознания. Мысли тут всегда двоятся, как отражения в зеркалах вод. Из всех людей англичане наименее привязаны к чистому и классическому, к той имперской четкости, которую французы воспринимают тонко, немцы грубо, а вот британцы – практически никак. Они вечные колонисты и

эмигранты, они дома в любой стране.

Но в своей стране они – изгои. Они разорваны между любовью к дому и любовью ко всему остальному, объяснением и символом чего может быть только море. Именно этот разрыв можно найти в безымянном детском стишке – самой точной строке в английской литературе, тупо повторяемой во всех других английских стихах: «Через холмы и далекие дали»[222].

Великий и рациональный герой, первый завоевавший Британию (не так уж важно, кто именно – одинокий полубог из «Цезаря и Клеопатры» или кто-то другой), определенно был латинянином из рода латинян. Именно он описал найденные им острова со свойственной стальному перу лапидарной объективностью. Но краткие записи о британцах Юлия Цезаря оставляют нас с ощущением таинственной недоговоренности – и дело вовсе не в авторском неведении. Видимо, тайна обусловлена чем-то жутким – их языческим священством. Ныне бесформенные камни, выстроенные в символическом порядке, свидетельствуют о жизни и труде тех, кто их поднял. Вероятно, верования британцев были почитанием природных сил; и эти камни можно считать основанием той темы в островном искусстве, что пропитана стихией. При столкновении мировой империи с патриархальным язычеством, первую должно было ужаснуть то, что обычно вырастает из поклонения естественному – я имею в виду противоестественное. Но практически обо всем, что является темой современных противоречий, Цезарь молчит.

Он хранит молчание о том, был ли язык местных жителей кельтским; некоторые из упомянутых им топонимов вызвали предположение, что частично или целиком эти земли уже были тевтонскими. Я не намерен обсуждать истинность этих гипотез, но я готов обсуждать их значимость, по крайней мере в отношении того, что касается моей скромной задачи. Эта значимость, скорее всего, очень сильно преувеличена. Цезарь оставил нам в качестве свидетельства лишь мимолетный взгляд путешественника; впоследствии, через значительное время, римляне вернулись и превратили Британию в римскую провинцию. Но и тогда они продолжали демонстрировать полнейшее безразличие к вопросам, возбуждающим ныне мудрейших профессоров. Заботило их вот что: как взять у британцев и дать британцам то, что они уже брали у галлов и давали галлам. Мы не знаем, кем были британцы до римлян (как не знаем, кем являются британцы сейчас) – иберами, ким-врами или тевтонами. Но мы знаем, что за короткий срок они стали римлянами.

И сейчас в современной Англии обнаруживаются следы тех

времен, например, римские мостовые. Такие античные древности скорее преуменьшают, чем подтверждают реальность Рима. Из-за них нечто весьма далекое кажется очень близким, а нечто еще живое – мертвым. Они сродни эпитафии человеку, помещенной на парадную дверь его жилища. Возможно, эпитафия эта вполне хвалебная, но к ней все же трудно отнестись как к объективной характеристике личности. Важно, что Франция и Англия – это не места, где есть остатки следов присутствия Рима. Они сами – остатки Рима. На самом деле сохранилось не так уж много реликвий, но они все чудотворны. И ряд тополей – ничуть не меньшая реликвия Рима, чем ряд колонн.

Почти все, что мы называем творением природы, выросло, как грибы, над подлинным творением человека; наши леса – это мхи на костях гигантов. Под семенами наших посевов, под корнями наших деревьев -фундамент, которому черепки керамики и осколки кирпичей служат основой; краски наших полевых цветов повторяют краски римской мостовой.

Британия была полностью римской целых четыре века: дольше, чем она была протестантской, гораздо дольше, чем она была индустриальной. Придется в нескольких строках сказать, что означает «быть римским» – без этого понимания исчезнет смысл произошедшего впоследствии. «Быть римским» не означает «быть поглощенным субъектом» в том смысле, в каком одно дикое племя порабощает другое, или в том смысле, в каком циничные политики нашего времени с удовлетворением наблюдают за исчезновением ирландцев. И завоеватели, и завоеванные были язычниками; и те, и другие имели установления, кажущиеся нам символами бесчеловечности язычества: триумфы, рынки рабов, недостаток чувства национального, свойственного современной истории.

Но Римская империя не уничтожала народы, скорее, она создавала их. Британцы изначально не гордились тем, что они британцы; но вот быть римлянами – это уже составляло предмет гордости. Римская сталь имела свойства магнита, такие же, какие имеет меч. На самом деле Римская империя напоминала круглое стальное зеркало, подходя к которому каждый народ видел себя. Для Рима сама малость общественного происхождения была основанием для величия общественного эксперимента. Сам по себе Рим не мог править миром, да и ничем более Ратлэнда[223]. Я имею в виду то, что они не могли управлять другими расами, как спартанцы управляли илотами или как американцы управляют неграми.

Столь громадная машина должна была быть человечной; ее рычаги должны были быть приспособлены под хват любой

человеческой руки. Рим неизбежно становился все менее римским по мере того, как все больше становился империей; не так уж много времени прошло с момента римского завоевания Британии, как Британия стала давать Риму императоров. Именно из Британии, как хвастаются британцы, пришла на трон императрица Елена, мать Константина. И это был тот самый Константин, который, как знают все, подписал Миланский эдикт[224]и приколол его на свой щит – все дальнейшие поколения сражаются с тех пор, не жалея сил: одни, пытаясь сохранить его, другие, пытаясь сорвать и бросить прочь.

Ни один человек не способен остаться беспристрастным к этой великой революции. Даже писатель нашего времени с его претензией на праздность не способен на это. Свершилась самая революционная из всех революций – она сопоставила мертвое тело на деревянной крестовине для рабов с божественными небесами – что давно уже общее место, однако не перестающее поражать своей парадоксальностью. Не вдаваясь больше в великую суть произошедшего, надо добавить, что даже дохристианский Рим рассматривался европейцами позднейших времен как нечто мистическое. Ярче всего это, вероятно, отразил Данте; но образ христианского Рима насквозь пронзил Средневековье, и до сих пор призрак его тревожит современный нам мир. Этот Рим чтили как Человека, могучего Человека, принесшего впоследствии себя в жертву, но через эту жертву сделавшего все когда-либо возможное для Человека.

Божественная необходимость дала Риму успех с условием: для его достижения придется пасть. Именно поэтому школа Данте предполагала, что, когда римские солдаты убивали Христа, они действовали не только по человеческому праву, но и по праву божественному. Слабый человеческий закон мог не сработать в самый важный момент, не проявить себя как истинный закон, а обернуться военным беззаконием. Поэтому Бог действовал посредством Пилата так же, как и посредством Петра. Поэтому средневековый поэт так настаивал, что римское правительство – это хорошее правительство, а не узурпаторы.

И именно из этой данности исходит христианская революция, утверждающая, что даже это, в общем-то, хорошее правительство сотворило зло. Оказалось, что даже хорошее правительство все же недостаточно хорошо, чтобы распознать Бога среди воров. Важно не только то, что произошел колоссальный сдвиг в сознании – потеряна была целостная языческая картина мира, в которой государство или город могут быть в ответе за все. Важно то, что этот сдвиг дал человеку своего рода право на оправдание возможности вечного мятежа. Именно об этом надо помнить,

когда речь идет о первой половине английской истории – ведь весь ее смысл заключается в споре священников и королей.

Двойная власть государства и религии – единственное, что непрерывно протянулось через столетия; и до того, как между ними возникли первые конфликты, власть эта установилась повсеместно и единообразно. Как бы она ни зарождалась, как правило, она стремилась к равенству. Конечно, не обходилось без рабства, как в самых демократических государствах античности. Конечно, существовало отвратительное чиновное самодовольство, как в самых демократических государствах нашего времени. Но не было ничего похожего на то, что в наше время понимают под аристократией, и еще меньше похожего на то, что понимают сейчас под расовым господством. И пока изменения шли по двум уровням – равных между собой граждан и равных между собой рабов, – они заключались в медленном росте силы церкви за счет силы империи. Необходимо отметить, что и великое исключение из принципа равенства – институт рабства – медленно изменялся по линии перераспределения двух этих сил. Он слабел вместе со слабеющей империей, его ослабляла и усиливающаяся церковь.

Рабство было для церкви не пробелом в учении, а поводом для усилия воображения. Аристотель и мудрецы язычества, определившие набор рабских (или «полезных») ремесел, рассматривали раба как инструмент, как топор для рубки дерева или чего-либо иного, что хотелось срубить. Церковь не отрицала необходимость рубки, но она чувствовала то же самое, что чувствует ювелир при резке стекла алмазом. Ее беспокоили соображения о том, что алмаз куда ценнее стекла. Поэтому христианство не могло позволить себе языческую простоту – допустить, что есть люди, предназначенные для выполнения работы; ведь работа была куда менее ценна, чем то бессмертное, что заключалось в человеке.

Примерно на этой стадии находилась Англия, когда произошел ставший притчей во языцех случай с Григорием Великим и его оговоркой. Римская традиция утверждала, что пленные варвары должны приносить пользу. Мистицизм же святых счел их украшением, и слова Папы «non Angli, sed Angelí»[225]значили скорее «не рабы, но души». К слову, заметим, что в современной стране ортодоксального христианства – России – крепостные всегда упоминались как «души». Слова великого Папы, пусть уже и порядком затасканные, возможно, – первый отблеск золотых нимбов высокого христианского искусства.

Итак, церковь, у которой были определенные недостатки, по самой своей природе работала на стороне общественного равенства; предполагать, что церковные иерархи были своего

рода аристократией или же сплетались с аристократиями, – историческая ошибка. Они были аристократией наоборот: в идеале последние должны были становиться первыми. Ирландская нелепица «этот человек так же хорош, как и тот, но гораздо лучше» содержит зерно истины, как и многие парадоксы: истина – в связи христианства и идеи гражданства. Единственный из всех вышестоящих, святой не подавляет достоинство других людей. Он не осознает своего превосходства, зато острее прочих чувствует свою приниженность.

Но пока миллион рядовых священников и монахов, как мыши, грызли путы древнего рабства, шел и другой процесс – его можно назвать ослаблением империи. Сейчас механизм этого процесса объяснить исключительно сложно. Но он повлиял на все государственные установления и институции, и в первую очередь – на институт рабства. Сильнее всего этот процесс сказался именно на Британии, простершейся на границе и отчасти даже за границей Римской империи. Но случай Британии тем не менее нельзя рассматривать отдельно от других.

Преподаваемая в школах древняя история Англии практически лишена смысла из-за попытки рассматривать ее в отрыве от единого христианского мира, частью которого мы были и гордость за который испытывали. Я хорошо осознаю резонность вопроса мистера Киплинга: «Что знают об Англии те, кто знает лишь Англию?», но все же дистанцируюсь от его убеждения, что мы должны расширить свое британское мировоззрение изучением Ваггa-Ваггa и Тимбукту. Поэтому надо, хоть это и сложно сделать в рамках краткого обзора, рассказать об одной вещи, имеющей отношение ко всей европейской расе.

Рим, хоть он и создал весь этот могучий и блистательный мир, оказался в нем слабейшим звеном. Центр империи становился со временем все бледнее и бледнее, пока вовсе не исчез. Рим в той же степени освободил мир, в какой правил им раньше. Но править дальше он уже не мог. Спасенный присутствием

Папы с его нарастающим священным статусом, Вечный город стал похож на один из провинциальных городов империи. Естественный распад связей между городами привел к результату более значительному, чем тот, к которому могло привести отложение бунтующих провинций. Наступила анархия, а вот мятежа не было. Для мятежа необходимы цели и задачи, а следовательно, и руководство. Гиббон[226] назвал свой великий эпос в прозе «История упадка и разрушения Римской империи». Империя действительно падала, но так и не рухнула. Она сохранилась до наших дней.

Децентрализация и дрейф провинций друг от друга также, хотя и менее прямым путем – даже по сравнению с путем церкви, – подтачивали устои античного рабовладельческого государства. Местные интересы привели к тому, что вожди регионов сделали выбор в пользу уклада, позже названного феодализмом, и о нем мы поговорим отдельно. Владение человека человеком как личной собственностью при этой местной власти стало исчезать; однако негативные последствия рабства по-прежнему давали о себе знать, несмотря на огромное положительное влияние церкви. Позднее языческое рабство, на которое все больше и больше похож наш индустриальный труд, разрослось так, что в конце концов вышло из-под контроля.

Подневольный человек вдруг обнаружил, что осязаемый господин теперь от него дальше, чем неосязаемый Господь. Раб превратился в крепостного – он уже мог запереть ворота, но еще не мог отпереть их. Однако с того момента, как он стал принадлежать земле, пошел отсчет времени до того дня, когда земля станет принадлежать ему. Даже в самих терминах, определяющих статус подневольного человека, была отражена эта разница. Старый человек-стул отличался от нового человека-дома. Канут[227] мог позвать к себе свой трон, но если бы он захотел попасть в тронный зал, то должен был сам пойти к нему. Точно так же он мог приказать своему рабу бежать, но крепостному можно было приказать только одно – остаться. Эти два незначительных изменения характеризуют трансформацию орудия в человека. Его статус дал корни, а все, что имеет корни, приобретет и права.

Упадок подразумевал децивилизацию – потерю письменного слова, законов, дорог и средств сообщения, а также раздувание местных нюансов и капризов. На краях империи эта децивилизация дошла до откровенного варварства благодаря близости диких соседей, готовых слепо и глухо, как пожар, уничтожать любые плоды просвещения. Спасшиеся от страшного, апокалиптического нашествия подобных саранче гуннов преувеличивали происходящие изменения, называя эти века темными, а вторжение варваров – потопом, но преувеличением это выглядит в масштабах старой цивилизации. Однако то, что случилось на тех границах империи, с описания которых мы начали эту книгу, было именно потопом без преувеличений. Как раз на таком краю света находилась Британия.

Возможно, позолота римской цивилизации в Британии была потоньше, чем в других провинциях – доказательств этого, правда, немного, – но все равно это была очень развитая цивилизация. Жизнь кипела вокруг таких больших городов, как

Йорк, Честер и Лондон – эти города постарше, чем нынешние графства, и уж конечно постарше, чем нынешние страны. Они были соединены скелетом больших дорог, которые до сих пор остаются хребтом Британии. Но с ослаблением Рима хребет начал ломаться под давлением варваров, пришедших сперва с севера, со стороны пиктов, живших за границей Агриколы[228] – ее провели там, где сейчас расположена шотландская низменность. Вся эта удивительная эпоха знаменуется переменчивыми союзами племен и торгами с наемниками: варварам платили – либо за то, чтобы они пришли, либо за то, чтобы они ушли.

Кажется естественным, что в этой неразберихе римская Британия попыталась купить помощь воинственных племен, живших на «шее» Дании -там, где сейчас находится герцогство Шлезвиг. Их призвали, чтобы они дрались с вполне определенным противником, но они дрались со всеми подряд, и этот кавардак длился целое столетие, за которое римские мостовые превратились в ямы и ухабы. Думаю, нет большого греха в том, чтобы не согласиться с историком Грином, когда тот утверждает, будто бы для современного англичанина нет большей святыни, чем Рамсгейт, где, как предполагается, и высадились дружины из Шлезвига, или когда он утверждает, что с их приходом и началась подлинная история нашего острова. Куда вернее было бы сказать, что на этом она едва не закончилась, причем явно преждевременно.

III. Век легенд

Если бы мы беспечно читали современный скучный роман, и вдруг где-то в середине без объяснений и предупреждений он превратился бы в волшебную сказку, нас бы это испугало. Если бы старая дева в Кранфорде, аккуратно подметающая комнату, вдруг оседлала бы метлу и улетела на ней, нас бы это удивило. Если бы одна из юных леди, населяющих книги Джейн Остин, после встречи с драгуном прогулялась немного дальше и встретила бы дракона, это привлекло бы наше внимание. Примерно такой сверхъестественный оборот принимает британская история там, где завершается ее римский период.

Только что мы имели дело с разумными и почти механическими подсчетами, вникали в обустройство лагерей с их инженерией, читали о чванливых бюрократах и случайных стычках на границах – и все это было весьма реально и наглядно как в своих достижениях, так и в провалах. И вдруг мы, перевернув страницу, внезапно натыкаемся на сведения о странствующих колокольчиках и колдовских копьях, о войнах с людьми высокими, как деревья, или приземистыми, как поганки. Легионеры отныне сражаются не с готами, а с гоблинами, география превращается в запутанный лабиринт с зачарованными городами, окутанными невероятными историями – ученые могут предполагать, но не могут объяснить, почему римский правитель или же валлийский вождь вдруг в сумерках веков превращается в магического, не женщиной рожденного Артура.

Мифологический век следует за веком науки. Примером этого контраста может служить эпизод, оставивший в позднейшей английской истории долгое эхо. Довольно длительное время всерьез принималось заявление, будто бы основанное Цезарем британское государство на самом деле основал Брут. Соотношение между точным знанием и фантастичным предположением окутывает ореол комизма, особенно если слова Цезаря «И ты, Брут?» толковать на манер «И тут *ты?*». Но в одном отношении этот миф столь же определенен, как и действительный факт. И тот, и другой подтверждают реальность основания нашего островного общества римлянами; они свидетельствуют, что сведения о доисторическом периоде – это сведения о периоде до-римском. В ту пору Англия была страной эльфов, и эти эльфы не были англами. Все слова, которыми можно пользоваться, как ключами к нашему прошлому, в той или иной мере латинского происхождения. И нет в нашем языке более римского слова, чем «роман».

Римские легионы покинули Британию в четвертом веке. Но это не означает, что римская цивилизация покинула наши острова – это означает, что сохранившаяся здесь цивилизация стала более открытой как для сторонних влияний, так и для вторжений. Христианство приходит в Британию именно в те века, причем теми путями, что уже проложены Римом, но определенно задолго до того, как Григорием Великим была направлена сюда официальная миссия. Впоследствии оно было вытравлено позднейшими вторжениями язычников на более не защищенные берега. Из-за этого вполне разумным кажется утверждение, что и империя, и новая религия были слабее в Британии, чем где-либо еще, по этой же причине описание укорененной здесь цивилизации, предпринятое в предыдущей главе, не выглядит достаточно убедительным. Однако это утверждение не отражает сути вещей.

Есть один принципиальный факт, актуальный для всего описываемого периода, и его надо учитывать. Правда, для его понимания наш современник должен будет вывернуть свое мировоззрение наизнанку. Почти каждый человек сегодня обременен представлением о связи между двумя понятиями – «свобода» и «будущее». Культура нашего времени преисполнена убеждения, что «хорошие времена приходят». Однако культура Тёмных веков была полна убеждения, что «хорошие времена уходят». Люди той эпохи смотрели назад и видели там старое просвещение, а впереди – лишь новые предрассудки. В наше время имеет место спор между верой и надеждой, от него может спасти разве что милосердие. Но раньше понятия располагались в другом порядке. Люди тоже надеялись – но, если можно так сказать, они надеялись на вчера.

Те представления, которые сейчас делают человека прогрессивным, тогда делали его консервативным. Чем больше он мог сохранить от прошлого, тем больше он имел справедливых законов и свободы в государстве; чем больше он давал дорогу будущему, тем больше невежества и неравенства он вынужден был терпеть. Все, что мы теперь называем разумом, совпадало с тем, что мы теперь называем реакцией. И это – ключ, который мы должны пронести через Тёмные века, чтобы понять великих людей того времени: и Альфреда Великого[229], и Беду Достопочтенного[230], и Дунстана[231]. Если бы современный республиканец был помещен в это время, ему бы пришлось стать папистом и даже империалистом. Папа был именно тем, что осталось от империи, а империя – именно тем, что осталось от республики.

Мы можем сравнить человека того времени со странником,

который оказался отлучен от вольных городов и вольной пашни и был вынужден отправиться в чащу. Лес – точнейшая метафора, и не только потому, что дебри покрыли одичавшую Европу, разворотив корнями мостовые римских дорог, но еще и потому, что с лесом всегда связывалась определенная идея, и она крепла, пока римский порядок распадался. Идея леса связана с идеей колдовства, которое стоит на убеждении, что вещи имеют двойственную природу, или они вовсе не то, чем кажутся. Здесь и уверенность, что чудовища ведут себя как люди, а не наоборот, как утверждают современные умы, – люди ведут себя как чудовища. Не будем забывать, что век разума предшествует веку магии. Несущей опорой всей сложной конструкции воображения с той самой поры является образ цивилизованного рыцаря, оказавшегося в диком и заколдованном окружении – приключения человека, оставшегося разумным в сошедшем с ума мире.

Следующая вещь, которую следует учесть: в те варварские времена герои легенд отнюдь не были варварами. Героем можно быть, только если противостоишь варварству. Персонажи реальные или мифические, а были они по большей части и теми, и другими, сделались вездесущими, как боги среди людей. Рассказы о них – это рассказы о том, как люди укрощали языческое варварство и сохраняли христианский разум, пришедший из Рима. Артур приобрел свое имя, потому что убил язычника; язычник, который убил Артура, имени не имел.

Англичанин, ничего не знающий об английской истории и ровно столько же – об истории Ирландии, тем не менее слышал что-то о Бриане Бору[232], даже если он произносит его «Боурууу» и пребывает в уверенности, что это веселая шутка. Но он не смог бы насладиться тонкостью своих шуток, если бы король Бриан не разбил язычников в великой битве при Клонтарфе. Английский читатель никогда ничего не узнал бы об Олафе Норвежском, если бы тот не «проповедовал мечом», да и о Сиде, если бы тот не сражался с полумесяцем. И хотя кажется, что Альфред Великий вполне заслуживает свое прозвание личными качествами, сам он, как частный человек, не настолько велик, насколько велики его деяния.

Парадоксально, но Артур для нас едва ли не реальнее Альфреда. Таков век легенд. Большинство людей интуитивно решает – верить или не верить легендам, и доверие к ним в данном случае куда разумнее скепсиса. Не так уж важно, есть ли реальные основания под большей частью этих сказаний, и (как в случае Бэкона и Шекспира) понимание, что этот вопрос не имеет особого значения, – первый шаг к постижению истины. Но, перед

тем как читатель уклонится от всего, что напоминает попытку воссоздания истории страны по ее легендам, ему следует учесть несколько фактов, противостоящих упрямому глухому скепсису, превратившему эту часть нашей истории в сплошное белое пятно.

Историк XIX века придерживался забавного правила: он игнорировал те фигуры, о которых рассказывали легенды, ограничивая свое внимание историческими персонажами, о которых и сказать-то было нечего. Поэтому Артур полностью развоплотился, ведь «все легенды лгут». Зато кто-то вроде Хенгиста[233] внезапно стал важной персоной только на том основании, что никто не считал его настолько значительным, чтобы о нем лгать.

Давайте вернемся к здравому смыслу. Огромное количество остроумных замечаний, сделанных самыми разными людьми, приписывается Талейрану. Их бы не приписывали Талейрану, если бы тот был дураком, а тем более – мифом. Эти выдуманные истории рассказываются о реальном человеке и в девяти случаях из десяти служат прекрасным доказательством того, что такой человек действительно существовал. Но вопреки доводам разума высказывается предположение, что реального человека, скорее всего, не было, а вот удивительные события имели место, то есть, возможно, что и человек по имени Артур существовал в те времена, когда они имели место, но далее, насколько нам дают понять, картинка расплывается. Я не могу принять мировоззрение, которое допускает и наличие ковчега, и существование человека по имени Ной, но при этом признать существование Ноева ковчега для него решительно невозможно.

Другой факт, о котором не следует забывать: научные исследования последних лет упорно склоняются в сторону подтверждения, а не развенчания народных легенд. Если говорить о совсем уж очевидных примерах, то пожалуйста: современные археологи с современными лопатами обнаружили крупный каменный лабиринт на острове Крит и тут же связали его с минотавром – мифом, ранее считавшимся столь же безосновательным, как сказка о химере. Для большинства людей эта находка покажется не менее немыслимой, чем обнаружение бобового стебля Джека или скелетов в шкафу Синей Бороды, однако теперь она существует на уровне факта.

Наконец, третья истина, о которой надо бы помнить, но которую редко берут в расчет при оценке прошлого. Парадоксально, но прошлое – всегда настоящее, для нас оно не такое, каким было в действительности, а такое, каким кажется: прошлое – часть нашей веры. Как можно не верить своим отцам? Именно поэтому новые открытия часто встречаются в штыки

только благодаря своей новизне. Мы можем обнаружить, что люди ошибались в своих представлениях о чем-то, но мы не сможем найти ошибку в том, как они оценивали свои собственные представления.

Попробуем вкратце представить, что же человек, живущий на этих островах, омываемых волнами Тёмных веков, знал о своих предках и их наследстве. Осмелюсь предположить несколько простых вещей и расставить их в порядке значимости, как он, этот человек, представлял себе эту значимость. Ведь если мы хотим понять наших предков, сделавших эту страну тем, чем она стала, самое важное, что мы должны сознавать – даже если они в своей практике апеллировали не к реальному прошлому, то сама их память, их представление о прошлом было для них несомненной реальностью.

После благословенного преступления, как называли крестные муки Спасителя мистики-острословы, ставшего для людей того времени практически вторым сотворением мира, святой Иосиф Аримафейский[234] (один из немногих последователей новой религии, который, кажется, был богатым) отправился под парусом в свою легендарную миссию. После долгих странствий он наткнулся на выводок маленьких островов, казавшихся людям Средиземноморья чем-то вроде последних облаков на закатном небе. Он добрался до западной, наиболее дикой их стороны, и пришел в долину, которая с незапамятных времен носит имя Авалон. Может быть, из-за теплых дождей и зеленых лугов этих западных земель, а может быть, из-за каких-то утраченных преданий, связанных с этим местом, его упорно считали чем-то вроде земного рая – так Артур после битвы на Каммланском поле был доставлен сюда как в райские кущи. Здесь Иосиф воткнул в землю свой посох, и посох пустил корни, обратившись деревом, что зацветает ко дню Рождества.

С самого рождения христианство отмечено мистическим материализмом: его душа – тело. С философией стоиков и восточным духом отрицания, ставшими его первыми недругами, оно яростно сражалось за сверхъестественное право лечить реальные болезни реальными вещами. Поэтому реликвии сеялись повсюду, как семена. Все, кто воспринял миссию благой вести, несли с собой вполне осязаемые предметы, которым предстояло стать ростками церквей и городов. Святой Иосиф принес чашу, в которой было вино Тайной Вечери и кровь распятия, в храм Авалона, теперь носящий имя Гластонбери[235]. Чаша стала средоточием целой вселенной легенд и романов, причем не только для Британии, но и для Европы. Предание, запутанное и ветвящееся, назвало ее Святым Граалем.

Эта чаша стала вожделенной наградой для содружества могучих паладинов, пировавших с королем Артуром за круглым столом – символом героического товарищества, которому впоследствии подражали средневековые рыцари. И чаша, и стол были крайне важными символами для психологического эксперимента под названием «рыцарство». В идее круглого стола заключено не только представление об общности, но и представление о равенстве. В нем, пусть и изменившаяся со временем из-за череды исторических ветвлений, заключалась та же самая идея, что и в слове «пэр»[236] – звании рыцарей Карла Великого. В этом смысле круглый стол был столь же римский, как и круглая арка, также ставшая основой для типизации[237]; и если камни варваров норовили скатиться по другим камням, то замковым камнем арки выступал король.

Но здесь к обычаю равенства было добавлено некое неземное достоинство, которое было и в Риме, но не было римским. Речь о привилегии, обратившей вспять все привилегии – отблеск рая, казавшийся столь же неуловимым, как полет фей, парящая чаша, сокрытая от высочайшего из всех героев, но явившаяся тому из рыцарей, кто был лишь немногим старше ребенка.

Реалистичен он или фантастичен, но именно этот роман на столетия сделал Британию страной с рыцарским прошлым. Британия стала зеркалом, в которое гляделось всемирное рыцарство. Эта реальность или эта фантазия – кому как мнится – имела колоссальное влияние на все позднейшие события, особенно на дела, связанные с варварами. Она, эта легенда о рыцарях круглого стола и Святом Граале, как и бесчисленное множество других, местных легенд похоронена под лесом народных сказок, выросшем на них. И тем труднее для современного серьезного ума принять, что наши предки чувствовали себя в этих сказках дома и из них черпали свою свободу. Возможно, песенка, в которой поется, что:

> Артур был славным королем,
> Был милостив и строг.
> Украл он три мешка муки
> На праздничный пирог,[238] -

куда ближе к подлинным средневековым представлениям, чем аристократический гонор Теннисона [239].

Но за всей причудливостью народных сказаний надо не упустить из виду одну вещь. Особенно она важна для тех, кто закопался в бумагах и полностью пренебрегает устными преданиями. Доверие к бабушкиным сказкам никогда не приведет

к столь диким результатам, как ошибки, которые могут быть допущены в случае излишнего доверия к письменным свидетельствам в ситуации, когда их недостаточно. Сейчас все письменные свидетельства о первых главах нашей истории умещаются в объеме небольшой книжицы. Очень немногие события и детали в ней упомянуты, а объяснений им нет вовсе. Одинокий факт, принятый без учета образа мысли того времени, может быть куда более обманчивым, чем любая сказка. Слово, написанное в древнем свитке, без ясного понимания, что оно означает, может привести к результатам откровенно безумным.

Например, нелепо принимать буквально сказку о том, что святая Елена[240] была не только уроженкой Колчестера, но и дочерью старого короля Коля. Однако такое предположение нельзя считать совершенно невероятным – во всяком случае оно не выглядит настолько глупым, как те вещи, которые можно вывести из документов. Жители Колчестера действительно чтят святую Елену, и возможно, у них действительно был король по имени Коль. Но согласно строгой академической истории отец святой держал постоялый двор, а единственными задокументированными свидетельствами существования Коля являются источники, в которых он просто упомянут. В данном случае попытка выведения истории из письменных источников столь же глупа, как предположение каких-нибудь исследователей из будущего о том, что Колчестер был населен устрицами[241].

IV. Поражение варваров

По удивительному стечению обстоятельств слово «близорукий» мы считаем обозначением недостатка, а вот слово «дальнозоркий» – нет, оно скорее напоминает комплимент. Тем не менее и то, и другое равно обозначает проблемы со зрением. Можно справедливо упрекнуть не особенно размышляющую современность в ее близоруком безразличии ко всему историческому. Но в том, что касается доисторического, она катастрофически дальнозорка. И эта катастрофа затронула большую часть людей науки, разыскивающих во тьме незадокументированных веков корни любимых племен или рас. Войны, пленения, незамысловатые церемонии брака, массовые миграции и истребления, на которых основаны их теории, не являются ни частью истории, ни частью предания. Вера в них удивительно наивна – бесконечно мудрее верить в легенды, пусть даже самые простенькие местные сказки. Но и в том и в другом случае вывод должен быть один: то, что мы называем доисторическим, является неисторическим.

Есть и другой путь внесения здравого смысла в критику чудовищных расовых теорий. Используя тот же образ, предположим, что ученые историки трактуют события исторических веков, опираясь на доисторическое разделение народов на близорукие и дальнозоркие. Подобное разделение можно показать на примерах, даже проиллюстрировать. Ученые историки наверняка объяснят упомянутый мной ранее парадокс тем, что близорукие были завоеванной расой, оттого их имя столь презренно. Они нарисуют нам яркие динамичные картины племенной войны. Они покажут, как дальнозорких кромсали в рукопашной топорами и ножами, пока наконец не были изобретены лук и стрелы. Только тогда дальнозоркие получили преимущество, расстреливая своих врагов на расстоянии.

Мне бы тоже не составило труда, пользуясь подобным приемом, сочинить идейный роман, еще лучше – антропологическую теорию. Ведь исходя из этого принципа, распространяющегося как на нравственность, так и на материальную сферу, можно объяснить рост политического консерватизма пожилых людей широко известным фактом – к старости люди обычно становятся дальнозорки.

Но мне кажется, кое-что в этой теории способно поставить в тупик даже ученых историков. Предположим, что за три тысячи лет письменной истории ни в одном источнике, какой бы немыслимый вид он ни имел, не нашлось упоминания о глазном

вопросе, из-за которого все произошло так, как произошло. Предположим, что ни в одном живом или мертвом языке не сохранилось сведений об этом, кроме двух упомянутых слов – «близорукий» и «дальнозоркий». Предположим, наконец, что этот вопрос, разделивший надвое целый мир, вообще не задавался, пока какой-то изготовитель очков не озадачился им где-то в районе 1750 года. В этом случае, думаю, нам было бы непросто поверить, что этот физический дефект играл столь значимую роль в человеческой истории. Ровно то же самое можно сказать о физическом отличии между кельтами, тевтонами и латинянами.

Я не знаю ни одного способа, как воспрепятствовать светловолосым людям влюбляться в темноволосых. И я не верю, что существует разница между удлиненной головой и круглой головой для того, кто имеет намерение разбить эту голову. Во всех записях и наблюдениях, связанных с человеческой жизнью и смертью, люди убивают или милуют, женятся или воздерживаются от брака, становятся королями или обращаются в рабство по самым разным причинам, за исключением этой. Встречаются причины, связанные с любовью к долине или к деревне, к месту жительства или к семье. Встречается восторг по отношению к князьям и наследственной власти. Встречается страсть, основывающаяся на принадлежности к определенному пространству, особые чувства морских и горных племен. Встречаются исторические воспоминания о событиях или союзах – все встречается. И прежде всего остального встречаются причины, связанные с религией. Но вот причин, связанных с кельтством или тевтонством, покрывающим половину земного шара, не было вовсе – ноль. Раса – не только новейший из всех упомянутых мотивов, она даже никогда ничему не была оправданием. Тевтонство не было ни убеждением, ни причиной поступков, единственное, что на нем наросло, да и то лишь несколько лет назад, – это лицемерие.

Современные историки-ортодоксы, особенно Грин, видят особенность Британии в том, что она -единственная из провинций Римской империи – была полностью очищена от автохтонов и заселена заново германской расой. Они не признают в качестве аргумента, нивелирующего эту странную особенность, предположение, что этого никогда не происходило. В том же духе они трактуют те неочевидные сведения, какие можно привести в пользу их взгляда на тевтонское общество. Идеальная картина этого общества, в их версии, имеет определенные подчистки, благодаря которым в ней усомнится даже непрофессионал. Так, историк-ортодокс идеализирует тевтонцев фразами вроде «основой этого общества был свободный человек», а римлян

характеризует пассажами вроде «шахты, где применялся подневольный труд, были средоточием тяжкого угнетения».

Однако факты таковы: рабов имели и римляне, и тевтоны. Просто в случае тевтонов эти историки берут в расчет только свободных людей, а, переключившись на римлян, меняют точку зрения и утверждают, что раз уж один римлянин плохо обращался со своими рабами, то с рабами вообще обращались плохо. Они испытывают «странное разочарование» в Гильде Премудром[242], единственном британском хроникере, который не удосужился описать великую тевтонскую систему. По мнению Гильды, перефразируя Григория, пришедшие были «non Angli, sed Diaboli»[243]. Современный тевтонист «разочарован», что летописец прошлого не увидел в его тевтонах ничего, кроме волков, собак и щенков из варварской псарни. Но логично предположить, что там и не было ничего другого.

В любом случае, когда святой Августин явился в эту по большей части варварскую страну (что может быть признано вторым из трех судьбоносных посещений, цивилизовавших эти острова), он не увидел никаких этнических проблем, какими бы они ни были. Он и обращенные им восстановили цепь письменных свидетельств, благодаря чему мы имеем возможность смотреть на современный им мир их глазами. Августин нашел короля, правящего в Кенте, за границами которого лежали другие королевства примерно того же масштаба, и правили там по большей части короли-язычники. Имена этих королей звучали так, что сегодня их посчитали бы тевтонскими. Но тот, кто занимался в основном агиографией, не сказал, да и не интересовался, видимо, каким было население этой страны в смысле чистоты крови.

Нельзя исключить, что, как и на континенте, эти короли и их дворы были практически единственным тевтонским элементом. Христианские проповедники находили паству, находили покровителей, находили преследователей, а вот истинных Древних Британцев они не находили – просто потому, что искали не их. Но даже если бы они путешествовали среди чистых англосаксов, они бы не придали этому значения и остались бы в неведении относительно этого. Да, многие свидетельства говорят о том, что по болотам Уэльса проходила линия некоего раздела. Но любой наблюдатель, вне зависимости от расовых вопросов, увидит границу, за которой равнина вздыбливается горами.

Однако среди того, что ортодоксы отыскали в английской истории, один факт весьма значим: некоторые из былых королевств до сих пор соответствуют подлинным различиям британцев, причем не тем, стародавним, а тем, какие есть сейчас.

Нортумбрия до сих пор реальнее Нортумберленда. Суссекс до сих пор Суссекс, Эссекс до сих пор Эссекс. А третье саксонское королевство, чьего имени больше не найти на карте, королевство Уэссекс, называлось Западной страной, и оно до сих пор самое реальное из всех.

Последним из языческих королевств приняла крещение Мерсия, которая в общих чертах соответствует тому, что сейчас мы зовем Мидлэндс. Некрещеный король Пенда достиг даже определенной выразительности благодаря этому обстоятельству, а также благодаря воинственности и яростному честолюбию, дополнившему его репутацию. Один из нынешних мистиков, верящих во что угодно, кроме Христа, предложил «продолжить дело Пенды» в Илинге, к счастью, не шире. Во что верил и во что не верил этот король, теперь уже не узнать, да, собственно, и не нужно, однако местоположение этого центрального королевства определенно имеет значение. Изоляция Мерсии, возможно, связана с тем фактом, что христианизация Британии происходила одновременно и с западного, и с восточного берега.

Восточная часть была, несомненно, оплотом августинцев, которые сделали своим духовным центром острова Кентербери. Западная часть Британии была рудиментом собственно британского христианства. Два направления столкнулись, но не в вопросах веры, а в вопросах обряда, в итоге августинцы возобладали. Но и работа, сделанная к тому моменту западом, была громадна. Вероятно, западное влияние стало следствием укрепления Гластонбери, своего рода здешней Святой Земли, однако за Гластонбери стояла куда более великая и впечатляющая мощь. Она озарила всю Европу на пике золотого века Ирландии.

Именно кельты стали классиками христианского искусства, открытого в Келлской книге[244], но расцветшего за четыре века до ее создания. Крещение целого народа произошло едва ли не случайно, как коллективный праздник, почти что пикник, и породило множество людей, воспринимающих Евангелие буквально, готовых разносить его по миру, как хорошую новость. Именно это обстоятельство в итоге привело к темной двойственности судьбы, которой мы связаны с Ирландией, и сомнениям в национальном единстве, которое изначально было отнюдь не политическим союзом. Но если Ирландия и не была одним королевством, она была единым епископатом. Ирландию не обращали – ее создало христианство, все ее части были собраны под общим покровом благодаря гению святого Патрика. Ее случай исключителен, так как религия в Ирландию пришла как бы исподволь, без светских установлений. Ирландия никогда не

была римской, но навсегда стала последователем Рима.

То же самое, хотя и в меньшей степени, относится к непосредственной теме нашей работы. Удивительно, что в те времена лишь надмирное могло иметь мирской успех. Политика была кошмарна, короли сменялись один за другим, границы королевств были подвижны, и не было под ногами иной твердой почвы, кроме земли, освященной христианством. Материальные устремления оказывались не только бесплодными, но практически всегда незавершенными. Все замки были воздушными, и только церкви стояли на земле. Мечтатели того времени – единственные практики, и такая удивительная вещь, как монастырь, – во многом главный ключ к пониманию нашей истории. Придет время, и монастыри будут выкорчеваны в Англии путем заботливого насилия. Современный английский читатель имеет об этом пути очень слабое представление и ровно такое же – о времени, когда ему следовали. Поэтому одно или два слова о его изначальной природе на этих страницах совершенно необходимы.

Среди удивительных заветов нашей религии есть такие, которые кажутся совершенно неистовыми даже по сравнению с теми отклонениями от благочестия, которые породили в позднейшие времена фанатичные секты. Эти секты ставили во главу угла нечеловеческое совершенство: так квакеры отказывались от права на самозащиту, а коммунисты – от любой личной собственности. Верно или ошибочно, но христианская церковь первой столкнулась с подобными мечтами, сделавшими духовные перипетии куда более искусительными и рискованными. Она привела эти мечты в соответствие с человеческой природой, признав их особой благодатью, но не признав их неприятие непременным злом. Она приняла во внимание, что в созидании мира, включая и религиозный мир, принимают участие самые разные типы людей. И она приняла людей, ступивших на духовную стезю без оружия, семьи или имущества, как исключение, подтверждающее правило. Самое интересное, что оно действительно подтвердило правило. Сумасшедший, не желавший думать о мирских делах, стал деловым человеком своего века.

Само слово «монашество» сделалось обозначением своеобразной революции. Оно означало одиночество, уход в суровое сообщество, которое становилось единственным кругом общения. Но случилось так, что эта жизнь в замкнутом обществе стала гарантом и спасителем жизни частной, гостеприимным убежищем в самом широком смысле. Позже мы увидим, как тот же самый уклад общественной жизни привел к обобществлению

земли. Трудно найти соответствующий образ в наше индивидуалистичное время, однако в частной жизни у большинства из нас есть друг семьи, помогающий ей со стороны, как фея-крестная помогала Золушке. Не рискуя быть обвиненным в непочтительности, скажу, что монахи и монахини тех времен стали для прочего человечества чем-то вроде священной лиги дальних, но заботливых родственников.

То, что они занимались тем, чем никто иной заниматься бы не стал, – общее место. Аббатства составляли и хроники человечества, не чурались язв и убожества плоти, учили первым ремеслам, сохраняли языческую литературу и, что превыше всего, благодаря деятельной практике милосердия сберегали бедных людей от самых крайних степеней отчаяния. Мы до сих пор считаем полезным иметь в обществе запас филантропов, но доверяем эту роль людям, уже составившим себе богатство, а не тем, кто добровольно ввергнул себя в бедность.

Наконец, как известно, аббаты и аббатисы избирались. Они ввели в обиход представительную власть, неизвестную античной демократии, но священной идеей это было лишь наполовину. Если мы сумеем заглянуть за рамки наших условностей, мы увидим, что представление о сгущении тысячи человек в одного большого человека, идущего в Вестминстер, -это не только акт веры, но и элемент волшебной сказки. Созидающая, действенная история англосаксонской Британии почти целиком составлена из истории ее монастырей. Милю за милей, человека за человеком, они обустроили и облагородили эту землю. А затем, в начале IX столетия, пробил их час, и вдруг выяснилось, что все сделанное ими было напрасным трудом.

Мир внешней тьмы, лежащий за порогом христианского универсума, накатил очередной неукротимой, едва ли не вселенской волной, смыв все былое обустройство. Через восточные ворота, остававшиеся открытыми со времен первых варварских десантов, ворвалась чума – покорители моря, дикари из Дании и Скандинавии. И недавно крещеные варвары вновь были поглощены варварами некрещеными. Надо помнить, что все это время центральный механизм римской государственности замедлялся, как часы, завод которых подходил к концу. Направляющая миссионеров в разные концы империи энергия обгоняла центр, сердце которого сковывал паралич.

В IX веке это сердце замерло – прежде, чем до него дотянулась рука помощи. Монашеская цивилизация, зародившаяся в Британии под исчезающе малым римским прикрытием, оказалась беззащитной. Игрушечные королевства рассорившихся саксов рассыпались, как карточные домики;

Гутрум[245], вождь пиратов, убил святого Эдмунда[246], надел на себя корону Восточной Англии, взял дань с ошеломленной Мерсии и встал над Уэссексом, последним христианским оплотом. Рассказ, который последует далее, это рассказ об отчаянии и разрушении Уэссекса. Здесь поражения христиан чередуются с победами столь напрасными, что они оказались губительнее поражений. Среди них была лишь одна прекрасная, но -увы – тоже бесплодная победа при Эшдауне[247], когда впервые в суматохе боя высветилась пребывавшая прежде в тени фигура.

Этот человек сумел обратить датчан в бегство. Победителем стал не король, а младший брат короля. Именно там, под Эшдауном начинается путь Альфреда. В нем соединялись холодный расчет, готовность к сделкам и мельтешащим союзам, с пламенным смирением святого в час испытания. Он рискнул бы чем угодно во имя веры и вступил бы в любые торги, но только не в части того, что касается веры. Он стал завоевателем, но не властолюбцем. Человек мнительный, он внимательно следил за судьбой того, чем управлял, и в итоге, благодаря отваге и осторожному расчету, спас свое достояние.

Он исчез после того, как язычники, казалось бы, окончательно закрепились в Англии. Предполагается, что он скрылся как изгой на одиноком островке среди непроходимых болот Паррета, в тех диких землях, где местные жители отдали себя в руки судьбы. Но Альфред, как он сам выразил в словах, брошенных как вызов, считал, что христианин не связан узами судьбы. Он вновь призвал к оружию разбитые дружины западных графств и, заручившись поддержкой Сомерсета, весной 878 года напал на укрепленный лагерь победоносных датчан около Этандуна. Эта внезапная атака повторила успех у Эшдауна, однако вслед за ней последовала осада, которая завершилась победой совсем другого рода. Гутрум, покоритель Англии, и все его именитые сподвижники оказались за частоколом, когда они наконец сдались, варварской эпохе датского завоевания пришел конец. Гутрум был крещен и, по условиям договора, заключенного в Уидморе, вынужден был очистить Уэссекс. Современный читатель улыбнется, пробежав глазами строчку о крещении, и проявит куда больший интерес к условиям договора. Подобная реакция окажется категорически неверной. Его, разумеется, должны утомлять частые ссылки на религиозную составляющую этой части английской истории, однако без нее никакой английской истории не было бы вовсе. И нигде эта истина не проявлена ярче, чем в случае с датчанами.

Последующие события показали, что крещение Гутрума было

куда важнее договора в Уидморе. Сам договор – всего лишь компромисс, к тому же недолгий: столетие спустя датский король Канут стал подлинным правителем Англии. Однако, хотя корону и получил датчанин, крест он уже не отверг. Именно это, чисто религиозное, требование Альфреда осталось незыблемым. Сам Канут вспоминается теперь только как свидетельство конечности сил язычества, как король, обменявший свою корону на образ Христа и торжественно капитулировавший от имени своей Скандинавской империи перед вратами рая.

V. Святой Эдуард и нормандские короли

Читатель может быть удивлен тем, какое несоразмерное значение придается имени, стоящему над этой главой. Я поместил его туда, так как нахожу это лучшим способом выделить в начале, так сказать, «практической части нашей истории» одну едва уловимую и очень странную вещь. Ей можно дать парадоксальное определение: сила слабых королей.

Иногда полезно иметь избыточное воображение, чтобы представить возможность кого-то *обезучить* так же, как выучить. Я попрошу читателя забыть то, что он читал и учил в школе, и взглянуть на английскую монархию девственным взглядом. Пусть он допустит, что может познакомиться с древними королями так же, как с ними знакомилось большинство людей во времена попроще – из няниных сказок, из топонимов, из посвящений в церквях и богадельнях, из историй, услышанных в тавернах, и из надписей на кладбищенских камнях. И давайте допустим, что наш читатель совершит какой-нибудь весьма обычный английский поход, вроде путешествия по долине Темзы до Виндзора, или посетит старые светочи культуры, вроде Оксфорда или Кембриджа.

Одним из первых открытий на его пути станет, например, Итон – место выхолощенное, конечно, современной аристократией, но по сей день хранящее загадочный дух Средневековья и помнящее свое средневековое происхождение. Если он пожелает узнать подробнее о его происхождении, то даже обычный школьник поведает ему, что Итон был основан Генрихом VI[248]. Если наш читатель отправится в Кембридж и лично осмотрит часовню колледжа, в художественном смысле превосходящую все вокруг, ему разъяснят, что это королевский колледж. Пожелай он уточнить, о каком короле речь, то тут снова прозвучит имя Генриха VI.

Но если наш читатель отправится в библиотеку с целью почерпнуть сведения о Генрихе VI в энциклопедии, то он обнаружит, что этот легендарный великан, оставивший после себя плоды титанических трудов, был в общей картине истории едва заметным пигмеем. На фоне грозных, соперничающих величин великой национальной свары он был подобен нулю. Борющиеся за власть группировки перетягивали его из рук в руки, как куль с пожитками. Его мечты и представления о державе, кажется, даже не были сформулированы, и уж тем более не были осуществлены. Однако его подлинные мечтания воплотились в камне и мраморе, в дубе и золоте, и пережили безумие

революций последующих эпох, в то время как помыслы тех, кто им манипулировал, рассыпались в прах и разлетелись по ветру.

Эдуард Исповедник[249], как и Генрих VI, был не только инвалидом, но и практически идиотом. Известно, что кожа у него была бледная, как у альбиноса, и что трепет, в который впадали находящиеся рядом с ним люди, частично был связан с его умственным нездоровьем. Христианское милосердие Эдуарда иной раз оборачивалось дурашливым своеволием, так что рассказы о нем напоминают истории о юродивых из великих русских романов. Рассказывали, что он дал убежать уличному вору под наивным предлогом, что вору украденные вещи нужны больше, чем ему. Этот случай странным образом противоречит утверждениям других королей, будто бы кража в их владениях невозможна. Однако тип поведения Эдуарда и тип поведения Генриха VI впоследствии хвалили одни и те же историки и, что забавно, в сравнительном анализе вздорного короля ставили выше разумного.

В точности как в случае с последним представителем Ланкастерской династии, мы видим, что похвала имеет в долгосрочной перспективе самое практическое значение. Когда мы перейдем от разрушительной к созидательной части Средних веков, то обнаружим, что деревенский дурачок оказался вдохновителем городов и городских гражданских систем. Его печать мы найдем среди священных устоев Вестминстерского аббатства. Мы найдем победителей-нормандцев, в час победы преклонивших колени перед его призраком. На гобелене Байё, вытканном нормандскими руками, дабы оправдать нормандские притязания и прославить нормандский триумф, Вильгельм Завоеватель не отмечен ничем иным, кроме своего завоевания и незатейливой личной истории, повествующей о причине этого завоевания. Но над одром дряхлого недотепы, умершего, так и не нанеся ни одного удара – только над ним и больше ни над кем – изображена рука, указующая с небес. Так провозглашается истинная легитимация власти, которая правит миром.

Эдуард Исповедник удивителен во многих смыслах, но больше всего – в сложившейся ложной репутации «англичанина» того времени. Как я уже показал, в разговорах об англосаксонском типаже есть нечто нереальное. Англосакс – это мифический, широко расставивший ноги великан, оставивший отпечаток одной ноги в Англии, а второй – в Саксонии. Но на самом деле англосаксы – это сообщество, или, вернее, группа сообществ, живших в Британии до завоевания под именами, которые мы зовем саксонскими.

По крови они были более германцы и менее французы, чем те

же сообщества после завоевания.

Их современная репутация однозначно противоречит реальному положению. Значимость англосаксов раздута, но при этом их достоинства отвергнуты. Предполагается, что наша англосаксонская кровь есть не что иное, как практичная часть нашей натуры, однако на самом деле англосаксы были куда менее практичны, чем любые кельты. Предполагается, что англосаксонское расовое влияние было оздоровительным или – многие сейчас думают, что это одно и то же – языческим. Но на самом деле эти «тевтоны» были мистиками.

Англосаксам мы должны быть признательны лишь за одно дело, которое они исполнили весьма хорошо, поскольку были способны сделать хорошо именно это. Они крестили Англию. Точнее, они крестили Англию еще до ее рождения. Стать англичанами -это как раз то, что англам совершенно не удалось. Но они стали христианами и выказали предпочтение монашескому пути. Современники, туманно говорящие о них как о наших первородных предках, никогда не воздают должное тому подлинному добру, которое они совершили. Они завели часы нашей истории – начав со сказки о веке невинности, они подарили нам все наши хроники, большинство которых начиналось с золотых инициалов святых. Становясь монахами, они сослужили для нас поистине бесценную службу – вот только, боюсь, не в качестве прародителей.

На северных берегах Франции, где Исповедник провел ранние годы своей жизни, лежат земли одного из самых могущественных вассалов короля Франции – герцога Нормандии. Герцог и его окружение представляют собой одну из самых живописных и любопытных страниц европейской истории. Но большинство из нас упускает эту страницу из вида, путаясь в клубке противоречивых фактов, которые самим нормандцам были бы совершенно непонятны просто потому, что не относятся к делу. Главную путаницу привносит нелепая беллетристика, дающая имя «нормандская» всей английской аристократии на протяжении огромного периода времени – целых трех сотен лет.

Теннисон сообщил даме по имени Вер де Вер, что наивная вера куда более значима, чем нормандская кровь[250]. Но студент-историк, который способен поверить, будто бы леди Клара была обладательницей нормандской крови, может обнаружить, что сам оказался носителем наивной веры. На самом деле, как мы и увидим, когда доберемся до политической системы нормандцев, такой взгляд отрицает их подлинную значимость для истории. Поклонники этого модного взгляда упускают все лучшее в нормандцах точно так же, как они упускали все лучшее в саксах.

Никто не знает, за что более следует благодарить нормандцев – за их приход или за их исчезновение.

Немногим филантропам удалось так легко стать анонимами. Величайшая слава нормандского искателя приключений в том, что он рискнул занять эту позицию безымянности, сохраняя веру не только в товарищей, но и в подданных, и даже во врагов. Он стал лояльным к королевству, которое еще предстояло создать. И вот нормандец Брюс[251] становится шотландцем, и вот потомок нормандца Стронгбоу[252]становится ирландцем. Нормандцы в наименьшей степени могут рассматриваться как основоположники господствующей касты, как в те времена, так и сегодня. Эта лояльность пришельца и авантюриста в нормандцах, заметная и в других национальных историях, сильнее всего проявилась в том сюжете, за которым мы здесь следуем.

Герцог Нормандии действительно стал настоящим королем Англии: по завещанию Эдуарда Исповедника, по выборам в Совете, даже через символическую пригоршню земли Суссекса – все это далеко не пустые слова. И при всей условности посылки будет куда ближе к истине называть Вильгельма первым из англичан, чем Гарольда[253] – последним из них.

Невнятные дебаты, толкующие о призрачных расах, смешивавшихся без письменных свидетельств в туманную эпоху, вертятся вокруг того факта, что нормандская область во Франции, как и восточноанглийская область в Англии, была сильно затронута норвежским вторжением IX века. Считается, что генеалогию герцогского дома Нормандии (а также других дворянских родов, о которых мы не знаем) можно проследить вплоть до их скандинавских предков. Неоспоримая способность к руководству и законотворчеству, присущая нормандцам, кем бы они ни были, может быть разумно связана с соразмерным вливанием свежей крови.

Но если расовые теоретики будут настаивать на этом пункте при сравнении рас, им довольно легко ответить, изучив разные типы по отдельности. И вот тогда станет очевидно, что куда больше цивилизационной силы обнаружилось у французов, не затронутых скандинавской кровью, нежели у скандинавов, не затронутых французской кровью. Столько же воинственности (и куда больше властности) проявили крестоносцы, которые не были викингами, сколько и викинги, не бывшие крестоносцами.

На самом деле в подобном раздельном анализе даже нет особой нужды: мы можем легко сопоставить реальную ценность скандинавского вклада во французскую и в английскую национальность, когда четко осознаем тот исторический факт, что герцогство Нормандия было настолько же скандинавским,

насколько и город Норидж[254].

Но эти дебаты несут в себе другую опасность -тенденцию преувеличения персональной важности нормандца. Столь же часто, как он проявлял талант властителя, он оказывался носителем иных и более развернутых понятий. Высадка Ланфранка[255], возможно, значит больше высадки Вильгельма. Но Ланфранк был итальянцем, как Юлий Цезарь. В истории нормандцы – это не просто стена, не просто строгие пограничники империи. Нормандцы – это ворота, как те каменные ворота, которые сохранились с тех времен, с круглыми арками, грубой фактурой и крепкими несущими колоннами. Именно в эти ворота вошла цивилизация. Вильгельм, рожденный в Фалезе, имел в историческом смысле более высокий титул, чем герцог Нормандии или король Англии. Он был тем, кем были для нас Юлий Цезарь и святой Августин, – он был послом Европы в Британию.

Вильгельм утверждал, что Исповедник, по причине своей связи с Нормандией, возникшей в результате нормандского образования, обещал английскую корону главе нормандского герцогского дома. Так это было или нет, мы, вероятно, никогда не узнаем, но это отнюдь не выглядит невозможным или невероятным. Клеймить это обещание как непатриотичное, если оно все-таки было, значит переносить куда более позднюю систему взглядов в раннефеодальный хаос. Выносить подобное обвинение было бы столь же самонадеянно, как предполагать, что древние британцы распевали «Правь, Британия, морями».

Впоследствии Вильгельм упрочил свои притязания, объявив, что Гарольд, глава саксонской знати и наиболее вероятный саксонский претендент, после кораблекрушения воспользовался гостеприимством герцога и поклялся тому на священных реликвиях не оспаривать герцогскую претензию на корону. И в этом случае мы должны согласиться с тем, что не обладаем точным знанием, так ли было в действительности, но мы бы совершенно выпали из контекста времени, если бы сочли возможность подобной клятвы маловероятной. Признаки святотатства в нарушении Гарольдом своих обязательств, видимо, повлияли на Папу, который благословил знамя армии Вильгельма. Но нарушение клятвы наверняка повлияло на Папу не больше, чем на рядовых людей того времени, причем на людей Гарольда не в меньшей степени, чем на людей Вильгельма. Люди Гарольда факт клятвоотступничества отрицали, и именно это отрицание стало мотивом того навязчивого акцента, с которым автор гобелена Байё снова и снова возвращается к теме предательства.

Тут надо отметить один интересный факт. Большая часть этой прославленной хроники в картинках отнюдь не связана с теми широко известными историческими событиями, которых мы тут кратко коснулись. Она, конечно, показывает смерть Эдуарда. Она иллюстрирует трудности предприятия Вильгельма, сводившего леса для строительства кораблей, пересекавшего Ла-Манш и атаковавшего холм в Гастингсе, где по отношению к отступнику Гарольду и его армии восторжествовала полная справедливость. Однако на самом деле то, что исторически верно будет назвать Завоеванием, началось уже после того, как Вильгельм высадился на берег Суссекса и разбил Гарольда.

Только после этих операций мы можем констатировать последовавший за ними новый, стратегический континентальный милитаризм. Вместо того, чтобы идти на Лондон, Вильгельм идет в обход него. Переправившись через Темзу у Уоллингфорда, он отрезал город от остальной страны и вынудил его сдаться. Он предъявил себя как избранного короля, соблюдя тем самым ритуалы, со всей определенностью указывающие на мирное наследование Исповеднику. И лишь после короткой отлучки в Нормандию Вильгельм вновь принял на себя труд войны, дабы привести всю Англию под свою корону. Минуя заснеженные холмы, он опустошил северные графства, захватил Честер и скорее создал, чем завоевал королевство.

Это предприятие легло в основу исторической Англии, но именно о нем, о втором этапе кампании, вышитые картинки не говорят нам ничего. Гобелен Байё вполне мог быть завершен до нормандского завоевания. Зато он в подробностях рассказывает о рядовом походе в Бретань только для того, чтобы показать Гарольда и Вильгельма братьями по оружию – в частности, там есть изображение Вильгельма в момент передачи оружия Гарольду. И здесь опять заложено куда больше символического значения, чем может вынести из этой иллюстрации современный читатель. О чем же говорило это изображение современникам в те времена, когда жив был древний символизм оружия, проливающего кровь?

Я уже упоминал, что герцог Вильгельм был вассалом короля Франции; в этом факте – ключ к пониманию светских взаимоотношений той эпохи. Вильгельм был, конечно, мятежным вассалом, и энергии мятежности нашли отражение в судьбах его собственной семьи – его сыновья Руфус и Генрих I досаждали ему намерениями, идущими вразрез с его собственными. Но было бы ошибкой считать, что личные ссоры важнее освященной традицией системы взаимоотношений. Эту систему мы зовем феодализмом.

Феодализм как главная характеристика Средних веков – общее место в современных исторических воззрениях. Но эти же воззрения более склонны искать следы прошлого на улице Вардур, а не на улице Уотлинг[256]. Они прикладывают термин «средневековый» практически ко всему – от раннеанглийского до ранневикторианского. Выдающийся социалист охарактеризовал этим словом наши вооружения, то есть посчитал уместным приложить данный термин к самолетам. Точно так же само определение феодализма и выяснение того, был ли он частью системы или же препятствием на столбовом пути средневекового развития, смешивается в нынешних дебатах с совершенно посторонними вещами – например, такими, как английская иерархия землевладельцев. Но феодализм едва ли не противоположен иерархии землевладельцев. Ведь для землевладельца главное заключается в том, что его собственность абсолютна и безмятежна. В то время как само определение феодализма подразумевает пребывание в должности, исполнение должностных обязанностей – причем долг заключался в несении воинской службы. Люди платили ренту сталью вместо золота, дабы копьями и стрелами сокрушить врагов их лендлорда. Но и сами лендлорды не являлись лендлордами в современном смысле этого слова – каждый из них и на практике, и в теории был арендатором у короля. А тот в свою очередь мог находиться в феодальной зависимости от Папы или императора. Назвать этот воинский долг солдатчиной значит исказить существо дела – тут далеко все не так просто, как кажется. Именно здесь находится узловая точка – та загадка в природе феодализма, которая ответственна за половину кровавых неурядиц в европейской истории, и особенно в истории Англии.

Тот тип государства и культуры, который мы за неимением лучшего слова называем средневековым, был совершенно уникален. Можно употребить другие слова – «готика» или «великая схоластика». Последнее – весьма немаловажно. Логично полагать, что институт власти – производная разума, и все люди, обладающие разумом, это признают, хотя, в случае Гекели[257], они могут отрицать значение разума или выражать неудовольствие его плодами. Но феодализм отнюдь не был логичным, здесь никогда не было точно известно, в чьих руках сосредоточена власть. Феодализм расцвел до того, как началось средневековое возрождение. Он напитал энергией Тёмные века, предшествовавшие Средним векам, -эпоху, когда варварство сопротивлялось натиску полуварварства. Я говорю так вовсе не для того, чтобы умалить значение феодализма.

Феодализм в своей основе был довольно гуманной вещью,

само название одной из ключевых феодальных церемоний свидетельствует об этом: ом-маж – это слово фактически означает человечность. С другой стороны, средневековая логика никогда до конца не соответствовала значению этого термина и в своих крайностях оказывалась негуманной. Часто случалось, что предубеждения защищали людей, в то время как чистый разум их испепелял. Феодальные ростки пробились сквозь местничество Тёмных веков, когда при отсутствии дорог холмы запирали долины не хуже гарнизонов. В ту пору патриотизм ограничивался приходом – у народа не было страны, а только сторонки. В таких условиях от лорда зависело больше, чем от короля, но это порождало не только форму местной власти, но и форму местной свободы. Так что я бы не советовал игнорировать свободолюбие как элемент феодализма в английской истории. В ней феодализм и впрямь был одной из вариаций свободы, которую англичане вкусили и за которую держались.

Загвоздка системы была вот в чем. В теории король владел всем, как наместник небес, и это вело к деспотии, к «божественному праву», которое означало природную власть. При этом, однако, король был просто одним из лордов, помазанным церковью, как требовали правила того века, на верховенство. И хотя теоретически королевская власть перевешивала права лордов, на практике этот аспект не раз становился зерном мятежа. Борьба здесь была куда более равная, чем в нашу эпоху фабричных боеприпасов – противоборствующие группы могли без труда вооружиться луками из леса или копьями из кузницы. Там, где все люди – военные, нет милитаризма.

Но более существенно вот что: раз королевства были мозаичной территорией и в каком-то смысле мозаичной армией, то и отдельные части этой мозаики тоже были королевствами. Тому, кто подчинялся, в свою очередь тоже подчинялись. Поэтому вассал, верный своему лорду, мог оказаться мятежником по отношению к королю, или же король мог избавить его от присяги лорду. Это противоречие ответственно за трагические страсти вокруг разного рода предательств, в том числе и в случае Вильгельма и Гарольда. Того, кого подозревали в предательстве, то и дело призывали[258], благодаря чему он постоянно чувствовал себя отверженным.

Разрубить этот узел было и просто, и страшно. Измена даже в случае мятежа воспринималась именно как измена, как бегство с поля боя, – но боя, не прекращающегося ни на миг. Именно поэтому в Средние века у англичан было больше гражданских войн, чем во всей остальной истории, и в этих войнах была повинна именно внутренняя темная энергия. То ли таким

образом проявлялась островная нетерпимость, аморфная, как морской туман, с которого начиналась эта повесть, то ли отпечатки Рима действительно были легковеснее галльских. Как бы то ни было, феодальная прививка к местной почве не допустила даже попытку построения Града Господня, идеального средневекового государства. В результате был достигнут компромисс -люди позднейших времен польстили себе тем, что назвали его конституцией.

Выправить перекосы критического взгляда можно при помощи нескольких парадоксов, на которых, если не воспринимать их в отрыве от общей картины, будет полезно сосредоточить внимание. Об одном из них я упоминал в начале главы, это -сила слабых королей. Дополню его другим, обозначившимся в годы кризиса нормандской власти. Его можно сформулировать как «слабость сильных королей». Хотя Вильгельм Нормандский добился быстрого успеха, в конечном счете он оказался куда менее успешен, чем принято считать, – именно в его ошеломительном успехе скрыт секрет сбоя, который дал о себе знать лишь спустя время после его смерти.

Очевидно, его основной целью было упрощение Англии, превращение ее в опирающуюся на народ автократию, вроде той, что формировалась во Франции. Чтобы достичь этой цели, Вильгельм делил феоды[259] на небольшие разбросанные клочки, требовал от вассалов своих вассалов присяги лично себе, использовал любые доступные средства против баронства: от высочайшей культуры иностранных священнослужителей до примитивных реликвий саксонских времен.

Но именно параллель с Францией делает последний парадокс столь очевидным. Все знают, что первые французские короли были марионетками, а мажордомы оказались столь наглы, что стали королями над королями. Однако марионетка вполне может превратиться в идола, народного кумира, не имеющего себе равных, пред которым любые мажордомы, любая знать либо склонится, либо сломается. Во Франции абсолютная власть сформировалась во многом потому, что власть там жестко не увязывалась с личностью. Король стал абстрактным понятием, как республика. Кстати, средневековые республики тоже были закреплены божественным правом.

А вот в нормандской Англии власть была слишком связана с личностью ее носителя, чтобы стать абсолютной. И в этом трудном для понимания смысле Вильгельм Завоеватель оказался Вильгельмом Завоеванным. Когда два его сына умерли, все королевство погрузилось в феодальный хаос – практически такой же, как и до завоевания. Во Франции князья, бывшие по сути

рабами, превратились в нечто исключительное, вроде священников – один из них даже стал святым. Зато наши величайшие короли так и остались баронами, и это произошло по тем же причинам, по которым бароны превратились в наших королей.

VI. Век крестовых походов

Предыдущая глава началась, пусть и, казалось бы, неуместно, с имени святого Эдуарда. Эту главу хорошо бы начать с имени святого Георгия. Его первое явление как покровителя нашего народа произошло по инициативе Ричарда Львиное Сердце во время его кампании в Палестине. И это событие, как мы увидим, поддерживает новую Англию, которой подобало обрести нового святого.

Но Эдуард Исповедник – персонаж английской истории, в то время как святой Георгий, кроме того, что он числится римским воином в мартирологе, вряд ли может быть отнесен к какой-то конкретной национальной истории. И если мы хотим понять смысл самой благородной и самой спорной из всех человеческих революций, мы вряд ли сумеем подступить ближе к его пониманию, чем при рассмотрении вопроса: как прогресс и просвещение соотносятся с переходом от хроники к роману.

В любом интеллектуальном заповеднике современности можно услышать фразу вроде той, что я только что прочел в газетной полемической статье: «Спасение, как и прочие достойные вещи, не должно приходить извне». Толкование духовного как внешнего, а не внутреннего – главный мотив модернистского самоотлучения. Но если темой нашего исследования является Средневековье, а не современность, нам предстоит докопаться, отринув этот мотив, до совершенно противоположной мысли. Мы должны почувствовать себя в шкуре людей, полагавших, что все достойное приходит извне – как благая весть.

Признаюсь, я здесь не беспристрастен, и процитированная газетная фраза выглядит в моих глазах извращением самой сути вещей. Я, основываясь на собственных наблюдениях, не верю, что младенец добывает физическую пищу, высасывая ее из собственного пальца; точно так же и взрослый человек не добывает духовную пищу, высасывая собственную душу и отрицая зависимость в этом плане от Бога или других достойных вещей. Я настаиваю на том, что благодарение – высшая форма сознания, и что благодарность есть счастье, удвоенное чудом.

Но мои вера в восприимчивость и уважение к внешним по отношению к человеку вещам нужны мне здесь не только для объяснения того, что следовало бы объяснять в любой версии истории этой эпохи. Ни в чем другом современный немецкий язык не является более современным – или более безумным, – чем в поиске немецкого имени для всего вокруг. Это поедание

собственной речи – другими словами, кусание себя за язык. В Средневековье нет ничего более свободного и разумного, чем принятие имен и символов извне, из-за столь сильно любимых ими границ.

Монастыри не только часто принимали странников, но практически боготворили их. Обычный искатель приключений вроде Брюса взошел на трон и заслужил восхваление, как будто на самом деле он был странствующим рыцарем. И патриотически настроенное общество выбирало чаще всего именно иноземца как своего святого покровителя. Поэтому множество ирландцев было причислено к лику святых, но сам святой Патрик ирландцем не был. И когда англичане постепенно сформировались в нацию, они прошли мимо бесчисленных саксонских святых, не стали заниматься сравнительным анализом святости Эдуарда и надежной славы Альфреда, но призвали полумифического героя, сразившегося в восточной пустыне с невероятным чудовищем.

Этот переход и этот символ поднял знамя Крестовых походов. Их романтика и их реальность оказались первыми английскими попытками познания внешнего, причем очень удаленного, мира. Англия, как и весь христианский Запад, без стыда разрасталась на всем привозном. От дорог Цезаря до церквей Ланфранка. Она просила пищи у Бога. Но теперь ее орлы встали на крыло и нацелились на далекую дичь. Теперь они искали диковинное вместо того, чтобы принимать его. Англичане сделали шаг от принятия к приключению и приступили к написанию своего корабельного эпоса. Масштаб этого великого религиозного движения, всколыхнувшего Англию вместе с остальным Западом, способен заметно раздуть книгу вроде этой, нарушив ее пропорции. Но лучше уж так, чем ограничиться отпиской в стилистике минималистски сдержанных и фригидных обзоров.

Неполноценность островного принципа в подходе к нашей истории прекрасно видна на примере того, как в популярных изданиях трактуется фигура Ричарда Львиное Сердце. Сказка, рассказываемая о нем, намекает, что его отъезд в Крестовый поход был чем-то сродни бегству школьника за моря в поисках романтических похождений. С этой точки зрения, его поступок – простительная и даже привлекательная шалость. Но на самом деле он был скорее ответственным англичанином вроде тех, кто в тяжелый для родины час отправляется, как это происходит сегодня, на фронт. Христианский мир в те времена представлял собой практически единую нацию, а фронт проходил по Святой земле. Скорее всего, у Ричарда и впрямь характер был авантюрный и даже романтический – впрочем, для того, кто рожден солдатом, стремление делать свое дело хорошо вряд ли

выглядит столь неблагоразумно романтично.

Самое главное, в чем следует упрекнуть островной принцип подхода к истории – это отсутствие в нем сопоставления с событиями на континенте. Ведь достаточно сделать один шаг через Дуврский пролив, чтобы обнаружить ошибочность этого принципа. Филипп Август[260], современник Ричарда, имел репутацию крайне осторожного и хладнокровного государственного деятеля, однако он тоже отправился в Крестовый поход. Дело, конечно же, в том, что Крестовые походы для всех ответственно мыслящих европейцев были делом сугубо государственническим и патриотическим.

Примерно через шесть столетий после того, как христианство возникло на Востоке и двинулось на Запад, другая великая вера поднялась на тех же восточных землях и последовала за ним, как огромная тень. Как и тень, она одновременно подражала и искажала. Мы называем ее исламом, или вероучением мусульман. Возможно, описанием, лучше всего объясняющим его, будет последний язык пламени над средоточием всего восточного – всего накопленного иудейским и другими племенами, но последовательно отвергнутого церковью, ставшей более европейской, когда христианство превратилось в Христианский мир. Наивысшей идеей Востока была ненависть к идолам, и с его точки зрения, наше отношение к Воплощению само по себе выглядело идолопоклонством. Восток не устраивали две вещи: что Бог явился во плоти и что Его впоследствии стали делать из дерева или камня.

Исследования вопросов, тлеющих как следы степного пожара, христианского обращения показывают, что фанатизм, направленный против искусства или мифологии, сначала был следствием и реакцией на это обращение. Он был чем-то вроде особого мнения меньшинств еврейского народа. В этом смысле ислам имеет черты сходства с христианской ересью. Ранние ереси были полны безумных отрицаний или неприятий Воплощения, спасающих их Христа от реальности тела даже за счет откровений его души. Греческие иконоборцы добирались до Италии, разбивали чтимые народом статуи и обвиняли Пап в идолопоклонстве, пока их не направил на путь истинный, хотя и довольно символическим образом, меч предка Карла Великого. Ими двигало то же самое разочарованное отрицание, какое взвилось пожаром от пламенного гения Магомета и выжгло земли Востока. По ним прошла конница, едва не покорившая мир.

Если вы полагаете, что этот восточный сюжет слишком далек от истории Англии, я отвечу вам, что данная книга, увы, содержит достаточно отступлений от темы, но именно этот

фрагмент таковым не является. Есть настоятельная необходимость твердо помнить, что семитское божество постоянно преследовало христианство, как призрак. Помнить об этом надо в каждом уголке Европы, но особенно в нашем краю. Если у кого-то возникнут сомнения в необходимости этой памяти, пусть он предпримет прогулку по приходским церквям Англии в радиусе тридцати миль, а затем спросит, почему эта каменная Богоматерь безголова, а этот витраж выбит. И он скоро осознает, что сегодня в его собственные переулки и дома вернулось то же самое пустынное бешенство и что его сумрачный северный остров озарен яростью иконоборцев.

Частью этой бесплотной, но от того не менее зловещей простоты ислама стало его презрение к границам. Его дом был отсутствием дома. Поскольку он был рожден в песчаной пустыне среди кочевников, то мог идти куда угодно, ибо шел ниоткуда. Но в сарацинах ранних Средних веков эта кочевническая сущность ислама была замаскирована высокой цивилизацией, более просвещенной, образованной, хотя и, так сказать, менее художественной, чем современный ей христианский мир. Мусульманский монотеизм был (или казался) более рационалистической религией в сравнении с христианством. Его рафинированность, отсутствие корней особенно помогали развитию абстрактного мышления, от которого в наследство осталось нам понятие «алгебра».

По сравнению с ним христианская цивилизация слишком во многом полагалась на интуицию. Однако эта интуиция была весьма сильна и, в отличие от космополитичного ислама, вела в противоположную сторону. Она была полна местных привязанностей, оформившихся в целой *системе оград*, покрывающей узором все средневековое от геральдики до земельных владений. Во всех установлениях и обычаях христианства была форма и цвет, их можно было увидеть на камзолах герольдов и гербовых щитах, одновременно и строгих, и радостных. Здесь нет и намека на уход от интереса к внешнему миру -это часть внешнего мира. Само приветствие, адресуемое страннику через стену, было признанием значимости стены. Те, кто считает, что их собственная жизнь самодостаточна, не воспринимают ее предел как стену, но как конец света. Китайцы, отметив это обстоятельство, назвали белого человека «неболомом».

Средневековый дух любил свою часть жизни именно как часть, не как целое, – как взятую напрокат откуда-то еще. Есть шутка про монаха-бенедиктинца, который пользовался общей благодатью *Benedictus benedicat*[261], после чего неграмотный

францисканец победно провозгласил *Franciscus franciscat*[262]. В этом иносказании есть что-то от истории Средневековья, и если бы существовал глагол «францискизировать», с его помощью можно было бы приблизительно описать сделанное святым Франциском. Но этот индивидуальный мистицизм еще только ждал часа своего рождения, так что Benedictus benedicat – это очень точный девиз раннего Средневековья. Я имею в виду, что все благословлено извне тем, кто сам тоже благословлен кем-то извне, и только благословенный благословляет.

Ключом к Крестовым походам является вот что: для их участников то самое «извне» не было бесконечным, как для современной религии. Любое «извне» имело свое место. Загадка местного, состоящая в том, что именно оно пробуждает в человеческом сердце, была настолько же присуща самым отвлеченным христианским понятиям, насколько она отсутствует в самых конкретных исламских понятиях. Англия наследовала это от Франции, Франция от Италии, Италия от Греции, Греция от Палестины, а Палестина от рая. И неспроста фермер из Кента звал освящать свой дом приходского священника, рукоположенного архиепископом Кентербери, рукоположенного в свою очередь Римом. Сам Рим более себе не поклонялся, как было в языческом веке. Сам Рим смотрел на восток, на мистическую колыбель своей веры, на страну, где сама земля называлась святой. Но однажды он посмотрел на восток, чтобы снова увидеть ее, а увидел лицо Махаунда[263]. Он увидел, что там, где находился его земной рай, стоит гигант-завоеватель из пустыни, для которого все места одинаковы.

Потому-то и пришлось отвлечься, чтобы рассказать о скрытых переживаниях, породивших Крестовые походы. Современный английский читатель, как правило, совершенно отрезан от чувств переживаний рода, присущих его предкам. А без этого подлинное противоречие между христианским миром и миром ислама, ставшее огненным крещением для юных наций, не удастся увидеть во всей его исключительности. Оно не было простым спором двух людей, взыскующих святости Иерусалима. Спор был куда непримиримее: один человек желал ее, а другой никак не мог увидеть, почему же она столь желанна.

Мусульманин, конечно, имеет свои собственные священные места, но он никогда не чувствовал в их отношении того же, что западные люди чувствовали по отношению к полю или к стропилам дома. Он думал о священном как о святом, но не о местах как о конкретных местах. Суровость, запечатавшая его воображение, боевые странствия, запечатавшие его покой – все это лишило мусульманина падений и взлетов, свойственных

местному патриотизму. Именно поэтому турки получили от ислама империю, но так и не стали нацией.

Последствия похода против могущественного и загадочного врага оказались неизмеримо огромными для преобразования как англичан, так и других наций, развивавшихся бок о бок с Англией. Во-первых, мы многое узнали о том, что собой представляют сарацины. Во-вторых, мы еще больше узнали о том, чего сарацины собой не представляют. Познакомившись с тем хорошим, чего недоставало нам, мы, к счастью, оказались способны за ними последовать. Но во всем хорошем, что недоставало им, мы утвердились и стали крепки, как алмаз, таким образом бросив им вызов.

Можно сказать, что христиане толком не знали, насколько они были правы в своем пути, пока не пошли на войну с мусульманами. Самой скорой, очевидной и символической реакцией, воспоследовавшей за этим, стали лучшие образцы того, что мы называем христианским искусством, и особенно те нелепицы готической архитектуры, которые не только пережили века, но и до сих пор порой брыкаются.

Восток как окружение, как своего рода орнаментальное очарование, действительно возбудил западный ум, но стимулировал его скорее нарушать мусульманские правила, чем соблюдать их. Он по сути дела пробудил христиан, подобно карикатуристам, покрыть все безликие орнаменты лицами, пририсовать головы всем безголовым змеям, а кроны безжизненных деревьев населить птицами. Скульптура ожила, пользуясь запретом врага как благословением. Изображение – просто потому, что враги называли его идолом – стало не только знаменем, но и оружием. Каменный сонм восстал над святилищами и улицами Европы. Так вышло, что иконоборцы изваяли больше статуй, чем разрушили.

Образ Ричарда Львиное Сердце в народных сказках и поверьях куда точнее отвечает его истинному месту в истории, чем образ рутинного, оторванного от страны гуляки-рубаки, данный ему в наших утилитарных школьных изданиях. На самом деле невежественные слухи почти всегда оказываются ближе к исторической правде, чем «образованное» мнение нашего времени – предание правдивей моды. Король Ричард, как типичный крестоносец, высветил особенности Англии, добыв ей славу на Востоке, вместо того, чтобы мелочно посвящать себя внутренней политике в образцовом стиле короля Иоанна[264].

Его гений и авторитет воина дали Англии нечто, что она хранила четыре столетия – репутацию носителя самого эталона рыцарства. Без учета этого обстоятельства понять тот период

невозможно. Великая романтика Круглого стола, связавшая рыцарство с именем британского короля, относится именно к этому периоду. Ричард был не только рыцарем, но и трубадуром, так что культура и этикет были связаны с идеей английской доблести. Средневековый англичанин гордился тем, что он вежлив, а это определенно не хуже, чем гордиться деньгами и дурными манерами, которые многие англичане последующих столетий подразумевали под «здравым смыслом».

Рыцарство можно назвать крещением феодализма. Оно вылилось в попытку внести справедливость и даже логику католического вероисповедования в уже существующую военную систему – превратить дисциплину в посвящение, а неравенство в иерархию. К его сравнительно привлекательным чертам относится, конечно, и культ уважения к женщине, в приложении к которому понятие «рыцарство» зачастую суживают или излишне сгущают. Это тоже мятеж против одного из постыдных пробелов в куда более изысканной цивилизации сарацин.

Мусульмане даже отрицали наличие души у женщины, вероятно, по той же причине, по которой они отрицали связь между святостью рождения и прославлением матери. Возможно, так сложилось потому, что изначально у них были не дома, а палатки, в которых были рабыни, а не домохозяйки. Неправильно полагать, что рыцарское отношение к женщинам было нацелено лишь на то, чтобы произвести на них впечатление – за исключением того факта, что там, где есть идеал, всегда будет и аффектация. Вообще это худшая разновидность поверхностности – не видеть воздействия на общество общих чаяний только потому, что в процессе воплощения они всегда изменяются и извращаются в угоду обстоятельствам. Сами Крестовые походы, например, куда подлиннее и убедительнее именно как мечта, а не как реальность.

От первого Плантагенета[265] до последнего Ланкастера[266] эти мысли часто наведываются в умы английских королей. Мираж Палестины служил фоном для их сражений. Преданность, вроде той, что Эдуард I[267]испытывал по отношению к своей королеве, была совершенно реальной движущей силой в жизни многих их современников. Когда толпы просвещенных туристов, заранее готовых иронизировать над континентальными предрассудками, покупают билеты и отмечают багаж на железнодорожном вокзале у западного конца Стрэнда, вряд ли они говорят со своими женами более галантно, чем их предки во времена Эдуарда. И вряд ли они остановятся, чтобы задуматься над легендой о скорби мужа, оживающей от одного названия – Чаринг Кросс[268].

Было бы громадной исторической ошибкой предположить,

что Крестовые походы касались только сливок общества, для которых геральдика была искусством, а рыцарство – этикетом. Это совершенно не так. Первый Крестовый поход был сродни единодушному народному подъему, вроде тех, которые зовут мятежами или революциями. Сила гильдий -великой демократической системы того времени -зачастую была обязана своим ростом этой общей борьбе за крест (я обязательно расскажу об этом позже). Нередко случалось, что не столько набранные воины, сколько целые семейства отправлялись в поход, подобно новым цыганам устремляясь на восток. А то, что даже дети организовывали Крестовый поход, как сейчас организуют игру в шарады, стало притчей во языцех.

Но мы лучше поймем события, если будем рассматривать каждый Крестовый поход как Крестовый поход детей. Ведь порывы эти были исполнены того, что современный мир находит именно у детей (просто потому, что уничтожил это во взрослых). Жизнь людей той поры была полна, как полны осколки их вульгарного искусства, именно тем, что мы видим из окна детской. Лучше всего это можно уловить в более поздних работах: например, в пронзительно прописанных интерьерах Мемлинга[269] и практически повсеместно в позднейших и менее осмысленных современных произведениях искусства.

Именно это ощущение одомашнивало далекие земли и переносило под родной кров сам горизонт. Люди того времени умудрялись разместить по углам своих маленьких домиков концы света и края небес. Их перспектива груба и безумна, но это – перспектива, это не декоративная плоскость восточного искусства. Одним словом, их мир, как и у детей, был полон ракурсов – таких, что кратчайшим путем ведут в волшебный край.

Их карты еще провокационнее их картин. Их полусказочные звери – это чудовища, но одновременно и домашние животные. Невозможно передать словами эту исключительно яркую атмосферу, а ведь сама эта атмосфера уже была сродни приключению. Эти подробные видения удаленных земель, приходя в каждой дом, оказывались рядом; а вот королевские эдикты и феодальные склоки пребывали за краем окоёма. Святая земля была гораздо ближе к дому простого человека, чем Вестминстер, и неизмеримо ближе, чем Раннимид[270].

Давать реестр английских королей и парламентов, но не останавливаться на мгновениях религиозного преображения повседневной жизни – крайне глупо. Эту глупость можно проиллюстрировать современной параллелью, где светское и религиозное поменялись местами. Допустим, какой-то клерикал или роялист-писатель решил бы составить список парижских

архиепископов с 1750 до 1850 года. В нем он отметил бы, что один из архиепископов умер от оспы, другой от старости, а еще один – в результате любопытного случая обезглавливания. Но при этом в его записях не упоминались бы ни суть, ни само имя Французской революции.

VII. Проблема Плантагенетов

Излюбленный пассаж «высокой критики» – в любых областях – заявлять: данный широко известный текст или политический деятель является «позднейшим» и на этом основании в рассматриваемом вопросе бесполезен. При этом, если имеют место два похожих события, обычно заявляется, что это одно и то же событие, и только последнее безусловно заслуживает доверия. Подобный подход зачастую не срабатывает в отношении самых простых фактов -столь распространенные в нашей жизни совпадения он игнорирует. Какой-нибудь критик из будущих времен, вероятно, выскажет взвешенное мнение, что сказка о Вавилонской башне не может быть древнее Эйфелевой башни, потому что смешение языков имело место именно на Парижской всемирной выставке. Большая часть следов Средних веков, известных современному читателю, также относится к разряду «позднейших» – к примеру, Чосер или баллады о Робине Гуде. И тем не менее для мудрой критики они заслуживают внимания и даже доверия. После эпохи остается обычно именно то, что в саму эпоху расцветало наиболее пышно.

Читать историю задом наперед – превосходная привычка. Разумеется, мудрее для современного человека и Средние века прочитывать задом наперед. Начать, например, можно с Шекспира, которого он может оценить самостоятельно и который еще под завязку набит Средневековьем. Это куда проще, чем пытаться читать историю от Кэдмона[271], о котором он ничего не знает и о котором даже специалисты знают крайне мало. Если сказанное верно по отношению к Шекспиру, то еще вернее это будет по отношению к Чосеру. Если мы действительно хотим знать, что же было самым ярким и заметным явлением в XII веке, не так уж глупо по этой логике задаться вопросом, что же осталось от него в XIV.

Когда рядовой читатель откроет «Кентерберийские рассказы», не менее развлекательные, чем романы Диккенса, и столь же средневековые, как Даремский собор[272], каков же будет его первый вопрос? Почему, например, рассказы именно кентерберийские и что же делали паломники на дороге в Кентербери? Они, разумеется, принимали участие в народном празднестве вроде современных фестивалей, только более дружелюбном и неспешном. Но мы, возможно, не готовы принять тот самоочевидный ход мысли, что их праздники пошли от святых, тогда как наши навязаны нам банкирами.

Также необходимо сказать, что в нынешние времена слово

«святой» означает просто очень хорошего человека. Представление о достижении высот лишь в смысле моральном, сочетающимся с полнейшей глупостью или неудачливостью – это образ революционный, выросший как чуждое новшество, несмотря на то, что сейчас он нам близок. Придется его, как и многие вещи из прежнего общества, снабдить современной параллелью, дабы явить его во всей свежести и незатертости. Если мы войдем в иностранный город и обнаружим там столб масштабов колонны Нельсона, нас сильно удивит, если окажется, что герой на его вершине прославился вежливостью и весельем во время хронической зубной боли. Если мы обнаружим процессию, идущую по улице с духовым оркестром за героем на белом коне, мы подумаем, что было бы странно, если бы героизм всадника состоял в терпении прихотей полоумной тетушки. Именно невозможность представить такую пантомиму – мера революционности нововведения в христианскую идею народного и признанного святого.

Нужно все-таки понимать, что если этот тип славы и был наивысшим, то одновременно в другом смысле он был нижайшим. Исходным ресурсом для нее служил тот же самый ресурс, что и для труда в домашнем хозяйстве – эта слава не нуждалась в мече или скипетре, а скорее в посохе или лопате. Она была пределом мечтаний бедноты. Хотя бы в общих чертах это нужно осознать перед тем, как мы бросим взгляд на великие последствия истории, лежащей в основе паломничества в Кентербери.

Самые первые строки чосеровской поэмы, не говоря уже о тысячах последующих, совершенно ясны – речь идет не о светском празднике, все еще связанном с несущественным ритуалом во имя какого-то забытого божества, как это могло бы быть на закате язычества. Чосер и его герои думали о святом Томасе[273] уж всяко больше, чем современный клерк из Маргейта думает о святом Лаббоке[274]. И они совершенно определенно верили в телесное выздоровление, которое придет к ним через святого Томаса – по крайней мере столь же твердо, как более просвещенные и прогрессивные современные люди могут верить в то же самое с участием госпожи Эдди[275].

Кем же был святой Томас, у святилища которого все общество того времени пришло в движение, в чем его значимость? Если есть хоть капля искренности в призыве изучать историю общества и демократии вместо последовательности королей и битв, то самый естественный и открытый путь к этому -вот эта фигура, споривша я с первым Плантагенетом обустройстве Англии. Настоящая народная история должна интересоваться сперва

фактом его популярности и лишь затем – его политикой. И несомненно, что тысячи пахарей, плотников, поваров и йоменов, как и чосеровская пестрая толпа, хорошо знали о святом Томасе, даже если они ничего и никогда не слышали о Бекете.

Не так уж сложно описать все, что последовало за Завоеванием, как феодальный хаос, тянувшийся до тех пор, пока анжуйский принц не повторил объединительные усилия Завоевателя. Столь же просто писать об охотах Рыжего короля[276] вместо затеянного им строительства, которое заняло куда больше времени и которое, видимо, куда больше его увлекало. Весьма легко набросать список тем, которые он обсуждал с Ансельмом[277], исключив вопрос, заботивший Ансельма больше других (он задавал его с взрывоопасной непосредственностью: «Почему Бог был человеком?»).

Все это так же просто, как сказать, что король умер, объевшись миногами[278], из чего, вообще-то, трудно извлечь что-либо новое, кроме наблюдения, что когда современный король умирает от обжорства, редкая газета об этом напишет. Но если мы хотим знать, что на самом деле происходило с Англией в ту смутную эпоху, я думаю, нам надо держаться слабого, но верного следа, ведущего в историю святого Томаса Кентерберийского.

Генрих Анжуйский, принесший свежую французскую кровь в нормандскую монархию, принес также обновление идеи, за которую французы всегда стояли: идею римского права как чего-то не зависящего от личности. Мы улыбаемся, встречая ее отблеск в коротком французском детективном рассказе, когда Справедливость открывает саквояж или Правосудие бежит за кэбом. Генрих II действительно производил впечатление полицейского порядка во плоти. Священник того времени сравнивал его беспокойную бдительность с заботами библейских рыб и птиц, чьи пути людям неведомы. Королевское достоинство, так или иначе, означает закон, а не каприз. В идеале это справедливость простая и очевидная, как свет дня, то есть такая, какая сохранилась в народных представлениях о королевском английском языке или королевской дороге. Но хотя это достоинство и стремилось к равенству перед законом, само по себе оно отнюдь не склонно было быть человечным.

В современной Франции, как и в древнем Риме, другим лицом Правосудия порой становился Террор. Особенно это относится к французам, которые всегда революционеры – и никогда анархисты. Поэтому попытки королей, вроде Генриха II, перестроить все по четкому плану римского права не только сталкивались и переплетались с бесчисленными феодальными причудами и чувствами как самих феодалов, так и остальных

придворных, но еще и ограничивались тем, что являлось краеугольным камнем самой цивилизации. План переустройства касался церкви, но еще и того, что находилось внутри церкви. Церковь была для людей того времени скорее миром, в котором они жили, нежели зданием, в которое они приходили. Без церкви у Средних веков не было бы закона, точно так же как без церкви у Реформации не было бы Библии.

Многие священники толковали и приукрашивали римское право; многие священники поддерживали Генриха II. Однако у церкви была и другая составляющая, хранимая в ее кладовых, как динамит, и в роковые времена использовавшаяся для разрушения и обновления мира. Идеализм и стремление к невозможному веками шли параллельно, не пересекаясь со всевозможными политическими компромиссами. Монашество аккумулировало в себе отлученные от мира утопии, не оставлявшие потомства и тем не менее не прекращающиеся. Оно хранило в себе странную тайну, на что постоянно указывалось в продажные эпохи – оно умело быстро обеднеть и стремительно соединиться в сообщество величественных нищих. Ветер революции из времен Крестовых походов сбросил богатые одеяния с Франциска из Ассизи. Тот же ветер революции внезапно подхватил Томаса Бекета, блестящего канцлера короля Генриха, и вознес его до неземной славы и кровавого финала.

Бекет был родом из той эпохи, в которую самым практичным оказывалось – быть непрактичным. Спор, вырвавший его из рядов королевских друзей, нельзя оценивать с позиций юридических и конституционных дебатов, которых после несчастья XVII века было так много в нашей истории. Осуждать святого Томаса, ссылаясь на незаконность и церковный заговор, когда он использовал закон церкви против закона государства, столь же разумно, как обвинять святого Франциска в неточном информировании общества, когда тот говорил, что он – брат солнцу и луне. Встречаются и в наш куда более логичный век глашатаи, достаточно наивные, чтобы заявить о себе подобное, но с пророчествами и с революциями совладать все равно не удается – однозначных решений просто не существует.

Святой Томас Кентерберийский был великим провидцем и великим революционером. Однако -по крайней мере, в Англии – считается, что его революция провалилась, а его прозрения не сбылись. Поэтому из учебников мы узнаем немногим больше того, что он спорил с королем по поводу определенных установлений, самым важным из которых было следующее: должно ли преступников духовного звания наказывать государство или все-таки церковь. И эта тема действительно была

важнейшей в споре, но чтобы понять это, придется вернуться к труднейшей для современной Англии теме – природе католической церкви. С одной стороны, католическая церковь сама по себе была правительством, с другой, в ней постоянно витали вихри революции.

Обычно этот факт ускользает от внимания, но первое, что можно сказать о церкви – это то, что она создала механизм прощения там, где государство может работать лишь как механизм наказания. Церковь возвестила, что есть божественный промысел, помогающий преступникам избежать наказания путем признания вины. Однако по природе самого института церкви оказывалось, что даже тот, кто был наказан материальными средствами, был наказан ею менее строго. Если бы наш современник вдруг был перемещен во времена спора Бекета с королем, его симпатии раздвоились бы: позиция короля была рациональнее, позиция архиепископа – гуманнее.

Несмотря на ужасы, впоследствии омрачившие подобные религиозные споры, этот персонаж[279]был олицетворением исторического типа церковного правительства. Признано, например, что такие вещи, как выселение или жестокое обращение с жителями, были практически неизвестны там, где лендлордом выступала церковь. Тот же принцип в более мрачные дни прослеживается в передаче церковными властями светским властям преступников, признанных виновными пусть даже и в церковных преступлениях. В нынешних романах подобное обстоятельство рассматривается как лицемерие. Но человек, который считает любое внутреннее человеческое противоречие лицемерием, сам лицемерит в отношении собственных внутренних противоречий.

Нашему миру понять святого Томаса даже сложнее, чем святого Франциска, если не принимать во внимание того пламенного и даже фантастического милосердия, с которым великий подвижник встал на защиту жертв мироустройства, в котором жернова судьбы безжалостно перемалывали бедноту. Возможно, он был слишком идеалистичным, он надеялся защитить церковь как своего рода рай земной, чьи законы могут быть столь же отцовскими, как законы рая, – но они показались королю столь же мятежными, как законы утопии. И если священник был решительным идеалистом, то король был решительным практиком. То есть, вернее, он был чрезмерно практичным, чтобы на деле достичь успеха. Так уже случалось, и я полагаю, что тот парадокс, который я высказал в отношении Завоевателя, сопровождает всю английскую историю: возможно, Генрих был недостаточно безлик для достижения идеала

деспотизма.

Истинная суть нашей средневековой истории, я думаю, немного противоречит представлению Карлейля о неистовом богатыре с молотом, кующем государство, как кузнец. Наши богатыри были чересчур могучи как для нас, так и для самих себя. Они были слишком сильны для своей собственной цели – справедливой и освященной равным для всех законом монархии. Послужит это ключом к пониманию непростой истории наших королей и баронов или нет, но это очень точное описание Генриха II в противовес его сопернику. Он стал беззаконным из страстной любви к закону. Кроме того, он выступал, хотя и в более взвешенной манере, за простой народ – против феодального угнетения. Если бы эта линия его политики воплотилась во всей ее чистоте, привилегии и капитализм позднейшего времени стали бы невозможны.

Однако его исторической образ в большей степени отдает дань его телесному беспокойству, его буйству и сокрушению мебели, нежели чему-то иному. Ведь в том числе из-за этих качеств ему и его потомкам не довелось сидеть на троне так же спокойно, как наследникам Людовика Святого[280]. Он снова и снова пытался продавить неподатливый идеализм священников, как человек, сражающийся с призраком. Он отвечал на трансцендентальные вызовы в основном физическими преследованиями. Наконец в самый темный и, я думаю, самый решающий день английской истории его слово отправило четырех убийц в церковные покои Кентербери.

Они пришли туда, чтобы покарать предателя, а породили святого. На могиле архиепископа вскоре началось то, что может быть названо эпидемией исцелений. Чудеса, о которых тогда говорили, подтверждены тем же образом, что и половина фактов истории – тот, кто отрицает их, делает это под гнетом собственных догм. Но произошло там и то, что современная цивилизация сочла бы чудовищнее любого чудесного исцеления.

Может ли читатель представить себе мистера Сесила Родса, согласившегося на то, что буры высекут его в соборе Святого Павла в качестве извинения за непростительные жертвы, принесенные во время рейда Джеймсона[281]? Если да, то он получит представление, пусть и приблизительное, о том, что же имел в виду Генрих II, когда допустил, чтобы его, короля, на могиле его вассала и врага били монахи. Современная параллель выглядит комической, но это так – в условиях Средневековья существовали кары, которые, с нашей точки зрения, выглядят комическими. Все католики того времени следовали двум главным представлениям: о безусловной важности раскаяния как

ответа на грех и о безусловной важности ярких и показательных внешних действий, подтверждающих раскаяние. Экстравагантное унижение после экстравагантной гордыни возвращало их разум в состояние равновесия.

На это обстоятельство следует обратить внимание, так как без его учета современные люди не поймут ни истоков, ни финала той эпохи. Грин мрачно замечает, например, о наследнике Генриха Фульке Анжуйском[282], что его тирания и плутовство омрачались «низкими суевериями», следуя которым он надевал вериги и шел бичевать себя в храм, вопия там и взывая к милости Господа. Средневековые люди просто сказали бы, что такому человеку есть о чем вопить – эти вопли единственно были достойны внимания из всего, что упомянул Грин. Но те же средневековые люди отказались бы понимать, почему вопли должны быть добавлены к грехам, а не вычтены из них. Они бы посчитали, что только полный тупица может испытывать равное отвращение к ужасному грешнику и к тому, кто вымаливает прощение за прегрешения.

Однако, преодолевая свойственные невежеству сомнения, я думаю, что анжуйский образ идеального королевского правосудия претерпел со смертью святого Томаса существенную деформацию. Конечно, смерть архиепископа ужаснула христианский мир, привела к канонизации жертвы и публичному покаянию тирана. Но все это – кратковременный эффект. Вскоре король восстановил свое право судить духовных лиц, и в дальнейшем короли и законники продолжили осуществление монархических планов. Но я полагаю, и это – вероятный ключ к загадкам последующих событий, что именно в тот момент и именно из-за шока, вызванного убийством, корона утратила то, что обеспечивало молчаливую массовую поддержку ее политике. Я имею в виду, что она потеряла народ.

Не нужно повторять, что остовом деспотии является демократия. Как правило, жестокость по отношению к сильным диктуется сочувствием по отношению к слабым. Самодержца как исторического персонажа нельзя судить по характеру его отношений с другими историческими персонажами. Аплодисменты ему достаются не от актеров, стоящих рядом с ним на залитой светом сцене, а от огромной аудитории зрителей, обычно сидящей во тьме, пока играется драма. Король, оказывающий помощь бесчисленным подданным, помогает безымянным, и пока он увлечен широкими жестами щедрости, он – христианин, делающий добро тайно.

Именно такой тип монархии соответствовал идеалу Средневековья, и будет ошибкой полагать, что он не мог

воплотиться в реальности. Французские короли никогда не были столь милостивы к народу, как в дни, когда они становились предельно безжалостны к знати. Возможно, справедливо и то, что русский царь, бывший грозным владыкой по отношению к приближенным, для бесчисленных обитателей крытых соломой избенок оказывался милосерднее отца родного.

Почти наверняка центральная власть, основанная на подобном принципе, пусть она, возможно, в итоге и оказалась собственным могильщиком как в Англии, так и во Франции, могла бы как в Англии, так и во Франции предотвратить похищение немногими людьми и удержание ими в своих руках всего богатства и всей полноты власти вплоть до сего дня. Но в Англии идеал средневековой монархии споткнулся на том, чему убийство святого Томаса может служить самой яркой иллюстрацией. В этом событии было что-то надрывное, ошеломляющее, противоречащее инстинктам народа. Что именно здесь подразумевается, что было настолько значимым и характерным для Средних веков, я расскажу в следующей главе.

В любом случае наша гипотеза находит в последующих событиях подтверждение. Оно заключается не только в том, что великий, но самовластный план первого из Плантагенетов обернулся хаосом баронских междоусобиц точно так же, как и великий, но самовластный план Завоевателя обернулся анархией междуцарствия времен Стефана. С учетом всех допущений, делаемых ради конституционных фантазий, и кое-каких задних мыслей, кажется вероятным, что именно здесь монархию впервые покинула ощутимая часть ее моральной силы. Черты характера второго сына Генриха – Иоанна (Ричард по натуре больше подходит к теме предыдущей главы) – запечатлели этот факт, возможно, случайно, но вполне символично. Иоанн не был тусклым пятном на чистом злате Плантагенетов – тут дело сложнее, без резких переходов и контрастов. Но он действительно оказался Плантагенетом опозоренным, поскольку был Плантагенетом сломленным.

Нельзя сказать, что он выглядит хуже тех, кто ему сопротивлялся. Но он представлял собой тот тип плохого человека, во имя противостояния которому объединяются и плохие и хорошие. В смысле куда более тонком, чем тот, какой парламентские умники вложили в эти слова куда позже, он действительно *завел корону не туда.* Никому не придет в голову предположить, будто бароны времен Стефана морили голодом узников в башнях своих замков ради достижения политических свобод или же вешали несчастных вниз головой, как символ борьбы за свободный парламент. А в годы правления Иоанна и

его сына бароны вели себя именно так. Захвативших тогда власть аристократов уж никак нельзя посчитать народом. Но они уже начали обосновывать захват власти борьбой за достоинство и свободу – как для современников, так и для позднейших конституционных историков.

Иоанн в результате одного из внезапных поворотов своей дипломатии предоставил Англию заботам Папы, точно так же как имение передают в ведение канцелярии. Но к несчастью Папа, попечение которого обычно было мягким и необременительным, именно в этот момент бился не на жизнь, а на смерть с германским императором, и он не намерен был упускать ни один пенни из тех, которые мог добыть. Его победа стала благословением для Европы, но проклятием для Англии, так как Папа использовал нашу страну в качестве казны для ведения войны за ее границами. По этой или другой причине, но баронская партия возвела вызванные этим обстоятельством недовольства в разряд принципов, а по сути – в основу политики.

Выводы традиционной истории, увязывающей баронские советы с тем, что у нас называется Палатой общин, выглядят притянутыми за уши, как попытка объявить жезл спикера Палаты общин той же самой булавой, которой бароны пользовались в бою. Симон де Монфор[283] отнюдь не был энтузиастом идеи британской конституции, придуманной вигами, но в каком-то отношении он все-таки был энтузиастом. Считается, что он основал парламент в припадке безрассудства, однако ум у него определенно был, причем в самом ответственном и даже религиозном смысле. У него был именно тот ум, который сделал его отца яростным борцом с еретиками[284]. Сын пошел по стопам отца, унаследовав его грозный меч, пока сам не пал при Ившеме[285].

Великая хартия вольностей вовсе не была шагом к демократии, но она была шагом от деспотии. Если мы примем эту двойственную истину как она есть, то у нас появится что-то вроде ключа ко всей последующей английской истории. Весьма рыхлый класс аристократии не только получил свободу, но зачастую сам же и олицетворял ее. История Англии кратко может быть описана французским девизом «Свобода, равенство и братство» с той оговоркой, что англичане искренне любили первую его составляющую и сбросили с хвоста две остальные.

Произошедшее усложнение системы ко многому вынудило и корону, и новое, более национально ориентированное поколение знати. Но это было именно усложнение, в то время как чудо – штука простая, понятная любому человеку. Воплощаемость или невоплощаемость идей святого Томаса Бекета осталась для

истории загадкой – белое пламя его смелой теократии было погашено, дело его жизни осталось несделанным точно так же, как волшебная сказка бывает нерассказанной. Но память о святом Томасе не стерлась, она была востребована простыми людьми, для которых он оказался куда более полезен мертвым, нежели живым. В следующей главе мы рассмотрим, что именно он олицетворял в Средние века для простых людей и насколько непривычен нам сейчас подобный строй мыслей.

В предыдущей главе мы уже рассмотрели, как в век Крестовых походов самые необычайные вещи вдруг становились самыми обыденными, а люди строили картину мира по рассказам путешественников, так как еще не существовало национальных газет. Красочные иллюстрации из мартирологов знакомили самых невежественных людей с ужасными историями, творящимися за пределами их мира. Там был и епископ, с которого датчане содрали кожу, и девственница, сожженная сарацинами, и святой, которого побили камнями евреи, и другой святой, располосованный на ремни неграми.

Я не склонен думать, будто тот факт, что среди этих картинок появилась и такая, на которой один из самых величественных святых встретил свою смерть от рук английского монарха, можно счесть несущественным. В примитивных героических легендах того времени можно встретить сюжет про двух друзей, один из которых, не рассчитав, ударил другого слишком сильно и убил. Может быть, исток этого сюжета в той давней истории. Суждения о ней уже не произносили вслух, но в сознании народа на короне навсегда осталась загадочная печать, вроде той, какой наградили Каина – тавро изгоя отпечаталось на английских королях.

VIII. Смысл «Веселой Англии»

Умственный фокус, при помощи которого первая половина английской истории была окарикатурена и обесчеловечена, очень прост. Он состоит в том, чтобы выносить на свет только историю профессиональных разрушителей, а затем сокрушаться, что вся история состоит из разрушений. Король – коронованный на царство палач. Любое правительство -уродливая необходимость. Если в иные времена оно было еще уродливее, чем сейчас, то исключительно потому, что к тому вынуждали тернии обстоятельств. То, что мы называем выездными сессиями суда, возникло раньше королевских инспекций. В ту пору преступный класс был так силен, что и в мирное время гражданское правление судило и карало как в условиях гражданской войны – когда преступник оказывался в руках правосудия, его предавали смерти или жестоко калечили. Король ведь не мог поставить Пентонвилльскую тюрьму[286] на колеса и возить ее за собой.

Я не намерен отрицать очевидные элементы жестокости, присущие Средним векам. Но дело в том, что они свойственны той стороне жизни, которая отличается жестокостью и в лучшие времена. Там больше жестокости именно по той причине, что там больше и отваги. Когда мы думаем о наших предках как о людях, которых подвергали истязаниям, мы не должны забывать о людях, сопротивлявшихся истязаниям. Однако современный критик Средневековья обычно смотрит только на отбрасываемые им мрачные тени, а не на обычный дневной свет, сиявший и в ту пору. Когда этот критик, испытав досадное разочарование, обнаруживает факты, свидетельствующие, что восстающие боролись, а карающие вешали, он тут же заключает, что и все остальное в этом мироустройстве было столь же бестолково и бесплодно. Он презирает монахов за то, что они избегали тех же занятий, за которые он презирает воинов. Он уверен, что раз в распрях военные искусства не приносили плодов, то нельзя допускать даже мысли о плодах искусств мирных.

Правда же в том, что именно в мирных искусствах и ремеслах, в методе производства Средние века стоят особняком, более того – они уникальны. Это не панегирик, а исторический факт – образованный человек должен признавать эту производственную специфику, даже если не испытывает по отношению к ней особенной симпатии. Характерные элементы жизни, обычно называемые средневековыми, на деле, как правило, куда старше и куда всеохватнее: например, турниры или пытки. Турниры по существу были христианским и либеральным

развитием традиции гладиаторских боев, в которых лорды предпочитали рисковать собой, а не своими рабами. Пытки – тем более не средневековое изобретение, их скопировали с судебной практики языческого Рима и положений его разумной правовой системы. То, что применение пыток теперь распространялось уже не только на рабов, на самом деле явилось следствием постепенного исчезновения рабства в Средние века. Пытки, между прочим, совершенно обычны в государствах, не замеченных в религиозном фанатизме, вроде великой агностической империи Китая.

Что же действительно можно считать признаком именно Средневековья в той же степени, в какой спартанская дисциплина была особенностью Спарты, а русская община – типичной чертой России? Пожалуй, его замечательную общественную, цеховую организацию изготовления, строительства и выращивания всех необходимых в жизни вещей.

Вернемся к средневековой Англии. Династии и парламенты, как изменчивые облака, скользят над обустроенным и плодоносным пейзажем. Учреждения, затрагивавшие и охраняющие интересы множества людей на местах, можно сравнить с зерновыми культурами или фруктовыми деревьями как минимум в одном практическом смысле: они росли снизу вверх. Бывали общества получше, бывали и похуже, хотя мы и не заглядывали настолько глубоко, но крайне сомнительно, чтобы когда-либо существовало более непринужденное общество. Мы не можем адекватно судить, например, о местном управлении той эпохи, даже если оно было несовершенно или непоследовательно, используя для сравнения с ним формы местного управления, существующие в наши дни.

Современная власть на местах всегда учреждается сверху – в лучшем случае она дарована, куда чаще она просто навязана. Нынешняя английская олигархия, нынешняя германская империя неизбежно более эффективны в том, чтобы заставить работать муниципалитет по предложенному шаблону. Однако средневековые поселения имели не просто самоуправление, но самоуправление, сложившееся на данном месте. Им приходилось, когда центральные власти национальных монархий становились сильнее, искать и добиваться одобрения со стороны государства, но это было одобрение уже существовавшей на деле народной инициативы.

Люди, сплотившиеся в гильдии и общины задолго до Акта о местном самоуправлении, были мечтателями и филантропами, почти как в случае благотворительных организаций, действующих по тому же принципу, их Домашний закон[287] писался дома.

Реакция в последние столетия сделала самых образованных людей неспособными прибегать к помощи коллективного воображения, они и представить такого не могут. Они едины во мнении, что толпа – это орудие разрушения существующих устоев, даже если они и согласны с тем, что сломать эти установления было бы недурно.

Однако создала эти средневековые установления именно толпа. Художник, высмеянный за многоголовость, за многоглазость и тысячерукость, создал эти шедевры. И если современный скептик, испытывающий омерзение перед демократическими идеалами, упрекнет меня за то, что я называю их шедеврами, я отвечу без раздумий – достаточно того, что само слово «шедевр» взято напрокат из терминологии средневекового плотника. Правда, такие понятия в рамках цеховой системы получили распространение в более поздние времена, а здесь мы только имеем в виду добровольное стремление вверх всех этих народных сообществ, зародившихся тогда. Они росли в городах и весях как молчаливый мятеж, как спокойный, величавый бунт. В современных конституционных странах практически нет политических учреждений, созданных народом – все они лишь получены народом. Есть только одна институция, истончившаяся, но все еще имеющая значение и силу, явившаяся призраком из Средних веков – профсоюзы.

Произошедшее в Средние века преображение сельского хозяйства напоминало всемирный оползень. По чудесному стечению обстоятельств, вопреки логике природных явлений, земля, так сказать, заскользила в гору. Аграрная цивилизация вышла на совершенно новый и гораздо более высокий уровень, причем тут обошлось без великих общественных потрясений и, похоже, даже без широких социальных кампаний, которыми можно было бы объяснить случившееся. Возможно, это единственный случай в истории человечества, когда падение осуществилось вверх. По крайней мере тогда изгои почувствовали почву под ногами, а бродяги обрели свою обетованную землю.

Такого рода события, конечно, не могли быть и не были просто случайностью. Если мы в серьезных делах обычно руководствуемся разумным планом, то тогда воистину произошло чудо. Появилось, подобно подземному племени, выбравшемуся на свет божий, нечто незнакомое великой цивилизации Римской империи – крестьянство. В начале Средних веков огромное космополитическое государство, постепенно христианизируясь, оставалось по-прежнему рабовладельческим – каким была старая Южная Каролина. А к XIV веку оно уже было почти таким же, как государство крестьян-собственников современной Франции.

Против рабства не принималось законов, его априори не запрещали догматами, против него не вели войн, никакой вновь появившийся народ или правящая каста не отвергали его – и тем не менее оно исчезло. Это удивительное, тихое преобразование – возможно, лучший показатель влияния народной жизни на общее положение вещей в Средние века, показатель того, насколько быстро ей удавалось производить новые формы бытия на ее духовной фабрике. Как и все остальное в средневековой революции, от соборов до баллад, оно было столь же анонимным, сколь и всеохватным. Признается, что самыми последовательными и активными радетелями свобод оказывались приходские священники и религиозные братства. Но от них не осталось имен, и никто из них в земном мире не снискал награду. Бесчисленные Кларксоны, неисчислимые Уилберфорсы[288] без помощи какой бы то ни было политической структуры, без венца народной славы трудились во всех деревнях Европы у постелей умирающих и в исповедальнях – и гигантская машина рабства пала.

Возможно, это была самая массовая работа, когда-либо предпринятая добровольцами. В этом и в некоторых других проявлениях Средние века вообще были эпохой добровольцев. В принципе, пусть и довольно грубо, можно зафиксировать стадии описанного процесса, но такая фиксация никак не объяснит ослабление тисков могущественных рабовладельцев – его вообще невозможно объяснить без подключения психологии. Я уже показывал, говоря о преображении Римской империи, служившей для всех этих столетий театральным задником, как мистический взгляд на достоинство человека должен был привести Европу именно к такому результату. Шагающие и говорящие столы или порхающие табуретки, вылетающие из окна без помощи крыльев, столь же представимы, как бессмертный раб. Но поскольку тут, как и везде, дух объясняет материальные явления, тогда как материальные явления не способны объяснить дух, процессы средневекового преображения имеют два чисто практических аспекта. Без их учета мы не сможем понять, как эта великая народная цивилизация была создана, равно как и была разрушена.

То, что мы сегодня называем мэнорами, изначально было поместьями языческих землевладельцев, населенными и возделываемыми рабами. В ходе процесса преображения, чем бы он ни объяснялся, произошло снижение требований, предъявляемых хозяевами к доходам с обрабатываемого рабами владения. Требование всего дохода уступило место требованию дохода только от части владения. Затем оно снизилось еще – до

определенных сборов или платежей в пользу хозяина. После их уплаты раб не только получал право на пользование землей, но и право на присвоение дохода от нее. При этом нужно помнить, что значительная часть, и притом наиболее важная часть, всей территории принадлежала аббатствам и магистратам. Они управлялись по законам мистического коммунизма, и их избранные главы часто сами были крестьянами по рождению. Люди могли рассчитывать не только на справедливость их опеки, но и на достаточную независимость от их беспечности.

Два обстоятельства тут особенно важны. Во-первых, раб долгое время носил промежуточный статус серва[289]. Это означало, что, хотя обработка земли по-прежнему оставалась для него обязанностью, земля уже в равной степени была и его союзницей. Раба не могли с нее изгнать, и даже ренту за землю, в отличие от нынешних правил, не могли повысить. Иначе говоря, пусть раб и находился в собственности хозяина, но тот его не мог выкинуть с обрабатываемого им угодья. Впоследствии серв сам стал маленьким хозяином в силу того, что им владел уже не сеньор, а сама земля. Вряд ли будет ошибкой предположить, что в этом случае (и это один из парадоксов того исключительного периода) сами оковы крепостничества работали на свободу крепостного.

Впрочем, новый крестьянин унаследовал кое-что от стабильности рабского состояния. Ему не было нужды биться в конкурентной схватке, в которой каждый пытался бы присвоить часть достояния соседа. Он приходил в мир, где соседи уже воспринимали его присутствие как норму, считали границы его владений естественными и руководствовались всемогущими обычаями, исключавшими любые попытки недобросовестной состязательности. Но вот фокус, который не вообразить и отъявленному фантазеру – этот узник иной раз оказывался управляющим собственной тюрьмы. Случались моменты, когда дословно исполнялось утверждение, гласящее, что дом англичанина – его крепость. По крайней мере, его дом оказывался достаточно прочным, чтобы служить ему темницей.

Другой важный момент: когда доход с поместья по обычаю стал распределяться так, что только часть отходила хозяину, все земли разделились в основном по двум типам владения. Одни сервы работали самостоятельно на собственных клочках земли, другие работали сообща, причем зачастую вместе с хозяином. Это разделение оформилось в чрезвычайно важное средневековое установление – общинную землю, существовавшую бок о бок с частными землями. Общинная земля была и альтернативой, и убежищем. Люди Средневековья, за исключением монахов, ни в

коем случае не были коммунистами, но так уж вышло, что коммунизм подспудно в них дремал. Сколь часто в мрачных и бесчеловечных картинах того периода, рисуемых нашими литераторами, описывается разорившийся крестьянин, уходящий в лес жить в норе изгоя. Но никто не описывает его уход на общинную землю, что было куда более частым явлением.

Средневековье верило в искупление – в починку сломанного человека. Точно так же, как эта вера одухотворяла совместную жизнь монахов, она пустила корни и на общинной земле крестьян. Для изгоев эта земля служила зеленым госпиталем, просторной ремонтной мастерской. Общинная земля вовсе не была бесплодной землей, и слово это вовсе не обозначало презрительно то, что мы теперь им называем – дикие заросли или пустоши на границах наших предместий. Она была запасным достоянием – точно так же как в амбаре делается запас зерна, – она удерживалась на балансе по доброй воле, как несъедаемый остаток на счете в банке. Эти запасы, сохраняемые на случай необходимости более здорового распределения собственности в общине, показывают человеку с воображением, что общество двигалось в сторону социальной справедливости и предпринимало для этого воистину нравственные усилия. Именно поэтому постепенное превращение раба в серва, а серва в крестьянина-собственника нельзя считать случайной эволюцией.

И если кто-то по-прежнему думает, что лишь слепая удача, а вовсе не стремление к свету справедливости повинна в том, что на месте сельского рабовладения зародилось крестьянство, ему следует обратить внимание на происходившие в те века сдвиги в прочих ремесленных областях и делах человеческих. Тогда, смеем надеяться, сомнения его покинут. Поскольку там он найдет все того же средневекового человека, задействованного в строительстве общественной системы, нацеленной именно на сострадание и стремление к равенству. Эта система не могла появиться случайно, точно так же как ни один из средневековых соборов не мог быть построен землетрясением.

За пределами производственной деятельности, связанной с сельским хозяйством, находились мастеровые и ремесленники, за деятельностью которых неусыпно следили уравнительные гильдии. Крайне сложно найти систему измерения, с помощью которой можно было бы оценить расстояние между этим цеховым устройством и современным обществом. Однако попытаемся восстановить строй тех давних отношений по еле заметным сохранившимся следам. Наша повседневная жизнь на поверку завалена осколками Средних веков, в частности – мертвыми словами, увы, потерявшими изначальный смысл.

Я уже приводил этот пример – вряд ли перед нами открывается картина христианского коммунизма, когда мы упоминаем общинные земли Уимблдона. Истинное значение рассыпалось – письмо разорвано, остались части слов на клочках. Загадочное сочетание букв «эск» – жалкий клочок, обессмысленный, но сохранившийся в ходе эволюции от рыцарства к снобизму. Нет ничего более несовместимого в историческом смысле, чем «эсквайр» и «сквайр». Первый термин прежде всего фиксировал неполноценную, испытательную роль оруженосца – рыцаря-головастика; второй термин соответствует полноценному, гарантированному статусу помещика – землевладельца и правителя сельской Англии в последние столетия. Наши сквайры-помещики приобрели свои поместья лишь после того, как утратили всякую охоту к зарабатыванию шпор в бою. Поэтому «эсквайр» не означает «сквайр», а «эск» не означает вообще ничего. Но оно присутствует в нашей эпистолярной традиции странной закорючкой, исполненной пером, нерасшифровываемым иероглифом, выведенным странным поворотом нашей истории, превратившим военную дружину в миролюбивую олигархию, а затем и просто в плутократию.

Похожие исторические загадки рассыпаны и в иных формах общественной адресации. Есть что-то одиноко-заброшенное в новом слове «мистер». В самом его звучании слышится булькающая тщедушность, показывающая, как основательно сдулось сильное слово, от которого произошел наш «мистер». Но предположить, что это произошло в результате простой замены звука, неверно. Я помню немецкую историю про Самсона, которому надоело скромное имя Симеона, потому что оно определенно указывало на его остриженность. Точно такое же *снижение громкости* звука сопровождает эволюцию «мастера» в «мистера».

Огромный, жизненно важный смысл слова «мастер» состоит в следующем. Гильдия представляла собой, если говорить очень общо, профсоюз, где каждый был собственным нанимателем. То есть человек не мог заниматься каким-либо ремеслом, пока не вступал в ремесленный цех и не принимал предписанные в отношении этого ремесла правила. Однако он работал в собственной мастерской своими инструментами и забирал себе всю выручку. Так что слово «наниматель» высвечивает неполноценность современности, если оно ныне стоит в синонимическом ряду со словом «мастер», что, конечно, совершенно неверно. Мастер – это абсолютно иное понятие, более высокое, чем босс. Некогда оно означало хозяина труда, теперь же

означает только начальника над рабочими.

Базовая характеристика капитализма состоит в том, что владелец судна не обязан знать, где у судна корма, владелец земель может вообще ни разу в жизни не увидеть поля, владелец золотой шахты интересуется только старыми побрякушками, а владелец железных дорог путешествует исключительно на дирижаблях. Капиталист может быть более успешным как бизнесмен, если его бизнес – еще и его хобби. Также он зачастую достигает успеха, если ему хватает здравого смысла поставить вместо себя управляющего. Однако в обоих случаях он контролирует дело именно как капиталист, а не потому, что у него есть такое хобби или здравый смысл.

Высшим званием в системе гильдий было звание мастера, магистра, и слово это означало мастерство в деле. Тот же термин был принят университетами -там средневековые руководители звались мастерами или магистрами искусств. Другими цеховыми званиями были подмастерье и ученик, однако, как и соответствующих званий в университетах, их мог добиться практически каждый. Речь не о классовом статусе – это именно заслуженные звания, а не касты. Об этом свидетельствуют частые случаи женитьбы ученика на дочери своего мастера. Мастера подобное совершенно не коробило – как нынешний мастер искусств не морщится от аристократической брезгливости, если его дочь выходит замуж за бакалавра искусств[290].

Когда мы переходим от строго образовательной иерархии к строго уравнительному идеалу, мы обнаруживаем остатки цеховой системы столь искаженными и бессвязными, что они кажутся смехотворными. Мы находим Ливрейные компании Лондонского Сити[291], унаследовавшие гербы и огромные богатства -по сравнению с богатством старых гильдий, – но больше не унаследовавшие ничего. Даже то хорошее, что можно в них приветствовать – это вовсе не то, что следует приветствовать в гильдиях.

В одном случае мы найдем что-то вроде «Почтенной компании каменщиков», в которой, нет надобности говорить, не найдется не только ни одного каменщика, но никого, кто был бы знаком хоть с одним каменщиком. Зато там есть старшие партнеры из некоторых крупных корпораций Сити и несколько любящих хорошую кухню вылинявших военных – в послеобеденных речах они обожают рассказывать друг другу о своих славных жизнях, посвященных кладке аллегорических кирпичей без сучка и задоринки. В другом случае мы обнаружим «Почтенную компанию белильщиков», заслуживающих это название благодаря тому, что многие из ее членов наняли

немалое количество специалистов для отбеливания своих репутаций.

Такие компании в больших масштабах занимаются благотворительностью, и очень часто это действительно полезная благотворительность. Однако ее цель сильно отличается от цели благотворительности старых гильдий. Вообще смысл гильдий состоял в том же, в чем и смысл общинной земли -в противостоянии неравенству, или, как, возможно, переформулирует некий серьезный субъект из старшего поколения, в препятствии эволюции. Эта цель обеспечивала не только сохранение и процветание ремесла каменщика, но и позволяла конкретному каменщику выжить и преуспеть. Она, выражаясь фигурально, стремилась восстановить развалины каменщика и обеспечить белильщику новое белое одеяние. Именно так: цель гильдий заключалась в том, чтобы тачать сапожников, как те тачают сапоги, и кроить закройщиков, как те кроят одежду, – то есть укреплять слабое звено. Если совсем коротко: гильдии держали ряд маленьких лавок, как строй в битве, и препятствовали росту больших магазинов, как росту дракона.

Теперь даже белильщики в компании белильщиков не претендуют на роль защитников маленьких лавок от угрозы поглощения их большими и, конечно, ничего для этого не предпринимают. Единственное, что они могут сделать для разорившегося белильщика – выдать компенсацию, но они не в состоянии ни восстановить его дело, ни восстановить его статус в производственной системе. Сколько заботы проявляется по отношению к группе, столько же равнодушия мы наблюдаем по отношению к отдельной жизни. Кстати, в соответствии с самой последней эволюционной теорией уже сами эти группы должны быть уничтожены.

Старые гильдии, преследуя цель равенства, разумеется, требовали единый по всей цеховой структуре уровень оплаты и вознаграждений – именно за это в основном и предъявляют претензии к нынешним профсоюзам. Но кроме того, гильдии требовали -и профсоюзы на это неспособны – высокого качества ремесла, которое до сих пор поражает мир, сохранившись где собором среди современных доходных домов, где витражом среди безликих окон. Не найдется ни художественного критика, ни художника, сколь бы далек ни был его стиль от готической школы, не согласного с тем, что это было время безымянного, но всеохватного художественного духа, стремящегося к украшению любых сторон жизни. Случай сохранил для нас трости, стулья, горшки и сковородки, чьи формы намекают, что ими владели не

черти, но эльфы. И если их сравнить с изделиями последующих времен, изживших цеховой дух, то кажется, что эти вещи произвели мастера волшебной страны свободного труда.

Самые средневековые из нынешних учреждений -профсоюзы – не сражаются за этот идеал эстетического совершенства. Насколько это верно, настолько и печально. Но предъявлять обвинения профсоюзам на этом основании значит не понимать масштаба всей трагедии. Профсоюзы – это объединения людей без собственности, пытающихся восполнить ее отсутствие своей многочисленностью и необходимостью своего труда для общества. Гильдии же были объединениями людей с собственностью, пытающимися гарантировать права каждого своего члена на обладание этой собственностью. Кстати, подобная гарантия – единственное условие, при котором собственность может уверенно существовать.

Нелепо заводить речь о сообществе негров, в котором большинство людей – белые, зато редкие негры велики ростом. Нам трудно представить сообщество женатых мужчин, где большинство мужчин холосты, зато у трех есть гаремы. Сообщества женатых мужчин – это сообщества, где большинство мужчин женаты, а не сообщества, где некоторые мужчины - многоженцы. Точно так же имущее сообщество – это сообщество, где у большинства людей есть собственность, а вовсе не сообщество неимущих с участием нескольких капиталистов.

Впрочем, наделе члены гильдий (как и в каком-то отношении сервы, полусервы и крестьяне) были куда состоятельнее, чем может быть выведено из того факта, что гильдии обеспечивали защиту домовладения, собственности на средства производства и даже уровня оплаты труда. Степень этого богатства становится самоочевидной при изучении цен того времени, даже при учете всех поправок, которые необходимо сделать, чтобы отразить неравнозначную ценность использовавшихся монет. Если человек мог получить гуся или галлон эля за одну или две самых маленьких и распространенных монеты, не так уж важно, как эти монеты назывались. Там, где индивидуальное богатство было жестоко ограничено, коллективное богатство было очень велико – богатство гильдий, муниципальных общин и особенно монастырей. Этот факт важно помнить, когда мы перейдем к дальнейшей истории Англии.

Также следует отметить, что средневековые местные органы власти выросли именно из таких структур, как система гильдий, а не из структур центральной власти. Повествуя о здоровых правилах этого утраченного общества, я не хотел бы, чтобы у кого-то возникло впечатление, будто я скорблю о потерянном рае

или питаю иллюзии, будто общество это было свободно от ошибок, склок и скорби, преследующих человеческую жизнь во все времена, не исключая нынешние. С гильдиями связано довольно много недовольства и неурядиц. Взять хоть неутихающую вражду между гильдиями торговцев, продававших вещи, и ремесленников, которые эти вещи производили, причем в этом конфликте последнее слово, как правило, оставалось именно за ремесленниками. Но кто бы ни добивался преимущества, все равно именно главы гильдий становились главами городов, а не наоборот.

Явные последствия этого когда-то совершенно естественного учреждения власти можно увидеть и теперь в необычных взаимоотношениях лорда-мэра и Ливрейных гильдий Лондонского Сити. Нам столь долго втолковывали, что правительства во времена наших предков покоились на силе оружия, что самое время предъявить тот весьма понятный, совершенно будничный тип правительства, который целиком покоился на силе рабочих инструментов. Правительство, где скипетром служило орудие рабочего.

Блейк, в одной из своих символических фантазий, полагал, что в золотом веке золото и жемчуга покинут рукоять меча и переместятся в рукоятку плуга. Что-то весьма похожее действительно произошло в краткий временной промежуток средневековой демократии, вызревшей под коркой средневековой монархии, – тогда рабочие инструменты и впрямь становились элементом пышной геральдики.

Добавлю еще два коротеньких пункта, и грубый набросок этого ныне чуждого и едва ли не фантастичного общественного устройства будет закончен. Оба они относятся к связям между народной жизнью и политикой, обычно заменяющей собой всю историю.

Первый, и для нашего времени самый доказательный пункт, – это хартии. Возвращаясь к параллелям с профсоюзами, которые хорошо знакомы современному рядовому читателю, хартии гильдий в принципе можно соотнести с тем «признанием», которого железнодорожники и активисты других профсоюзов добивались от нашего правительства несколько лет назад, причем безуспешно. При помощи хартии гильдии получали статус, подтвержденный королем, центральным или национальным правительством. Это придавало им значительный моральный вес в глазах средневековых людей, которые в массе своей воспринимали свободу как «свободу для», а не «свободу от». В их представлениях не было ничего от современного романтизма, сделавшего синонимом свободы одиночество. Их взгляды

запечатлены в формуле, по которой человеку дается свобода от имени города, – желания получить свободу от имени пустоши не возникало.

Упоминать, что гильдии пользовались также и поддержкой церкви, кажется, уже излишне. Религия вплеталась красной нитью в грубую ткань всех народных начинаний, пока они были действительно народными, поэтому многие ремесленные сообщества обзаводились святым покровителем еще до того, как получали королевскую печать.

Второй пункт, подтверждающий существование самоорганизованного муниципального управления, заключается в том, что лидеры этой низовой власти были избраны в последнее и величайшее из средневековых детищ – парламент. Мы все читали в школе, что Симон де Монфор и Эдуард I, превратив Палату общин в совет, дающий главным образом рекомендации по вопросам местного налогообложения, призвали в него по «два бёрджеса» от каждого города. Если мы потрудимся присмотреться, то эти заезженные слова раскроют нам тайну утерянной средневековой цивилизации. Надо только поинтересоваться, кем же были «бёрджесы», эти горожане, и где они водились. А поинтересовавшись, мы обнаружили бы, что Англия сплошь состояла из маленьких парламентов, представители которых и были собраны в большой парламент.

Как же получилось, что верховный совет (все еще называемый в припадке архаизма старым титулом «Палата общин») – единственный из всех этих народных или выборных сообществ, о котором мы знаем из наших книг по истории? Если вас интересует эта загадка, то мне известна разгадка. Боюсь только, что эта разгадка будет немного грустной. Дело в том, что парламент оказался единственным из всех средневековых творений, которое в итоге решилось предать и уничтожить все остальные.

IX. Национальность и столетняя война

Для тех, кто захочет узнать, что мы имеем в виду, когда говорим о христианском мире, представлявшем собой единую культуру или единую цивилизацию, есть весьма простой путь удовлетворить свое любопытство. Надо всего лишь поинтересоваться, какой смысл в ряду самых обычных или, скорее, самых заурядных случаев из всех возможных закладывается в слово «христианский». Увы, в наши времена есть масса возможных вариантов. Иногда «христианский» означает «евангелический». Иногда-чаще -«квакерский». А порой слово «христианский» прилагается к скромному человеку, верящему, что он чем-то похож на Христа.

Однако долгое время у этого слова существовал определенный и широко распространенный среди обычных людей смысл – он подразумевал тип культуры или цивилизацию. Бен Ганн из «Острова сокровищ» не говорил Джиму Хокинсу: «Я чувствую, что утратил связь с определенным типом цивилизации», он сказал: «Как стосковалось мое сердце по христианской еде!» Пожилые сельские дамы, оценивая леди с короткой стрижкой и в брюках, тем более не скажут: «Мы усматриваем разницу между ее культурой и нашей». Они скажут: «Почему она не оденется как христианка?»

Подобные замечания, вплоть до самых наивных и даже глупых придирок, и есть ответ на вопрос: христианский мир – вещь абсолютно реальная. Однако эта вещь всегда была привязана к определенному месту, особенно в Средние века. И эта жизненная привязка к конкретной местности христианской веры и христианского мироощущения привела к чрезмерному, исключительному провинциализму. Бывало даже так, что между собой враждовали два храма одного и того же святого, а две статуи одного и того же небесного покровителя могли сойтись в дуэли. Трудный долг зовет нас проследовать этим путем, в результате которого между европейскими народами возникло ощутимое отчуждение – люди почувствовали, что иностранцы едят и пьют не как христиане. Когда это чувство было разложено на философские фракции, появилась возможность усомниться: а христиане ли иностранцы?

На этом пути встречалось много что еще. Если внутренняя структура средневекового общества была местной и народной, то в более масштабных проявлениях, особенно внешних сношениях вроде мира и войны, главная роль (разумеется, не безраздельно) принадлежала монарху. Чтобы осознать, что стали значить к тому

времени короли, мы должны бросить взгляд назад, на темный, предрассветный фон, на котором уже начали прорисовываться первые фигуры нашей истории. Этот фон – война с варварами. Пока эта война шла, христианский мир был не то что одной нацией, он был как бы одним городом – и городом осажденным. Уэссекс олицетворял одну из стен этого города, а Париж – одну из башен, на одном и том же наречии пламенного духа Беда Достопочтенный записывал события осады Парижа, а Аббон II[292] из Меца пел песню об Альфреде.

Затем началось завоевание и обращение. Конец Тёмных веков и начало Средневековья – время евангелизации варварства. Парадокс Крестовых походов заключался в том, что сарацины внешне были цивилизованнее христиан, поэтому здоровым инстинктам миссионерства здесь сопутствовал дух разрушения.

В более простом случае северного язычества цивилизация распространялась легче. Тем не менее народ Пруссии – дикого края, лежащего за Германией – был крещен лишь к концу Средних веков, уже на пороге Реформации. Если бы нашелся болтун, который позволил бы себе богохульное сравнение христианизации с вакцинацией, он мог бы высказать предположение, что по какой-то причине она уже тогда «не срабатывала».

Опасность со стороны варваров постепенно, шаг за шагом, сходила на нет. Даже в случае ислама -враждебные силы хоть и не были сокрушены, но над ними был установлен контроль. Крестовые походы, оказавшись безуспешными, стали теперь и ненужными. Как только внешняя угроза исчезла, князья Европы, ранее вместе противостоявшие ей, остались один на один друг с другом и вдруг обнаружили, что их собственные земли вовсе не однородны, напротив – пребывают в конфликте между собой. Это естественным образом приводило к признанию прав на владение недействительными, или же к мелким мятежам.

В подобной возне не было подлинного созидательного творчества, о котором мы говорили в главе о самоуправлении и жизни на местах – именно они вели к естественному социальному строительству. Царствующие особы осознавали себя некими полноправными представителями, но не знали точно, кого именно они представляют. Многие короли, настаивавшие на своих генеалогических древах или списках деяний предков, обнаруживали, что вокруг подобных древ – целые леса, и каждая область поет песни о собственных героях. В Англии этот переход от внешней ориентации к внутренней едва ли не случайно возвел на трон одного из благороднейших представителей всех Средних веков.

Эдуард I явился во всем блеске своей эпохи. Он надевал плащ крестоносца и сражался с сарацинами.

Он оказался единственным достойным противником Симона де Монфора в баронских войнах, бывших, как мы еще увидим, первым вестником (пока довольно смутным) того нешуточного вызова, который утверждал, что Англией должны править ее бароны, а не ее короли. Он продолжил, как и Симон де Монфор, причем более решительно, развитие великого средневекового учреждения – парламента. Как я уже писал, парламент был возведен на опорах уже существующей общинной демократии и сперва представлял собой всего лишь собрание призванных местных представителей, которые занимались вопросами взимания местных податей. Его зарождение совпало с зарождением того, что мы называем налогообложением, так что именно здесь находятся ростки идеи, положенной в основу его позднейших претензий на исключительное право определять и брать налоги.

Но сначала парламент был просто орудием наиболее беспристрастных королей, и в первую очередь -орудием Эдуарда I. Король часто спорил со своим парламентом, однако в целом он был в высшей степени представительным сувереном. С этим связан один из самых любопытных и непростых вопросов, который следует тут рассмотреть, поскольку он свидетельствует о конце истории, начавшейся при нормандском завоевании.

Совершенно очевидно, что Эдуард I никогда столь наглядно не проявлял себя как представительный король, можно даже сказать республиканский король, чем в те времена, когда изгнал евреев. Эта проблема настолько ныне неверно понимаема и настолько замутнена взглядами, содержащими лишь глупую злобу по отношению к этой одаренной и исторически значимой расе, что нам придется сделать паузу на целый абзац.

Евреи в Средние века были столь же влиятельны, сколь и непопулярны. По существу, они – капиталисты того времени, люди, чье богатство было в наличии и готово к использованию. Поэтому выглядит вполне логично, что именно в таком качестве они могли оказывать услуги, следовательно, и путь их использования был вполне определен. Абсолютно справедливо утверждение, что их использовали, прибегая к дурным методам. Речь не о дурных методах того сорта, который часто упоминается в романах и в основном вращается вокруг истории о вырванных зубах[293]. Те, кто эксплуатирует эту историю про короля Иоанна, вряд ли задумываются о том существенном факте, что на самом деле она нацелена против короля Иоанна. История сомнительна сама по себе, но сам факт ее появления говорит, что такой

случай, если бы он и имел место, был бы исключительным и воспринимался бы обществом скорее как позорный.

Несправедливость реального положения евреев была куда глубже и куда печальнее для этого чувствительного и высоко цивилизованного народа. Можно аргументировано доказать, что христианские короли, знать и даже христианские священники и епископы использовали для христианских целей (таких, как Крестовые походы и строительство соборов) деньги, которые возможно было собрать в те времена лишь при помощи ростовщичества, постоянно порицаемого как презренная нехристианская практика.

Затем, когда пришли более тяжелые времена, власти предоставили евреев ярости бедноты, которая и разрушила «полезную» систему ростовщичества. Вот тут и оформилось подлинное положение еврея, и нет сомнений, что он действительно чувствовал себя угнетенным. К сожалению, положение самих христиан было таково, что они, приблизительно по тем же причинам, сами воспринимали еврея как угнетателя. Эти взаимные обвинения в тирании сопровождали еврейский вопрос во все времена.

Определенно, тогда в народных настроениях антисемитизм выглядел не как жестокосердие, а, напротив, как стремление к милосердию. Чосер вложил в уста мягкосердечной настоятельницы, зарыдавшей при виде мыши в мышеловке, проклятия в адрес жестокости евреев. А Эдуард нарушил правила, по которым властители до той поры берегли богатство своих банкиров, и изгнал инородных финансистов со своей земли. Именно тогда его народ, скорее всего, и узрел в своем короле образ странствующего рыцаря и заботливого отца для своих подданных.

Каковы бы ни были качества Эдуарда, проявленные им в отношении семитского вопроса, в остальном описанный выше образ короля соответствует истине. Он принадлежал к самому справедливому и совестливому типу средневекового монарха. Именно эти его качества вызвали к жизни новую силу, которая встала на его пути и возбудила распрю, его сокрушившую. Хотя он и был справедливым, но он не мог преступить закон, а закон и справедливость – вещи разные.

Не следует забывать, что в те времена большая часть споров о короне была именно спорами юридическими. Решение династических и феодальных вопросов просто не могло быть произведено как-то иначе. Именно это обстоятельство и привело к тому, что Эдуарда попросили выступить арбитром, дабы рассудить двух враждующих претендентов на корону

Шотландии[294]. И надо признать, что он судил достаточно честно.

Но ход его законнической мысли, или, как мы сказали бы сейчас, педантичный склад ума, привел к возникновению оговорки, следуя которой шотландский король, сохраняя титул, переходил теперь под его сюзеренитет. Возможно, Эдуард так никогда и не понял, что за новая сила поднялась против него. У этой силы тогда просто не было имени. Но сегодня мы зовем ее национализмом.

Шотландия оказала сопротивление. Приключения поставленного вне закона рыцаря по имени Уоллес[295] вскоре были оформлены в народном сознании как одна из тех легенд, важнее которых ничего и нет в истории. Тем же образом и столь же практично католическое священство Шотландии сделалось чем-то вроде патриотичной антианглийской партии. Таким оно и оставалось долгое время – даже после реформации. Уоллес был схвачен и казнен, но вереск уже разгорелся. Свидетельство того – поддержка новой национальной идеи одним из рыцарей Эдуарда по имени Брюс, хотя старому королю это и показалось всего лишь предательством феодальных представлений о справедливости.

В итоге король умер, подступив во главе армии к самой границе Шотландии. Последней волей короля было распоряжение похоронить его останки на поле битвы. Кости, действительно гигантских размеров, и впрямь были обнаружены под плитой с эпитафией «Здесь лежит Эдуард Длинноногий, который был молотом шотландцев». Это очень верная эпитафия, но ее смысл оказался в точности противоположен намерениям Эдуарда. Он был молотом, но он не расплющил, а создал шотландцев. Он бил их на наковальне и выковал из них меч.

Совпадение это или закономерность, но нельзя не заметить, насколько часто на протяжении истории (по разным причинам) нашим наиболее сильным королям не удавалось передать власть спокойно, без смут и волнений. И в этот раз царствование наследника Эдуарда сотрясли ссоры баронов, в результате которых северное королевство, управляемое Брюсом, наконец-то освободилось от зависимости[296], выиграв битву при Бэннокбёрне[297].

Тем не менее этот период распрей длился недолго, вслед за этим на престол взошел человек, в котором, как мы увидим, национальная традиция получила дальнейшее развитие. Столетняя война, на полях которой Англия снискала столько славы, началась при Эдуарде III и со временем становилась все более и более националистической.

Чтобы почувствовать этот вектор, нам следует знать, что

третий Эдуард предъявил Франции практически такие же юридические и династические претензии, какие первый Эдуард предъявил Шотландии. Они были менее весомы по существу, но формально столь же четко соответствовали признанным правилам. Эдуард III полагал (или только так утверждал), что заявляет свои права на королевство, как помещик заявляет права на поместье. Внешне все было похоже на спор английских и французских законников.

Если читатель подумает, что в ту пору народ покупали и продавали, как овец, то он просто не разобрался в сути вещей, характеризующих период Средних веков. У овец нет профсоюзов. Английские войска обязаны подавляющей частью своей мощи классу свободных йоменов. Успех пехоты, в особенности лучников, – это заслуга не аристократических дружин, а народных подразделений, которые уже сбросили с коней высокое французское рыцарство при Куртре.

Дело вот в чем: пока юристы спорили о салическом законе[298], солдаты, совсем недавно говорившие о законах гильдий или законах церкви, теперь уже говорили об английских законах и французских законах. Французы были первыми, кто оказался способен выглянуть за ограду городских стен, ремесленных братств, феодальных повинностей или деревенской общины. Развитие истории доказывает, что французы раньше остальных начали называть свое национальное государство Великой страной. Французы первыми сформировались как нация, став эталоном для прочих наций – просто первая нация и ничего сверх того.

Однако в противоборстве с французами англичане стали столь же едиными. Подлинное патриотическое воодушевление ознаменовало победы при Креси и Пуатье и уж точно предопределило позднейшую победу при Азенкуре[299]. Последняя одержана уже после фазы внутренних революций в Англии, которые будут рассмотрены ниже. Но и рост французского национализма отнюдь не прерывался в это время, как не прерывалось и развитие английского самосознания, не остановившееся после Азенкура.

Это самосознание обрело голос в грубых и страстных балладах еще до эпохи великих елизаветинцев. Шекспировский «Генрих V» не совпадает с историческим Генрихом V, но в определенном смысле он у Шекспира даже более исторический. Генрих V у него не только разумнее и одареннее, он еще и более значим как личность. Для народного предания самое значимое в этой истории было связано не с Генрихом, а с тем простым людом, что вдруг из Генри стал Гарри. В армии под Азенкуром

была тысяча Гарри, а вовсе не один Генрих.

Фигура, которую Шекспир извлек из преданий о великой победе, – это как раз тот образ англичанина Средних веков, каким он представлялся в воображении простых людей. Конечно, он не говорил стихами, как шекспировский герой, хотя был и не прочь. Не умея выражаться стихами, он пел, и английский народ в целом запомнился впечатлительным современникам как поющий народ. Англичане были не только несдержанными, они были склонны к преувеличениям – не только в битве они «натягивали длинный лук». Прекрасные фарсовые образы, давшие жизнь потешным песням, и народная речь английской бедноты наших дней – родом из тех лет, когда Англия только-только нарождалась как нация. Впрочем, под давлением экономического прогресса современные бедняки частично утратили свою обычную веселость – им удалось сохранить в целости только юмор. Но в пору весны патриотизма новая общность государства была еще сравнительно легким бременем. Сапожник из армии Генриха, который, останься он дома, в первую очередь подумал бы, что на носу День святого Криспина, покровителя сапожников[300], вполне мог искренне радоваться бессилию французских копий перед тучей английских стрел и кричать: «Святой Георгий за веселую Англию!»

Человеческие установления – неприятно сложная штука. Для патриотизма это время было весной, а вот для средневекового общества – осенью. В следующей главе я попытаюсь проследить за движением тех сил, которые в итоге разрушили эту цивилизацию. Но даже здесь, после первых побед, уже чувствовались горечь и бесплодность амбиций, которые в дальнейшем, когда Столетняя война стала откровенно затягиваться, только усиливались.

Франция в те годы была куда менее благополучна, чем Англия. Опустошенная изменами знати, она страдала от слабости своих королей так же сильно, как и от вторжения островитян. Но в самой отчаянной, самой унизительной ситуации, когда, казалось, небеса готовы были погаснуть над Францией, на нее пролился свет, который даже самому холоднокровному из историков трудно трактовать иначе, как чудо.

Может быть, именно это явленное чудо и утвердило своей священной санкцией национализм. Можно предположить, хотя развивать здесь эту тему не слишком уместно, что в великом нравственном перевороте, преобразившем Римскую империю в Христианский мир, было что-то сверхъестественное, сродни чудесному. Благодаря этому чудесному каждое великое деяние, явленное впоследствии к жизни, получало своего рода крещение, а с ним и обещание или по крайней мере надежду оказаться крестником вечности. Даже идеи семейных установлений теперь

апеллировали к бессмертию. Что-то подобное, к примеру, случилось с браком, превратившимся из контракта в таинство. Но как бы то ни было, даже для самых отпетых адептов светской государственности наших дней очевидно, что их отношения с родной землей не договорные, а священные.

Мы можем говорить, что флаги – это тряпки, что границы – выдумка. Но те самые люди, которые твердили это полжизни, сейчас умирают за тряпку или оказываются разорванными на куски за выдумку – прямо сейчас, когда я пишу эти строки. Стоило трубе войны протрубить в 1914 году, как современное человечество тут же сгруппировалось в нации. Это произошло за миг до того, как ученые готовы были объявить об открытии, что время наций прошло. Если подобный зов трубы мы слышим уже тысячу лет и отвечаем на него обостренным национальным чувством, то ни одному разумному человеку не придет в голову искать вокруг какие-либо признаки, подтверждающие предположение, что со дня надень человечество поступит как-то иначе. Но даже если это великое и странное брожение национального духа когда-нибудь и завершится, ощущение его присутствия еще долго нас не оставит.

Трудно дать определение верности, но возможно, мы приблизимся к сути дела, если скажем, что это такая штука, которая действует в условиях неотменяемых обязательств. Для патриота минимальное требование к долгу или порядочности равно тому, что у человека с самыми сверхъестественными взглядами на брак почитается требованием максимальным. Общепризнанная практика патриотизма – это не просто гражданство. Общепризнанная практика патриотизма реализуется и в горе, и в радости, и в богатстве, и в бедности, и в болезни, и в здравии, и в национальном росте и славе, и в национальном позоре и упадке. Она заключается не в том, чтобы путешествовать на корабле-государстве пассажиром, но в том, что – если потребуется, – надо будет пойти вместе с кораблем ко дну.

Нет необходимости снова рассказывать предание об этом эпизоде, похожем разом на потоп и извержение вулкана. Он расчистил землю и небо и затмил сумятицу и унижение корон, явив в роли предводителя женщину из народа. Она была – в своем пожизненном одиночестве – французской революцией. Она доказала, что истинной силой были не французские короли или французские рыцари, но французы. Она на самом деле не видела над собой ничего, кроме неба, и никого, кроме Бога. Она жила жизнью святой и умерла смертью мученицы.

Возможно, именно так она утвердила новое национальное чувство – печатью святости. Она ведь сражалась за уже

побежденную страну, и в тот момент, когда поверила в свою победу, оказалась побеждена как человек. Но этот факт относится к темной стороне явления, о котором я пишу – он даже пессимизм наполняет патриотизмом. Поэтому здесь более уместно рассказать о том, как эта жертва повлияла на мифы и реалии Англии.

Я никогда не считал патриотичным лакировать свою страну законными, но неубедительными похвалами. Однако трудно понять Англию, если не попытаться понять ее в тех случаях, в которых мы со всей очевидностью были неправы. Именно в эти моменты у Англии сформировалась интересная особенность, весьма необычно проявляющая себя в дни ее правоты. Никто из наблюдателей, которые честно сравнивают нас с другими народами, не станет утверждать, что мы умышленно препятствуем возведению гробниц для тех пророков, которых побили камнями, равно как и для тех, кто побивал камнями нас.

Английской исторической традиции присуще то отрадное благоразумие, которое вразумляет нас и в итоге доводит до благодарности не только великим иностранцам, но даже великим врагам. Часто Англия вместе с великой несправедливостью обнаруживает и нелогичное великодушие – да, порой мы из-за простого невежества подвергаем гонению великих людей, но одновременно мы способны отнестись к ним с сердечным восхищением, как к героям.

Тому есть несколько примеров вдобавок к уже приведенным в этой главе. Наши книги запросто могут представить Уоллеса человеком куда более достойным, чем он был в действительности. Они могут через некоторое время сделать дело Вашингтона значительно благороднее и романтичнее, чем у того в действительности вышло на деле. Теккерей высмеивал сцену в романе мисс Джейн Портер, где Уоллес, отправляясь на войну, рыдал в батистовый носовой платок, однако ее отношение к фигуре Уоллеса было куда более английским и, возможно, более точным – ее вариант идеализации ближе к правде, чем собственные представления Теккерея о Средневековье как о времени лицемерных свиней-в-броне.

Эдуард – тиран в ее представлении – мог рыдать от сострадания. Весьма вероятно, что и Уоллес был на это способен, вне зависимости от наличия или отсутствия носового платка. Более того, ее роман оказался реалистичным – это реальность национализма. И она больше знает о шотландских патриотах, живших за много веков до нее, чем Теккерей знает об ирландских националистах, которые находились у него перед носом. Теккерей был человеком великим, но в том отношении, о котором

мы говорим, он был маленьким, почти невидимым.

Случаи Уоллеса и Вашингтона упомянуты здесь лишь для того, чтобы показать наше эксцентрическое великодушие, которое уравновешивает некоторые из наших предубеждений. Мы сделали много дурацких вещей, но также и одну неплохую – облагородили наших злейших врагов. Если мы сделали это с наглым шотландским налетчиком и крепким виргинским рабовладельцем, то это по крайней мере доказывает, что мы не откажем в высокой оценке единственной фигуре, оставшейся незапятнанной в пестром месиве превратностей Столетней войны.

Я верю, что в современной Англии есть что-то вроде всеобщего согласия по этому вопросу. Мы знаем великого английского критика, написавшего книгу об этой героине в качестве ответа великому французскому критику – единственно потому, что тот воздал ей не все должное. И я совершенно не верю, что сегодняшний англичанин, если бы у него появился шанс оказаться англичанином того времени, не отверг бы свой шанс двинуться коронованным завоевателем во главе копейщиков Азенкура. Если бы он оказался тем английским солдатом из общины, о котором рассказывает предание, он бы сломал свое копье пополам и связал бы из обломков крест для Жанны д’ Арк.

X. Война узурпаторов

Поэт Поуп[301], друживший с величайшим из демокра-тов-тори Болингброком[302], жил в мире, где торизму приходилось быть виговским. А виги даже нарочно никогда не выражали своих взглядов яснее, чем они выражены в строке Поупа, гласящей: «Божественное право королей – править плохо». Однако, когда я перейду к означенному периоду, то не стану, подобно Филмеру[303] и некоторым педантичным кавалерам, прикрывать настоящее неразумие божественного права.

Они несли в мир нереализуемую идею «непротивления» любой национальной и легитимной власти, хотя эта идея и не была столь же рабской и суеверной, как более современная идея «непротивления» даже иностранной и беззаконной власти. Однако XVII век был веком сект, то есть временных увлечений, и последователи Филмера оказались временно увлечены божественным правом, хотя его корни куда древнее – они религиозные и в то же время реалистичные. Несмотря на то, что божественное право перепуталось со многими другими, зачастую противоречащими друг другу, учениями из Средних веков, его ветви пронизывают все изменения в обществе, которые мы сейчас рассмотрим.

Начнем с цитаты из Поупа, хотя философская сторона ее содержания выглядит довольно слабой. «Божественное право королей – править плохо» – это и насмешка, и одновременно уклонение от истинного значения слова «право». Иметь право сделать что-то – вовсе не означает сделать что-то правильно. Ровно то же самое, что Поуп в сатирическом ключе сказал о божественном праве, мы вполне серьезно можем сказать о человеческом. Если у человека есть право проголосовать, разве у него нет права проголосовать неправильно? Если мужчина имеет право выбрать себе жену, разве не может он выбрать не ту жену? У меня есть право выражать свое мнение, которым я прямо сейчас и пользуюсь, но я бы поостерегся высказывать опрометчивое суждение, что это доказывает, будто моя точка зрения истинна.

Средневековая монархия, бывшая лишь одной из составляющих средневекового способа управления, в грубом приближении может быть очерчена мыслью, что правитель имеет право править точно так же, как наш избиратель имеет право голосовать. Он может править и плохо, но пока он делает это не совсем ужасно и катастрофически плохо, он остается на своей точке правоты – точно так же, как частное лицо остается в праве вступать в брак или совершать иные неразумные деяния, пока не

сойдет с ума окончательно и не сделается опасным для окружающих. Конечно, наделе все выглядело не настолько примитивно – Средние века отнюдь не были зажаты в тиски столь популярной в современных выдумках о них железной дисциплины.

В действительности Средневековье было очень противоречивым, а стало быть, очень сложным. Именно поэтому так просто, выдергивая один термин из связки прочих, вроде «божественного права» или «первого среди равных», утверждать о Средних веках все, что в голову взбредет. Некоторые, к примеру, вполне серьезно настаивали, что тогда все были германцами.

Однако утверждение, что влияние церкви, хотя и далеко не всех великих церковников, поощряло зарождение представлений о таинстве власти, – верно. В этом случае монарха склоняли к решительным действиям, и как следствие – человека превращали в тирана. Недостатки правления, граничащего с деспотизмом, достаточно очевидны. А вот его полезные черты стоит попытаться рассмотреть внимательнее, причем не ради простого любопытства, а ради понимания той истории, которую придется рассказать.

Польза «божественного права», или неотъемлемой легитимности, состоит в следующем: оно служит ограничением для замыслов богатых. «Roi ne puis»[304], королевская власть могла быть или могла не быть властью рая, но в одном аспекте она была похожа на райскую власть – она была не для продажи. Конституционные моралисты часто говорили, что тиран и толпа схожи в пороках. Однако они редко замечали, что тиран и толпа демонстрируют и схожие достоинства, причем весьма решительно. Одна из добродетелей, которой они особенно щедро делятся, заключается в отсутствии снобизма – и тирану, и толпе совершенно безразлично, что там в чести у богатых.

Действительно, тирания иной раз воспринималась как нечто, пришедшее из рая. В менее возвышенном и более буквальном смысле – как нечто упавшее с небес. Благодаря этому никто не помышлял стать королем, как не помышлял стать западным ветром или утренней звездой. И ни один даже самый богатый и алчный мельник не мог приковать ветер, чтобы тот вращал лопасти только его мельницы. Ни один педант-ученый не мог приспособить утреннюю звезду как персональную лампу для чтения. Однако нечто в этом роде как раз и произошло в Англии на закате Средних веков. Первым знаком перемен, похоже, стало падение Ричарда II[305].

Шекспировские исторические пьесы иногда выглядят достовернее, чем сама история, поскольку опираются на

предание, на живую память об определенных вещах, сохранившуюся в народном сознании, в то время как память об остальном была утрачена. Шекспир оказывается прав, когда делает Ричарда II воплощенной претензией на божественное право, а Болингброка – воплощением устремлений баронов, которые в итоге сломали старый средневековый уклад. Но божественное право к тюдоровским временам подвялилось и уже не выглядело столь непререкаемым. Шекспир не мог восстановить свежее народное восприятие этого понятия, поскольку сам жил уже в пору самой поздней стадии процесса *ужесточения* - главного понятия при изучении позднего Средневековья. При этом вполне возможно, что Ричард действительно оказался капризным и упрямым принцем, тем самым слабым звеном в крепкой цепи Плантагенетов, которое готово было порваться.

Доводы против государственного переворота, который он устроил в 1397 году, вполне основательны. Его ближайший родственник Генри Болингброк и впрямь мог испытывать сильное разочарование от его действий, когда в 1399 году устроил первую узурпацию власти в английской истории. Но если мы надеемся понять ту воистину всепроникающую традицию, которая ко временам Шекспира оказалась почти утраченной, мы должны оглянуться на то, что случилось с Ричардом в первые годы его правления. То событие действительно было величайшим в его царствовании – возможно, это было даже величайшее из событий, сопровождавших все царствования, рассматриваемые в этой книге. Простой английский народ, люди труда вдруг подняли руки на своих хозяев. Возможно, такое случилось в первый и уж точно в последний раз в нашей истории.

Языческое рабство исчезало медленно, потому что исчезало не из-за распада, а постепенного преобразования во что-то лучшее. Однако в одном смысле оно не только не исчезло, но, скорее, дало ростки. Рабовладелец той переходной поры был похож на хозяина, который ставил рядком палки, чтобы получился забор, и вдруг обнаруживал, что палки пустили корни, дали почки и вообще уже похожи на небольшие деревца. Эти деревца, в отличие от палок, разом оказывались более значимыми и не такими легкими в манипуляциях, но главное – менее подвижными. Именно это отличие между палкой и деревом и есть точь-в-точь отличие между рабом и сервом – и даже свободным крестьянином, в которого серв, как выяснилось, быстро превращался. Происходила, в лучшем смысле этого избитого оборота, общественная эволюция, но она несла в себе одно великое зло.

Зло состояло в том, что, хотя развитие шло по определенной логике, оно тем не менее оставалось вне рамок закона. То есть равноправие в общинах по факту уже было весьма развитым, но при этом не настолько, чтобы воплотиться в букве закона. Поэтому своего рода неписаный обычай, вроде британской конституции (этой эволюционной, но не вполне уловимой сущности), в любой момент мог быть оспорен богатыми, отныне даже своими каретами управлявшими при помощи актов парламента.

С юридической точки зрения, новые крестьяне по-прежнему оставались рабами, и им довелось узнать об этом после очередного поворота колеса фортуны, одного из тех, которые разрушают глупую веру в здравый смысл неписанных конституций. Столетняя война постепенно переросла в такое же бедствие для Англии, каким она была для Франции. Англию ограбили ее собственные победы. Роскошь в верхах и нищета в низах общества умножились. Равновесие лучшей фазы Средневековья было утрачено по вине процесса, о котором я расскажу в следующей главе.

В довершение бед беспощадная чума, прозванная Чёрной Смертью, как взрывная волна прошла по земле, кося население и обращая плоды трудов в руины. Ощутимой стала нехватка рабочей силы, возник дефицит производства предметов роскоши – и тут великие властители сделали именно то, чего от них и следовало ожидать. Они обернулись правоведами, ухватившимися за букву закона. Они обратились к постановлениям, морально уже устаревшим, чтобы вернуть сервов назад, к формам рабства времен Тёмных веков. Затем они объявили о своем решении народу. И народ взялся за оружие.

С Уотом Тайлером[306] связаны две волнующие истории: первая – сомнительная, вторая, относящаяся к финалу восстания, – вполне определенная. Хотя наши нынешние хмурые историки и считают, что все взывающие к чувствам сказания на самом деле не существенны, эти два, напротив, крайне важны. Рассказ о первом акте неповиновения Тайлера важен потому, что он был не только волнующим, но и, так сказать, семейным. Его решительная месть за нанесенное семье оскорбление [307] стала легендой в среде восставших и своего рода свидетельством его порядочности, перевесившим некоторые неприглядные вещи. Решительность Тайлера показательна, ведь достоинство бедных не принимается в расчет в современных спорах – теперь налоговому инспектору достаточно предъявить официальную печатную форму и сопроводить это соответствующей тирадой, чтобы сделать то же самое, не опасаясь, что его голова будет

проломлена.

Поводом для протеста послужил подушный налог. Но он был лишь одной из цепей всеобщего закабаления населения в положении подневольных работников. Именно форма этого закабаления полностью объясняет свирепость феодальной реакции, наступившей вслед за поражением восстания. Эта реакция угрожала сделать положение сервов еще более рабским, чем прежде.

Сведения, относящиеся к поражению восстания, вызывают меньше споров. Восставшие продемонстрировали военную мощь и способность к согласованным действиям, когда расчистили себе путь к Лондону. У города их встретила компания, с королем и лордом-мэром во главе. Последние были вынуждены согласиться на переговоры. Подлое убийство Тайлера лордом-мэром послужило сигналом к началу битвы. Крестьяне сомкнули ряды с криком: «Они убили нашего вождя!», но затем произошло нечто очень странное. Оно, произошедшее, дает нам четкое и окончательное представление о том, что значила в Средние века священная фигура коронованного властителя. Воистину, на одно безумное мгновение божественное право показало свою божественность.

Король был всего лишь мальчиком. И его голос должен был прозвучать для охваченных яростью толп восставших как голос ребенка. Но власть его предков, признанная традицией великого христианского мира, наполнила его голос странной силой. Встав в одиночку перед вооруженной чернью, коронованный мальчик крикнул: «Я ваш вождь!», и лично обещал дать народу то, что тот просил.

Впоследствии обещание было нарушено. Однако те, кто видит в нарушенном обещании лишь переменчивость молодого легкомысленного короля, – не только мелочные казуисты, но и глубоко невежественные интерпретаторы всего миропорядка Средневековья. Вот что надо понимать, рассматривая эту последовательность событий: именно парламент принял решение и вынудил короля отказаться от обязательств перед своим народом. После того, как праздновавшие победу повстанцы были разоружены и преданы, король предложил парламенту гуманный компромисс, но парламент гневно от него отказался.

Парламент был уже не просто органом управления – он стал правящей кастой. Он выказал столько же высокомерия к крестьянам XIV века, сколько и к чартистам XIX-го. Этот представительский совет, изначально собранный королем для судейства и сбора сведений о доходах ремесленных гильдий и сельских общин, для регулирования вопросов налогообложения,

теперь стал вожделенной целью властолюбцев, то есть, по сути дела, новой аристократией. Произошел раскол и началась война, в данном случае воплощенная в кинжале лорда-мэра, между Палатой Общин с большой буквы и общинами с маленькой.

Говоря о лорде-мэре, необходимо отметить, что убийца Тайлера был не просто знатным человеком -он занимал выборную должность в магистрате торговой олигархии Лондона. Вряд ли следует принимать всерьез сказку о том, что его окровавленный кинжал в итоге оказался на гербе Лондонского Сити. Да, средневековые лондонцы были вполне способны убить человека, но поместить орудие грязного убийства по соседству с крестом их Искупителя, на место, в действительности занимаемое мечом святого Павла, -никогда.

Как было отмечено выше, парламент теперь сам стал аристократией, правящей кастой, и превратился в цель властолюбцев. Правда всегда немного сложнее любых соображений на ее счет, но если люди стремятся служить в должности членов суда, мы можем предположить, что сам суд перестал быть народным. Это надо принять во внимание как нечто противоречащее идее божественного права, когда мы займемся оценкой падения Ричарда. Если то, что ниспровергло его, называть восстанием, то это было восстание парламента, которое оказалось куда более безжалостным, чем восстание народа. Но и это не главное.

Главное вот что: с устранением Ричарда, совершенного парламентом, стал возможен и следующий шаг – развоплощение божественного права. Преобразование оказалось грандиозным: теперь уже сама корона превратилась в цель властолюбцев. То, что мог украсть один человек, другой мог украсть у первого. То, что дом Ланкастеров получил грубой силой, точно такой же силой мог отнять у него дом Йорков. Заклинание, гарантировавшее превосходство и несвергаемость занимавшего трон, утратило свои чары. После этого целых три поколения искатели приключений пихались и спотыкались на скользкой от крови лестнице, вершину которой венчало нечто новое для средневековых представлений – пустой трон.

Общеизвестно, что неустойчивое положение ланкастерского узурпатора, причина которого состояла именно в том, что он был узурпатором, послужило истоком многих начинаний – какие-то мы можем сегодня назвать хорошими, какие-то плохими. Но легкость, с которой мы называем вещи хорошими или плохими, объясняется тем, что мы упускаем из вида перспективу.

Неустойчивость вынуждала дом Ланкастеров опираться на парламент, который, как мы уже видели, был весьма

противоречивой институцией. Возможно, монархия находила определенную пользу в том, что ее опекало и иной раз бросало бодрящий вызов учреждение, в котором еще сохранялись черты былой свежести и свобода слова. Но для парламента не было ничего хорошего в том, что он сделался союзником отдельных знатных властолюбцев, на которых мы заострим внимание чуть позже. То же неустойчивое положение вынуждало дом Ланкастеров опираться на чувство патриотизма, что в данном случае отвечало народным чаяниям. Так при Ланкастерах двор впервые заговорил по-английски, а война во Франции получила новый импульс с момента решительной демонстрации флага при Азенкуре.

Неустойчивое положение вынудило дом Ланкастеров вновь опереться и на церковь, вернее, на высшее духовенство, и это принесло клерикализму небольшую пользу. Рост сектантства, все более омрачавший конец Средневековья, привел и к новым изощренным жестокостям по отношению к последнему урожаю ересей. Та скудная информация о содержании этих ересей, что дошла до наших дней, говорит не в пользу той точки зрения, что они являлись предвестниками Реформации. Довольно трудно понять точку зрения того, кто называет Уиклифа[308]протестантом, но при этом не называет протестантами Пелагия [309] или Ария[310]. Если уж Джон Болл[311] был реформатором, то Латимер[312] в этом случае реформатором никак не является.

Но если новые ереси не намекали на зарождение английского протестантизма, то, возможно, они намекали на конец английского католицизма. Кобэм[313]зажигал свечу не для того, чтобы передать ее в нонконформистскую часовню; зато Арундел[314], запалив факел, внес его в свою церковь. Причина той непопулярности в народе, которую в те времена снискала старая религиозная система и которая затем легла в основу воистину национального сопротивления Марии[315], несомненно берет исток в болезненной энергии епископов XV века. Гонения начинались по теологическим причинам, причем сугубо охранительным, но некоторые из этих епископов превратили гонения в извращение. На другом берегу Ла-Манша один из них[316] председательствовал на процессе Жанны д Арк.

Но именно это извращение, именно эта нездоровая энергия и есть те флюиды, которыми пропитана эпоха, начавшаяся после падения Ричарда II – особенно в тех феодах, которые по иронии судьбы представлены образами английских роз[317] – и их шипами. Ракурс взгляда в прошлое, который задает эта книга, не позволяет нам прогуливаться по лабиринтам распрей между

Норками и Ланкастерами или последовать за удивительными взлетами и падениями, наполнявшими жизни Уорика – Делателя королей[318]и боевитой вдовы Генриха V[319]. Конечно, соперники занимались не борьбой за отсутствующий приз, как им иногда велеречиво приписывают, и не участвовали (как лев и единорог[320]) в банальной свалке за корону. Контуры нравственных различий между ними можно прочертить даже в эти грозовые сумерки героического века.

Как мы уже сказали, дом Ланкастеров стоял в целом за новый взгляд на вещи – король, поддерживаемый парламентом и могущественными епископами. Дом Йорков в целом держался за остатки прежних воззрений на короля как на фигуру, которая никому не позволит встать между ней и ее народом. Это все, что можно сказать о стержневых политических интересах противоборствующих сторон, не вдаваясь в подсчеты количества луков у Барнета[321] или количества копий у Тьюксбери[322]. Но эта простая истина, в свете которой сторонники Йорка, пусть и весьма расплывчато, могут быть сопоставлены с тори, вносит в историческую картину определенные штрихи. Она очерчивает ореол романтичности над последней и самой выдающейся фигурой сражающегося дома Йорков, с падением которого войны Роз и завершились.

Если мы хотим увидеть странные сполохи заката Средневековья и оценить перемены, постигшие пока еще не добитое рыцарство, нам следует вникнуть в парадоксальную историю Ричарда III[323]. Разумеется, в действительности он вряд ли был похож на ту карикатуру, которую предъявил миру его куда более посредственный преемник[324]. Он даже не был горбуном. То, что одно плечо у него располагалось чуть выше другого, вероятно, стало следствием изнурительных тренировок с мечом, отразившихся на его телосложении, изначально субтильном и не отмеченном природной крепостью.

Однако именно душа его, а вовсе не тело, преследует нас как зловещая горбатая тень истинных рыцарей лучших времен. Он вовсе не был людоедом, пролившим реки крови, – многие из казненных им воистину заслужили казнь в той же степени, что и любые другие из осужденных на смерть в те безнравственные времена. Даже рассказ об убитых им племянниках не выглядит надежным свидетельством – об этом поведали те же самые люди, которые говорили, что Ричард III был рожден с клыками и с головы до пят покрытый диким волосом.

Раз багровое облако над его памятью все равно не рассеется, поскольку сам воздух того времени был пропитан запахом бойни, то и мы не станем утверждать, будто он был неспособен

совершить те вещи, в которых вполне мог быть неповинен. Был он хорошим человеком или же не был – загадка. Но определенно он был хорошим королем, снискавшим народную любовь.

Попробуем оценить его не второпях, доверяясь ложному шаблону, но проявим терпимость. Он предчувствовал Возрождение и был искренне увлечен искусством и музыкой. Казалось, он интуитивно ощущал старые пути веры с ее стремлением к благотворительности. Также нельзя однозначно сказать, что Ричард постоянно хватался за меч и кинжал просто потому, что резать глотки доставляло ему удовольствие – скорее всего, виной тому нервы.

Это был век, когда проявили себя наши первые художники-портретисты. Прекрасный портрет, написанный современником, показывает Ричарда III с благоприятной стороны одной характерной деталью. На портрете он изображен касающимся кольца на пальце, возможно, он это кольцо вращает – это движение выдает нервозную личность, которая и с кинжалом в руке была бы подвержена волнению. А по его лицу, каким оно написано, мы можем изучать не только историю его деяний, но и то несбывшееся, что не свершилось только благодаря ему, а именно – ту атмосферу времени, которая сильно отличалась и от предшествовавшей, и от той, что наступила после. Это лицо отмечено выдающейся интеллектуальной красотой.

Но есть в этом лице кое-что еще, что трудно со всей определенностью отнести к добру либо ко к злу. И это – смерть. Смерть эпохи. Смерть великой цивилизации. Смерть того, что когда-то пело солнцу гимны святого Франциска. Что вело корабли на край света в Первом Крестовом походе. И что утомилось от мира и повернуло оружие против себя. Что ранило собратьев. Что попрало собственную верность и превратило жизнь страны в азартную игру с короной в качестве приза. Что привело в лихорадочное возбуждение все, включая вопросы веры, и среди погибающих добродетелей сохранило лишь одну – отвагу, которая умирает последней.

Что бы еще плохого или хорошего ни было сказано о Ричарде Глостере, по одной детали можно точно заключить – да, он был последним из средневековых королей. Эта деталь выражена в одном слове, прогремевшем над полем битвы у Босворта[325], где он сражал врага за врагом, – «Измена!». Для него, как и для первых нормандских королей, измена и предательство на поле боя были вещами одного порядка. Именно в этом случае измена и оказалась предательством на поле боя. Когда его знать перед битвой перебежала на сторону врага, он счел это не новой политической комбинацией, но Иудиным грехом мнимых друзей

и неверных слуг. Используя собственный голос как трубу герольда, он вызывал своих врагов на честный поединок, как бой двух паладинов Карла Великого.

Но его враги не ответили, да и не собирались отвечать. Мир изменился. Этот безответный вызов эхом гремит сквозь века. С того дня ни один английский король больше не сражался по заветам рыцарства. Убив многих, Ричард был убит сам, а его малочисленное войско уничтожено. Так закончилась война узурпаторов, так последний и самый сомнительный из всех узурпаторов, странник из валлийского пограничья, рыцарь ниоткуда, нашел корону Англии под терновым кустом.

XI. Восстание богатых

Если отвлечься от историй о мистических ловушках, в которые сэр Томас Мор[326] угодил, то он воспринимается нами как герой Нового Учения – великого рассвета обнаженной рациональности. Для многих этот рассвет воссиял столь ярко, что Средневековье рядом с ним показалось тьмой. Что бы мы ни думали о принятии Томасом Мором Реформации, нет никаких сомнений в его принятии Ренессанса.

В первую очередь он был гуманистом. Во многих вопросах он к тому же был весьма современным, что часто ошибочно принимают за синоним слову «человечный». Он действительно был человечным, но в академическом смысле – «гуманитарный». Томас Мор начертал идеальное, или лучше сказать фантастическое, общественное устройство, продемонстрировав изобретательность Герберта Уэллса, в куда большей степени – дерзость, приписываемую Бернарду Шоу. Несправедливо сводить все тезисы «Утопии» только к высокой нравственности автора. Их содержание и новации подчеркивают лишь то, что мы (за неимением лучшего слова) можем назвать его модернизмом. Так, бессмертие животных – это что-то трансцендентальное с привкусом эволюционизма. Вульгарная шутка об отборочных соревнованиях при вступлении в брак может быть воспринята серьезно лишь студентами, изучающими евгенику. Томас Мор даже предложил что-то вроде идеи пацифизма – хотя жители Утопии выбрали весьма причудливый путь ее осуществления.

Если коротко, то, хотя Мор со своим другом Эразмом Роттердамским[327] и насмехался над средневековыми злоупотреблениями, лишь немногие станут сегодня отрицать, что протестантизм для него был бы слишком узок, а не слишком широк. Если он и не был в общепринятом смысле протестантом, лишь немногие протестанты откажутся признать его реформатором. Но новатором он был не в теологии, а в несколько более заманчивых для современного ума областях – он был отчасти тем, кого мы сегодня называем неоязычниками.

Его друг Колет[328] сопоставил атмосферу, знаменующую конец Средневековья, с переходом от плохой латыни к хорошему греческому. В наших представлениях оба эти языка видятся равнодалекими, но изучение греческого пошло в рост именно в те времена. Латынь же тогда была почти народным языком, хотя и в сильно искаженном виде. Ближе к истине окажется, если мы назовем жителей Средневековья билингвами – для них латынь вовсе не была мертвым языком.

Греческий, конечно, не стал столь же массовым, но человека, который им овладел, он окрылял, как глоток свежего воздуха окрыляет после спертой атмосферы подземелья. Значительная часть этого греческого духа отпечаталась в Море – отсюда его универсализм, его пристрастие к городской жизни, его равновесие между бодрой разумностью и отстраненной любознательностью.

Понятно, что он допускал некоторые несоблюдения меры и ошибки вкуса, которыми неизбежно заражались блестящие интеллектуалы в своей тяжбе со Средними веками. Вполне вероятно, он считал, что горгульи – готические (в смысле, варварские), или же неспособен был поддаться сильным чувствам, как Сидней, не впечатленный трубой «Чевиотской погони»[329]. Все богатство античности, вся ее мудрость, все очарование и гражданский героизм были явлены этому поколению разом во всем их ослепительном разнообразии и совершенстве. На фоне этого их несправедливое отношение к реликвиям Темных веков кажется простительным.

Словом, глядя на мир глазами Мора, мы смотрим на него через самое широкое окно того времени. Впервые мы видим английский пейзаж освещенным ровно, боковым светом утреннего солнца. Он видел Англию Ренессанса, Англию, переходящую от Средневековья к современности. Он смотрел далеко, и увидел многое, и многое сказал. Все увиденное и сказанное было полезно, многое – остроумно. Но, кроме того, он отметил нечто, одновременно представляющееся и капризным парадоксом, и практичным, обыденным фактом. Окинув взглядом весь пейзаж, он сказал: «Овцы едят людей».

Это краткое резюме великой эпохи нашего освобождения и просвещения обычно не ставится первым в собрании ее наикратчайших исторических обзоров. Оно не имеет ничего общего ни с переводом Библии, ни с чертами характера Генриха VIII[330], или же чертами характеров жен Генриха VIII, ни с тройным спором Генриха, Лютера и Папы. Это не папские овцы ели протестантов или наоборот. Это не Генрих, который в собственный короткий и озадачивающий период увлечения папством отдавал мучеников на съедение овцам, как язычники отдавали их на съедение львам. Эта емкая фраза подразумевает лишь то, что интенсивное земледелие уступило дорогу экстенсивному типу пастбищного животноводства.

Огромные пространства Англии, до тех пор размежеванные армией многочисленных фермеров, объединились под властью одинокого пастуха. Смысл происходящего отражен в сатире, написанной в стиле самого Мора господином Дж. Стефеном[331],

чьи эссе теперь, думаю, можно найти только в архивах «Нового свидетеля». Он сформулировал парадокс, из которого следовало, что вызывающий всеобщее восхищение индивидуум, вырастивший две травинки на месте одной, является убийцей. В той же самой эпиграмме господин Стефен проследил подлинный нравственный исток этого феномена, связанного с ростом объема травы и убийств. Что определенно свидетельствует о росте новой утонченности, рассудочной утонченности нового правящего класса.

Средневековый лорд по сравнению с представителем этого класса выглядел неотесанным парнем. Он, как и простолюдин, жил в доме фермера, только самом большом, сделанном по образу других фермерских домов. Когда мог достать вино, он пил вино. Но был готов пить и эль. Наука еще не сделала его путь гладким при помощи моторного топлива – во времена чуть более поздние одна из знатнейших леди Англии писала своему мужу, что не сможет прибыть к нему, так как ее выездные лошади тянут плуг. В истинные Средние века величайшие люди, как простые смертные, еще, бывало, сталкивались с различными банальными препятствиями, – но во времена Генриха VIII этому безобразию решено было положить конец.

Есть слово, характеризующее новое поколение, оно является одним из ключей к меняющемуся времени – то один, то другой лорд «итальянизировался». Это слово означало пристрастие к более тонким формам красоты. Хрупкое и пластичное стекло, золото и серебро – теперь уже не варварские камни, но стебли и венки из филигранно обработанного металла. Зеркала, карты и тому подобные безделушки взвалили на себя бремя красоты. Это слово означало совершенство в пустяках – в отличие от ремесел Средних веков, которые бессознательно отмечали печатью искусства повседневные практичные вещи. Нет, вся страстная душа искусства направлена была только на необязательные вещи. Роскошь ожила и обрела душу. Надо помнить об этой вдруг обнаружившейся тяге к красоте – и для понимания, и для оправдания.

Старое баронство весьма истончилось в годы гражданской войны, завершившейся при Босворте. Затем его численность была еще больше сокращена коварной экономической политикой Генриха VII -короля весьма некоролевского свойства. Сам по себе он был «новым человеком», поэтому неудивительно, что бароны уступили свое место новой знати – новым людям. Однако и старейшие семьи держали нос по ветру.

Некоторые из них – например, Говарды – одновременно представали и как старые, и как новые семьи. Но в любом случае

настроение всего высшего класса можно описать как все более новое. Английская аристократия – главное создание Реформации – несомненно заслуживает определенной похвалы, которая нынче почти повсеместно рассматривается как высшая похвала. Она всегда была прогрессивной.

Аристократию постоянно уличали в том, что она гордится своими предками; не менее верно будет сказать, что английские аристократы куда больше гордились своими потомками. Для их потомков были заложены основательные фундаменты и скоплены горы сокровищ. Для потомков они боролись за все более и более высокие места в государственной иерархии. В первую очередь для потомков они лелеяли любую новую науку или концепцию общественной доктрины. Они воспользовались огромными экономическими возможностями пастбищного животноводства, но сверх того осушили Фен[332]. Они изгнали священников, но они же покровительствовали философам. Дом Тюдоров вызвал к жизни поколения новой аристократии, и они построили новую рациональную цивилизацию. Ученые стали подвергать критике исходные тексты. Скептики утратили доверие не только к папским святым, но и к языческим философам. Специалисты анализировали и рационализировали традиции. А овцы ели людей.

Мы видели, как в XIV веке в Англии произошла настоящая революция бедных. Она чуть было не достигла успеха. Не буду скрывать, убежден: если бы она его достигла целиком, всем нам было бы только лучше. Если бы Ричард II запрыгнул в седло Уота Тайлера, если бы его парламент не заставил его спешиться, если бы он удостоверил факт свободы крестьянства какой-либо формой королевского признания (как привычные нам профсоюзы получают от королевской власти хартии), история нашей страны сложилась бы настолько счастливо, насколько гуманной может быть человеческая природа.

Просвещение, когда оно пришло, стало бы народным образованием, а не культурой клуба эстетов. Новое учение стало бы столь же демократичным, как старое учение в прежние дни средневековых Парижа и Оксфорда. Высокое искусство школы Челлини[333] могло бы стать высшим проявлением ремесел гильдий. Шекспировские драмы игрались бы рабочими на деревянных подмостках, на улице, как играют Панча и Джуди – самое лучшее воплощение чуда, именуемого театральной игрой – и как играли в эпоху гильдий. Актерам не нужно было бы называться «слугами короля» – они бы были хозяевами самим себе. Великий Ренессанс мог бы стать либеральным, либеральным было бы и образование.

Поскольку это лишь фантазия, ее никому не опровергнуть; средневековая революция оказалась столь неуспешна с самого своего начала, что никто не сможет доказать, что и в конце она была бы непременно обречена на неуспех. Феодальный парламент взял верх и вернул крестьян к их двойственному и неопределенному положению. Сказать что-то большее было бы преувеличением или предчувствием по-настоящему решающих событий, произошедших впоследствии.

Когда Генрих VIII взошел на трон, гильдии были на вершине своего развития, но пока еще не претерпели изменений. Даже крестьяне, вероятно, вернули себе землю. Многие из них пусть формально и были сервами, но лямка аббатского землевладения была не слишком обременительной. То есть средневековая система в целом сохранялась. Она могла бы, как мы теперь понимаем, снова пойти в рост, но такую возможность перечеркнуло новое обстоятельство. За провалом восстания бедных последовала контрреволюция – успешное восстание богатых.

Несомненным стержнем ее стали определенные события, как политические, так и частные. Грубо их можно разделить на две части – браки Генриха VIII и дела монастырей. Браки Генриха VIII с давних пор являются объектом народных шуток, и по этой причине шуток бородатых. Но в этих шутках несомненно есть истина предания, как и в любых достаточно народных и достаточно бородатых шутках. Нечто забавное никогда не отрастит бороду, если оно не имеет под собой надежной почвы. Генрих в свои первые дни был любим народом, даже иностранные наблюдатели дают нам славную картину юного принца эпохи Ренессанса, сияющего в свете новых достижений века. В свои последние дни он уже был похож на маньяка. Он более не вызывал любовь, но даже внушаемый им страх походил скорее на страх перед бешеной собакой, чем на страх перед сторожевым псом.

Нет сомнений, что в этом превращении огромную роль сыграла двусмысленность и даже низость его женитьб, разыгранных в стиле Синей Бороды. Будет справедливо по отношению к Генриху добавить, что за исключением первого и последнего брака, он был столь же несчастен со своими женами, как и они со своим мужем. Но несомненно, что именно дело о первом разводе бросило мрачную тень на его честное имя.

Чтобы понять смысл его ярости, мы должны осознать, что самого себя Генрих видел не врагом, а скорее другом Папы. Он защищал Папу дипломатическими путями, он отстаивал церковь в полемиках. И когда ему надоела его королева, и он воспылал

горячим чувством к одной из ее придворных, Анне Болейн, он в целом понимал, что требует для себя циничную уступку. Однако он считал, что в век циничных уступок его друг вполне мог бы ее сделать.

Но в том-то и заключается высшая противоречивость судьбы веры Христовой в человеческих руках, что ни одному человеку неведомо, когда ее высшие качества возобладают, пусть даже всего на мгновение. В свои худшие века Церковь ничего бы не сделала и не сказала, но тогда она переживала лучшие из своих лучших времен. Словом, Генрих собирался опереться на подушки Льва[334], но вдруг обнаружил, что Папа вложил в его руку камень Петра.

Папа отверг новый брак, и Генрих в яростном мраке гнева расторг свои старые отношения с папством. Скорее всего, он не осознавал до конца, что же он совершил; возможно, и мы до сих пор недостаточно здраво мыслим, чтобы это понять. Но он определенно не помышлял о себе как об антикатолике. Точно так же нельзя сказать, что он думал о себе как о противнике Папы – скорее, он думал о самом себе как о папе[335].

Именно в это время дало о себе знать нечто, что сыграло в истории немаловажную роль – я имею в виду современную доктрину божественного права королей, сильно отличавшуюся от средневекового понятия с тем же названием. Именно она до сих пор смущает безответным вопросом, почему в англиканстве сохранилось столько католических элементов. Главенство короля над национальной церковью Англии не было, к несчастью, лишь королевской причудой – на какое-то время оно стало еще и причудой самой церкви.

Но если отвлечься от спорных вопросов, то придется признать, что в человеческом и историческом смысле наше прошлое было надломлено именно в этом месте. Генрих не только отрезал Англию от Европы. Куда более существенно, что он отрезал Англию от Англии.

Великий развод свалил Уолси[336], могущественного канцлера, удерживавшего в равновесии Священную империю и Французскую монархию и создавшего современный баланс сил в Европе. Его часто упоминают лишь как автора фразы «я и мой король»[337], но он олицетворяет целый этап в истории Англии потому, что пострадал за эту фразу, а не потому, что он ее произнес. «Я и мой король» – таким мог бы быть девиз любого современного премьер-министра. Мы уже забыли тот факт, что слово «министр» на самом деле означает слугу. Уолси был последним из великих слуг, которого могли просто уволить. И это признак того, что монархия все еще была абсолютна. А

сегодняшние англичане поражены абсолютизмом монархии в современной Германии, где Бисмарка выгнали с должности, как дворецкого.

Куда более печальны доказательства того, что новая сила перестала быть человечной: она начала убивать благороднейших из гуманистов. Томас Мор, порой казавшийся эпикурейцем при Августе, умер как святой при Диоклетиане. Он погиб славно, шутя. Его смерть обнажила свойства его души – его чуткость и его истинную веру в Бога. Но для гуманизма произошедшее оказалось чудовищным жертвоприношением – как если бы Монтень стал мучеником.

Вот что надо отметить: какой-то яд проник в здоровую природу Ренессанса, что-то неестественное завелось в его естестве, и душа великого христианина восстала. Он показал на солнце и сказал: «Я буду выше этого парня», – сказал с францисканской непосредственностью, которая способна любить природу потому, что не намерена ей поклоняться.

А более безличный процесс, который Мор наблюдал сам (как и отмечено в начале главы), куда яснее и менее затуманен противоречиями. Это вторая часть политики Генриха. Сейчас считается, что церковь за время Ренессанса достигла небывалого уровня коррупции. Однако подлинные доказательства этого решительно отличаются и от современного нетерпимого лицемерия, и от общепринятой истории протестантизма. Совершенно несправедливо, например, цитировать неистовые письма епископов и иных церковных иерархов, порицающих грехи монашеской жизни. Они никак не могли быть более неистовыми, чем письма святого Павла самым чистым и только нарождающимся церквям. Апостол писал их ранним христианам, которых идеализируют все церкви. А он говорил с ними как с головорезами и ворами.

Объяснение, затрагивающее эти тонкости, можно найти в том факте, что христианство не является вероучением для хороших людей. Оно – для всех людей. Такие письма писали во все века. И в XVI веке такие письма доказывают не столько то, что тогда в монастырях встречались плохие аббаты, сколько то, что и тогда были хорошие епископы. Далее: признание того, что монахи могли быть расточительными, не является признанием того, что они были угнетателями. Есть здравое зерно в точке зрения Коббета, что там, где монахи выступали в роли помещиков, не было выбивания рентных платежей силой, и вообще монахи не могли стать помещиками, управляющими издалека. Тем не менее у хороших установлений были слабости, точно так же как у дурных установлений, имелась сила.

Именно этой слабостью и воспользовалось то худшее, что было в том времени. В падении хороших установлений всегда в той или иной степени виновато внутреннее предательство. Аббаты были уничтожены с такой легкостью потому, что они не могли сплотиться. А сплотиться они не могли благодаря духу века (который очень часто является его худшим врагом) – стремительному разделению между богатыми и бедными, в том числе разделению между богатым и бедным духовенством. Предательство ужалило, как оно обычно и случается, со стороны того слуги Христа, что держал суму.

Если взять нынешнюю ситуацию, то нам хорошо знаком образ политика, превращающегося в крупного пивовара либо в собственника большого отеля и указывающего на бессмысленность существования выводка мелких пабов и маленьких гостиниц. Именно так тюдоровские политики поступили с монастырями. Они встали во главе крупных хозяйств и предложили уничтожить мелкие. Церковные иерархи не сопротивлялись, или сопротивлялись недостаточно. Так начался грабеж церковного имущества. Но если лорды-аббаты и действовали в этот момент именно как лорды, это не служило им оправданием, и в глазах куда больших лордов они действовали как аббаты.

Быстрый успех этого предприятия богатых не затмил позора тысяч мелких ухищрений, о которых объявляли, как о благе для бедных, – бедным скоро предстояло узнать, что наступившая эпоха не станет для них временем заботливой власти и гарантированного гостеприимства. Большие монастыри, теперь обособленные, стали приходить в упадок один за другим. Нищие, для которых монастырь являлся чем-то вроде священного пристанища, приходили к воротам, но находили обитель пустующей. Новая философия пришла в мир, и она до сих пор руководит нашим обществом. Опираясь на постулаты этой философии самые мистические достоинства старого монашества переименовали в великие грехи. И самым величайшим из грехов оказалась благотворительность.

Но население, которое восставало при Ричарде II, еще не было разоружено. Оно было научено жесткой действительностью, как надо обращаться с луком и тесаком. Оно самоорганизовывалось в небольшие группы по городам, гильдиям и усадьбам. Более чем в половине графств Англии люди всколыхнулись, поднялись и сошлись в финальном сражении за собственные представления о Средних веках. Главный инструмент новой тирании, нечистоплотный парень по имени Томас Кромвель[338], был специально выставлен деспотом и

действительно быстро превратил возглавляемое им правительство в кошмар. Народное движение было подавлено в том числе и с помощью наемной военной силы – впервые в истории Англии подавлением народного бунта занимались циничные профессиональные войска, приглашенные из зарубежных стран. Они за английские деньги уничтожали английскую религию.

Но, как и прежде, куда большую роль в подавлении восстания сыграл обман. Как и в предыдущие мятежи, восставшим удалось заставить правительство пойти с ними на переговоры. Правительство прибегло к обещаниям как к простейшему средству умиротворить людей, после чего оно нарушило обещания, а затем подавило бунт в той же манере, какая взята на вооружение современными политиками -похожим образом они поступают с крупными забастовками. Восстание начертало на своем знамени слова «благодатное паломничество»[339], и его цель на практике состояла в восстановлении старой религии. Если вспомнить фантазию о судьбе Англии, которая ожидала бы ее, если б Тайлер победил, то оба эти восстания несли в себе одно зерно, которое могло прорасти или не прорасти определенного рода реформой. Но они, в случае своей победы, сделали бы совершенно невозможным то, что мы теперь понимаем под словом «реформация».

Царство террора, установленное Томасом Кромвелем, напоминало инквизицию самого мрачного и нетерпимого извода. Историки, не питающие и тени симпатии к старой религии, согласны с тем, что ее выкорчевывали средствами более ужасными, чем те, что когда-либо использовались в Англии до или после. Это правительство палачей оказалось вездесущим благодаря своим шпионам. Грабеж монастырей проводился не только с жестокостью, напоминавшей о варварстве, но и с мелочностью, которая была сродни низости. Казалось, что датчане вернулись в образе правительственных сыщиков. Непоследовательность личного королевского отношения к католицизму привела к появлению новых, более сложных заговоров и к новым жестокостям, на этот раз нацеленным на протестантов. Но в любом случае эта реакция носила, как правило, исключительно теологический характер.

В итоге Кромвель утратил королевский фавор и был казнен. Но террор продолжался в еще более ужасной форме, потому что выпало промежуточное звено – теперь это было зрелище чисто королевской ярости. Ее кульминацией стало странное событие, которое символически возвращает нас к истории более ранней. Деспот отомстил мятежнику, эхо от вызывающего поведения

которого не утихло за три столетия. Он привел в запустение самый популярный храм Англии[340], святыню, которую некогда воспел Чосер, потому что в этой святыне на коленях каялся король Генрих II. Три века церковь и народ звали Бекета святым, пока не возник Генрих Тюдор и не назвал его предателем.

Можно предположить, что здесь самовластие достигло своей высшей точки, но на самом деле это было не так. Король достиг своей наивысшей высоты в саморазоблачении. Он показал, что он – чужак, вроде тех, о ком мы намекали в этой истории раньше. Сильный король был слаб. Он был неизмеримо слабее сильных королей Средних веков.

Были ли явлены предзнаменования его провала или нет, но он провалился. Брешь, которую он проделал в плотине старых догм, вызвала наводнение, которое, можно сказать, смыло его самого. В каком-то смысле он исчез еще до того, как умер, ведь драма его последних дней – это уже не его собственная драма. Переводя вопрос в практическую плоскость, можно сказать, что совершенно непрактично рассуждать, как это делал Фруд[341], и искать какие-либо оправдания преступлениям Генриха в его стремлении создать сильную национальную монархию.

Было у Генриха это стремление или нет, но она не была создана. Мало кто из наших королей оставил после себя столь ненадежное центральное правительство, как это сделали Тюдоры. Время, когда монархия действовала наихудшим образом, всего на одно или два поколения предшествует времени, когда она оказалась наислабейшей. А еще через несколько лет – так уж устроена история – отношения между короной и ее новыми слугами обернулись таким образом, что ужаснули мир. Топор, до этого освященный кровью Мора и запачканный кровью Кромвеля, по сигналу одного из потомков этого чудовища пал на голову английского короля.

Волна, хлынувшая в брешь и накрывшая как короля, так и церковь, была восстанием богатых, причем в большей степени новых богатых. Они использовали имя короля, потому что не смогли бы победить без его власти, но окончательный результат скорее напоминал ограбление короля, как прежде ими уже были ограблены монастыри. Удивительно мало богатства, если учесть статус королевской власти, осталось в итоге в королевских руках. Возросла и степень хаоса. С одной стороны, это произошло потому, что Эдуард VI[342] унаследовал трон маленьким мальчиком. Но более глубокая причина состоит в том, что трудно вообразить какую-то преемственную связь между двумя этими царствованиями.

Породнившись с Сеймурами, одна из представительниц

которых родила ему сына, Генрих передал страну могущественной семье, правившей исключительно при помощи грабежа. Противоестественная трагедия – казнь одного из Сеймуров его собственным братом[343] – произошла в годы, когда король-ребенок был бессилен вмешаться в события. Хотя оставшийся в живых Сеймур и носил титул лорда-протектора, ему и самому было бы затруднительно сказать, что же он способен защитить – уж точно не собственную семью. Вряд ли будет неверным предположить, что все человеческое оставалось тогда без защиты от алчности подобных защитников-людоедов.

Мы говорили об ограблении и запустении монастырей, но случилось так, что опустевшей оказалась вся старая цивилизация. Законники, лакеи и ростовщики, наихудшие из этих счастливцев, разграбили искусство и экономику Средних веков как воры, разорившие их храмы. Их имена (до тех пор, пока они не начали имена менять) превратились в имена великих герцогов и маркизов наших дней. Но если мы посмотрим глубже в нашу историю, то, возможно, обнаружим, что самый фундаментальный акт разрушения имел место тогда, когда вооруженные люди Сеймуров и ему подобных перешли от грабежа монастырей к грабежу гильдий. Средневековые профсоюзы были раздавлены, в их здания ворвались солдаты, а их капитал захватила новая знать.

Простота, с которой это произошло, обычно объясняется (весьма правдоподобно) тем, что гильдии, как и все остальное в те времена, явно находились не в лучшей форме. Все познается в сравнении – возможно, правда и то, что Цезарь чувствовал себя не очень хорошо утром Мартовских ид[344]. Но сказать, что гильдии самостоятельно пришли в упадок, – это то же самое, что сказать, будто Цезарь мирно испустил дух от совершенно естественных причин прямо у ног статуи Помпея.

XII. Испания и раскол наций

Революция, выросшая из того, что называют Ренессансом, и завершившаяся в некоторых странах тем, что называется Реформацией, ввела во внутреннюю политику Англии одно радикальное новшество – уничтожение организаций бедных. Разумеется, она примечательна не только этим, но подобная деятельность оказалось наиболее практичной. Именно это новшество лежит в основании всех нынешних проблем, связанных с капиталом и трудом.

Какое внимание этому очевидному обстоятельству уделяют теологические теории нашего времени, зависит от широты их взглядов. Но ни одна из партий, если она принимает эти факты, не может отрицать: то же самое время и то же самое настроение, которые ввергли страну в религиозный раскол, привели к вопиющему беззаконию богатых. Полагаю, ярые протестанты скажут, что протестантизм сам по себе был не главной идеей Реформации, а лишь ее прикрытием. Точно так же как упертые католики скажут, что протестантизм сам по себе был не грехом, а скорее карой.

Наиболее решительная и бесстыдная часть этого процесса была завершена лишь к концу XVIII века, когда протестантизм уже переродился в скептицизм. Кстати, именно на этой метаморфозе основывается парадокс, согласно которому пуританство оказалось ширмой для язычества. Процесс начался с неодолимой тяги к *благородству* Ренессанса, а закончился в клубе «Адский огонь»[345]. Так или иначе, но первым установлением Реформации стала новая и беспрецедентно могущественная аристократия – последовательно уничтожалось все, что могло быть прямо или косвенно *использовано во вред* этой аристократии.

Названное обстоятельство стало содержанием всей последующей истории нашей страны.

Следующее важное изменение коснулось значения трона. Короля понемногу оттерли локтями придворные, сгрудившиеся в ожидании обогащения, подобно толпе перед дверями магазина, где обещана рождественская распродажа. Король остался в задних рядах охотников за богатством и уже ничего не мог с этим поделать. Следующее царствование, начавшееся вслед за хаосом времен Эдуарда VI, доказывает это весьма показательно.

Мария Тюдор, дочь разведенной королевы Екатерины, в популярной истории имеет дурную репутацию. Однако исследование народных предрассудков полезнее ученой

софистики. Ее недоброжелатели, говоря о ее личных чертах, как правило, ошибаются, но, говоря о результатах, к которым привело ее царствование, они правы. В личном отношении она была хорошей женщиной – убежденной, честной, очень впечатлительной. Но то, что королевой она оказалась плохой, не подлежит сомнению. Плохой во многих отношениях, но в первую очередь в отношении того, о чем она ратовала больше всего. Справедливо утверждение, что она с огненной энергией боролась с лозунгом «папству – нет», но добилась обратного – она испепелила папство. Сфокусировав свой фанатизм в определенном месте, пусть и на короткое время, она осталась в народной памяти ослепительным раскаленным пятном.

Это выжигающее пламя – один из тех исторических примеров, которые заставляют общественное мнение отвернуться от «старого режима». Речь о сожженных на костре трех знаменитых оксфордских мучениках. Один из них, Латимер, был реформатором самого здорового и человечного типа, но другой, Кранмер, проявил себя в советах Генриху VIII таким снобом и подлецом, что Томас Кромвель кажется по сравнению с ним глубоко порядочным человеком. О том, что можно назвать традицией Латимера, – о вменяемом, подлинном протестантизме – я поговорю позже.

В те времена оксфордские мученики, возможно, вызывали меньше жалости и отвращения к палачам, чем многие менее известные энтузиасты Реформации, сожженные на кострах. Именно безвестность и бедность сделали их популярнее, чем они на самом деле того заслуживали. Именно эта последняя деталь - бедность – запечатлелась и вызвала как осознанную, так и неосознанную горечь, связанную с тем фактом, о котором я говорил выше и который являлся определяющим в то переходное время. Вот этот факт, необратимо изменивший Англию: даже в годы этого католического царствования собственность католической церкви не могла быть возвращена владельцам. Да, Мария была фанатичной, но подобный акт восстановления справедливости выходил за рамки ее реальных возможностей – и в этом суть.

Оказалось, что она была достаточно зла, чтобы творить неправые дела во имя церкви, но при этом недостаточно сильна, чтобы заикнуться о правах церкви, – такова примета времени. Ей было позволено отбирать у маленьких людей жизнь, но отбирать у больших людей их собственность (пусть и присвоенную) ей позволено не было. Она могла карать еретиков, но не могла наказывать похитителей святынь. Она вынужденно оказалась в парадоксальном положении: королева была вправе карать тех, кто

не ходил в церковь, но не вправе тронуть заходивших туда, чтобы украсть церковные украшения.

Кто же поставил ее в такое положение? Точно не ее собственные религиозные взгляды, которые были маниакально искренними. И не общественное мнение, которое питало бы больше симпатии к религиозной человечности, ею не восстановленной, чем к религиозной бесчеловечности, ею совершенной. Поставила ее в такую ситуацию, конечно, новая знать и новое богатство, от которого знать не собиралась отказываться. Успешное давление со стороны знати показало, что она уже сильнее, чем корона. Королевским скипетром воспользовались как ломиком, чтобы взломать дверь в сокровищницу. В итоге скипетр был погнут и проклят.

Правда заключена и в народном отношении к преданию, что на сердце Марии отпечаталось «Кале», когда последняя реликвия средневековых завоеваний вернулась к Франции[346]. У Марии действительно была одна героическая добродетель Тюдоров – она была патриотом. Но патриоты зачастую трагически не поспевают за своим временем. Их сосредоточенность на старых врагах порой делает их слепыми по отношению к врагам новым. Ту же ошибку совершил Кромвель, когда продолжал относиться враждебно к Испании, в то время как пора было снова обратить взор на Францию. В нынешнее время джингоисты в период Фашодского инцидента[347] смотрели как на врага на Францию, хотя надо было поглядывать уже на Германию. Без каких-либо антинациональных побуждений Мария вдруг оказалась в антинациональной позиции по отношению к самой опасной международной проблеме для своей страны.

Эта проблема – второе указание на изменения, которые принес с собой XVI век, и ее имя было Испания. Дочь королевы из Испании, Мария вышла замуж за испанского принца и, возможно, не видела в этом союзе ничего зазорного, кроме того, что его заключил ее отец. Но когда ей наследовала ее сестра Елизавета[348], которая решительно оборвала все связи со старой религией (хотя не испытывала сильной привязанности и к новой), проект подобного же испанского брачного союза с участием уже Елизаветы сорвался, что высветило некие новые обстоятельства.

Они были и шире, и неодолимее, чем любые планы знати. Англичанин, стоящий на своем маленьком острове, как в одинокой лодке, наконец заметил, как на него пала тень от большого парусника. Расхожие клише о рождении Британской империи и прекрасных днях царствования Елизаветы не только искажают истину, но и противоречат подлинному положению вещей. Из этих трафаретных фраз можно сделать заключение, что

Англия, следуя некой моде на империи, именно тогда впервые поняла, что она – великая. Куда точнее было бы сказать прямо противоположное: именно тогда она впервые осознала, как она мала.

Великий поэт «дней простора» превозносил Англию отнюдь не за простор, но за то, что она мала, как драгоценность. Представление о всемирной экспансии оставалось за кулисами вплоть до XVIII века. Но и тогда, когда оно явилось, оно оказалось отнюдь не более ярким и вдохновляющим, чем ощущение, накрывшее англичан в XVI веке. Речь не об империализме, а, скорее, об антиимпериализме. Англия получила в начале нашей современной истории прививку того, что человеческое воображение всегда считало подлинно героическим – самоощущение маленького, но победившего народа.

Противостояние Армаде было для нас тем же, чем Бэннокбёрн был для шотландцев, а Маджуба[349] для буров – победой, поразившей самих победителей. Всем им противостоял империализм в самом целостном, величественном смысле – вещь, немыслимая со времен Рима. Он был ни много ни мало самой цивилизацией. Именно величие Испании составило славу Англии.

Только осознав, что англичане по сравнению с блеском Испании были темными, малоразвитыми, суетными и провинциальными, точно буры, мы поймем высоту брошенного ими вызова и великолепие их спасения. Мы можем понять их, лишь уразумев, что для большей части Европы дело Армады имело тот же всеобщий смысл, что и Крестовые походы. Папа объявил Елизавету нелегитимной, что логично, поскольку прежде он уже объявлял брак ее матери с Генрихом VIII недействительным. И именно этим он нанес очередной, возможно, последний удар, отколовший Англию от старого мира. Кстати, те живописные английские каперы, которые грабили Испанские владения в Новом Свете, в южных морях назывались обычными пиратами, и технически это именование верно. Но именно благодаря техническому аспекту – нападению слабейшей стороны на сильнейшую – каперство впоследствии было оценено как законный способ ведения войны, хотя и с некоторым великодушным пристрастием.

Чтобы зафиксировать соотношение сил навечно, Испания, или скорее – Священная Римская империя с Испанией во главе, собрала всю свою мощь и, казалось, покрыла море кораблями, подобным легендарному флоту Ксеркса. Армада давила на обреченный остров всем своим величием и неизбежностью судного дня. Моряки и пираты на суденышках, колыхающихся под весом собственных пушек, атаковали ее при помощи костров из

пылающего мусора[350], а в последний час схватки налетел величайший шторм, поднял на дыбы море и разметал корабли.

Гигантского флота больше не было. Сверхъестественный масштаб угрозы и неожиданно установившаяся тишина, когда люди наконец поверили в случившееся чудо, затронули нерв, с тех пор уже не переставший трепетать. Надежда Англии явилась в безнадежный час. Да и нет более оправданной надежды, чем та, которая еще недавно была несбыточной. Громадная морская сеть, наброшенная на Англию, была порвана, что стало знаком: спасенное малое выживет, а затем и обретет величие. И в этом смысле мы никогда больше не были ни так малы, ни так велики, как тогда.

О великолепии елизаветинского века обычно говорится как о рассвете, но в то же время он был и зарей закатной. Рассматриваем ли мы завершение Ренессанса или же конец старой средневековой цивилизации, ни один беспристрастный критик не будет отрицать, что их сияние в ту пору угасало. Если читатель спросит себя, что же больше всего поражает его в величии елизаветинцев, то он скорее найдет последние следы Средневековья, чем сравнительно немногочисленные знамения современности. Драма елизаветинцев похожа на трагедии того века – их пламенеющий факел скоро будет затоптан пуританами. Нет смысла говорить, что суть трагедии заключалась в противостоянии комедии; новая комедия, пришедшая в Англию после реставрации, была одновременно инородной и бесстрастной.

Лучшее в этой комедии заключалось в ее юморе, но отнюдь не в том, чтобы сделать счастливыми зрителей. Легко заметить, что добрые вестники -и вообще удача – в шекспировских любовных историях почти всегда соотносятся с уходящим миром, миром монахов или фей. То же относится к идеалам елизаветинского века, нашедшим свое воплощение в елизаветинских драмах. Национальное очарование королевой-девственницей не удастся опорочить указанием на несоответствие воображенной героини вульгарности и коварству исторической Елизаветы. Ее критики весьма разумно возражали, что, заменяя Деву Марию на королеву-девственницу, английские реформаторы просто заменили подлинную девственницу на фальшивую. Но эта правда не затмевает искренний, хотя и ограниченный, культ Елизаветы у современников. Что бы мы ни думали об этой королеве-девственнице, трагические героини того времени показывают нам целую череду подобных королев-девственниц. Средневековые люди явно лучше современных понимали суть перипетий героев в пьесе «Мера за меру»[351].

Но хотя она имела статус девственницы, у нее был еще и статус королевы. Мистика монархии, восславленная Ричардом II, в самом скором времени была дезавуирована куда радикальнее, чем в истории с тем же Ричардом II. Те самые пуритане, которые стаскивали бумажные короны с актеров на сцене, точно так же сбросили настоящие короны с королей, которые всего лишь играли эту роль. Все представления были запрещены, а любая монархия была объявлена представлением.

Шекспир умер в День святого Георгия. Многое из того, что означал святой Георгий для Англии, умерло вместе с ним. Нет, я не говорю, что умер патриотизм Шекспира или Англии – он выжил и даже демонстрировал устойчивый рост в сторону благородной гордости грядущих времен. Но в образе святого Георгия, которому Ричард Львиное Сердце давным-давно в пустынях Палестины доверил Англию, было заключено куда больше, чем просто патриотизм.

Концепция святого покровителя, вынесенная нами из Средних веков, совершенно уникальна. И заменить ее до сих пор нечем.

Речь об идее разнообразия без противопоставления. Семь защитников Христианского мира были умножены на семьдесят и стали святыми покровителями городов, ремесел и сословий. Но сам факт того, что все они святые, исключал возможность непримиримого соперничества, ведь они – покровители. Гильдия сапожников и гильдия скорняков, носившие знаки святого Криспина и святого Варфоломея, могли сходиться в рукопашной на улицах, но даже в пылу драки они не могли вообразить, что святой Криспин и святой Варфоломей дерутся между собой на небесах.

Точно так же англичане могли в битве выкрикивать имя святого Георгия, а французы – имя святого Дени, но ни те, ни другие всерьез не верили, что святой Георгий ненавидит святого Дени или тех, кто выкрикивает имя святого Дени. Жанна д'Арк, чей взгляд на патриотизм многие современные люди сочли бы крайне фанатичным, в этом вопросе стояла на позициях, которые большинство современных людей сочли бы весьма просвещенными.

Но теперь, с религиозным расколом, уже нельзя было отрицать, что возникло более глубокое разделение. Оно уже не выглядело ссорой между приверженцами святых, пребывающих между собой в мире, но войной последователей богов, также воевавших между собой. Имена огромных испанских кораблей, названных в честь святого Франциска или святого Филиппа, уже мало что значили для новой Англии, а вскоре стали означать нечто необратимо враждебное, как если бы назывались именами

Баала или Тора.

Конечно, это только символы. Но процессы, которые они символизируют, были совершенно реальны, и к ним нужно подходить серьезно. Эти процессы внесли в религиозные войны то же самое содержание, какое современная наука вкладывает в расовые войны – идею естественных войн, возникающих не из-за каких-то частных ссор, а из-за самой природы людей, обрекающей их на распри. Тень этого расового фатализма впервые легла поперек нашего пути. И тогда вдали, во тьме, зашевелилось нечто, о чем люди за давностью лет уже почти совсем забыли.

У самых границ увядающей Священной Римской империи находится удаленная земля, просторная и зыбкая, как море. Контроль над ней был утрачен в эпоху варварских войн. Большая часть этой земли теперь формально была христианской, но при этом не слишком цивилизованной. Тень благоговения перед культурой юга и запада лежала на этих диких пространствах, как иней. Этот полуцивилизованный мир долго пребывал в угрюмой дреме, но тут он начал видеть сны. За поколение до воцарения Елизаветы великий человек по имени Мартин Лютер, который со всей присущей ему грубостью был все-таки в первую очередь мечтателем, вдруг закричал во сне. Его голос был подобен грому. Он был поднят не только против дурных обычаев, но и против добрых дел в христианском мироустройстве.

В следующем поколении за Елизаветой распространение новых диких учений из этих старых диких земель высосало в череде религиозных войн все силы Центральной Европы. В них монархический дом, который был опорой Священной Римской империи – Австрия, германский партнер Испании, -сражался за старую религию. Лига остальных немцев сражалась за новую. Ситуация на континенте всегда была непроста, но чем призрачнее становилась мечта о религиозном единстве, тем больше она усугублялась.

Особенно ее усложнило то, что Франция упрямо стремилась стать нацией в самом современном смысле этого слова. Она сохраняла за собой свободу действий и дистанцировалась от любых объединений. Преследуя протестантов у себя дома, она оказывала дипломатическую поддержку многим протестантам за границей просто потому, что таким образом пыталась сохранить равенство сил с противостоящей ей могучей конфедерацией испанцев и австрийцев.

Усложнило ситуацию и усиление кальвинизма, равно как и торговой мощи Нидерландов в целом -последовательных, дерзких, сумевших защитить свою независимость от Испании. Но мы не ошибемся, если скажем, что первые родовые схватки

современных международных проблем проявились именно в том конфликте, который принято называть Тридцатилетней войной. Точнее ее можно было бы назвать восстанием полуязычников против Священной Римской империи или наступлением новой науки, новой философии и новой нравственности Севера.

К этому конфликту приложила руку и Швеция. Она отправила своего героя[352] на помощь новейшей Германии. Но его версия героизма, проявлявшегося повсеместно, представляла собой странное сочетание личной отваги со все более и более усложнявшейся стратегической наукой и все более и более неприкрытой людоедской жестокостью.

Кроме Швеции, в этой бойне на всю Европу заявила о себе еще одна сила. Далеко на северо-востоке, в бесплодном заболоченном краю маленькая, но амбициозная семейка ростовщиков объявила себя удельными князьями. Они были бдительными, бережливыми и абсолютно эгоистичными. Теории Лютера они восприняли крайне поверхностно, но тем не менее начали предоставлять своих неотесанных батраков в качестве солдат протестантской стороне. И им хорошо платили. В те времена их княжеством была лишь Бранденбургская марка. Звали же их Гогенцоллернами.

XIII. Век пуритан

Если бы мы читали рассказ о совершенно захватывающих по своему сюжету приключениях или спорах, в которых имена главных героев или темы дискуссии заменялись ничего не значащими словами вроде «снарков» и «боджумов»[353], нам бы все это очень быстро наскучило. То же самое случилось бы, если бы нам рассказали о короле, которому был предоставлен выбор – превратиться в снарка или сдаться на милость боджуму, даже если бы мы узнали о толпе, впавшей в ярость от публичной казни боджума, которая бросила тень на снарка. Однако нечто подобное происходит, когда сегодня нам пытаются рассказать о теологических проблемах XVI и XVII веков, преодолев модную в нашем поколении неприязнь к теологии, как, впрочем, и в предыдущем поколении.

Пуритане, как и следует из их имени, изначально с энтузиазмом мечтали об очищении религии. Довольно часто они пытались навязать эти мечты другим. Иной раз они просто хотели свободно исповедовать очищенную веру в своем кругу. Но мы не сможем справедливо оценить ни то, что было в них хорошего, ни то, о чем они мечтали, если не зададимся вопросом, что же именно они навязывали другим или исповедовали сами.

Что ж, определенно в пуританах тех времен было нечто выдающееся, что практически полностью игнорируется их современными почитателями. Этих почитателей восхищают вещи, к которым сами пуритане относились либо с безразличием, либо – куда чаще – с яростной ненавистью: например, к свободе вероисповедания. Современные почитатели совершенно не понимают и, следовательно, недооценивают вещи, которые пуритан действительно волновали, например, – кальвинизм. Мы приукрашиваем пуритан средствами, которые сами они страстно отвергали, – с помощью романов и пьес, которые они бы публично сожгли. Мы интересуемся пуританами практически во всех их проявлениях за единственным исключением – мы не интересуемся, чем в действительности интересовались они.

Как мы уже видели, основной задачей новых учений в Англии стало оправдание плутократического грабежа – на самом деле это единственное, что действительно важно. Но через одно-два поколения все поменялось. Для этих новых поколений крушение Армады уже было легендой о национальном избавлении от папства, столь же чудесном и столь же далеком, как избавления, о которых они читали в еврейских книгах, теперь лежавших перед ними раскрытыми. Августовская катастрофа испанцев совпадала с

аналогичными событиями ветхозаветных частей Писания.

Определенные места Ветхого Завета вызвали ощущение, что избранность английского народа была объявлена штормовым пророком воздуха и моря. И это уже довольно легко было превратить в ересь племенной гордыни, которой в наиболее тяжелой форме поддались немцы. Именно из-за подобной гордыни цивилизованное государство может пасть: из христианской нации превратиться в избранный народ. Их национализм в конечном счете оказался опасным для сосуществования наций, оставаясь при этом национализмом. В свою очередь пуритане – от первого и до последнего – были патриотами, и в этом смысле они имели заметное преимущество перед гугенотами Франции.

В политическом смысле они, конечно, являлись лишь частью нового класса богатых, уже разоривших церковь и все еще увлеченных разорением короны. Но хотя пуритане и стали порождением великого разорения, это был, скорее, бессознательный процесс. Таких бессознательных было много среди аристократии, но главным образом все-таки пуритане олицетворяли средний класс, причем – средний класс городов. А вот бедное сельское население, составлявшее большинство жителей страны, оказалось высмеянным и отверженным. Заметим, что пока пуритане вели нацию, находясь в ее высших учреждениях, им не удалось создать ничего такого, что сейчас принято относить к фольклору. Все народные предания, все песни, тосты, стихи и поговорки того времени – все они роялистские. Нам не найти сказок и преданий о пуританах. Поэтому нам приходится иметь дело в лучшем случае с авторской литературой.

Но все это не столь уж важно, если это не имеет отношения к тому, что пуритане сами думали о себе. Суть этого движения сводилась к двум принципам, или, скорее, к двум шагам, один из которых был нравственным путем достижения второго, а второй – собственно основополагающим заключением, к которому пуритане приходили.

Начнем с первого шага, тем более что именно он определял все их внешние отношения и так сильно поражал воображение современников. Честный пуританин, молодость которого прошла в мире, опустошенном великим грабежом, был одержим одним из трех или четырех главных представлений, которые можно обнаружить в умственном багаже человека. Представление это сводится к тому, что наше сознание способно самостоятельно найти контакт с сознанием Бога. Его можно коротко назвать анти-ритуальным представлением. Однако применимо оно к самым

разным вещам, и пуритане действительно применяли его ко многому, а не только к церковным таинствам. Оно столь же применимо -и применялось – к искусству, к правилам переписки, к местным обычаям, к музыке и даже к правилам приличия. Формула, что между человеком и его создателем не должен стоять священник, – это отдельный фрагмент целостной философской доктрины. Подлинный пуританин точно так же был уверен, что ни один певец, рассказчик или музыкант не может переводить ему язык Бога при помощи языка приземленного искусства.

Интересно, что один пуританин – гений современности, а именно Толстой, пришел к этому пониманию во всей его целостности. Он отрицал любую музыку, как наркотик, и под конец жизни запрещал своим ценителям читать его собственные восхитительные романы. Однако английские пуритане были не только пуританами, но и англичанами, а значит, не всегда могли блистать ясностью мысли. Как мы увидим, настоящее пуританство оказалось на поверку скорее шотландским, чем английским.

Но пока это был лишь импульс и направление движения. Само по себе представление кажется логичным, если не обращать внимания на безумие в мелочах. Интеллектуальная истина была единственной достойной данью на алтаре высшей истины Вселенной, но на следующем шаге мы увидим, какой вывод делал пуританин из этой истины. Его индивидуальный разум, освободившийся от инстинктов и суеверий, открыл ему идею всемогущества Бога, которая на самом деле означала лишь беспомощность человека.

У Лютера, в ранней и более мягкой форме протестантизма, эта мысль доведена только до утверждения, что ничто из совершаемого человеком не может помочь ему, кроме обращения к Христу. Кальвин сделал следующий логический шаг и сказал, что человеку не сможет помочь даже это. Ведь всемогущество Бога предопределяет изначально его судьбу. А раз так, то люди рождены либо для того, чтобы спастись, либо для того, чтобы погибнуть. У наиболее радикальных последователей Кальвина, о которых мы здесь говорим, эта логика доведена до универсального блеска. Мы должны обнаружить эту логику во всех их парламентских и юридических формулах.

Когда мы читаем, что «пуританская партия требует провести реформу церкви», мы должны понимать это так: «Пуританская партия требует всеобщего и безусловного подтверждения того, что все люди созданы либо для спасения, либо для гибели». Когда мы читаем, что «армия призывает людей за их благочестие», мы

должны понимать это следующим образом: «Армия призывает тех людей, которые убеждены в том, что все люди рождены для спасения или для гибели». Надо добавить, что эта ужасная тенденция проявилась не только в протестантских странах – некоторые великие католики с сомнениями последовали за ней, пока их не остановил Рим.

Таков был дух этого века. И он отчетливо свидетельствует: не заблуждайтесь, считая духом этого века бессмертный дух человека. Однако сейчас лишь немногие могут оглянуться на то время, когда кальвинизм едва не захватил Кентербери и даже Рим благодаря гению Паскаля и Мильтона, без того, чтобы не заорать, как дама из пьесы Бернарда Шоу: «Великолепно! Замечательно! О, что за избавление!»

Следующий момент, который нужно отметить у пуритан, заключается в принципе действия церкви-правительства. Это было самоуправление в самом прямом смысле. И оно, по вполне понятным причинам, превратилось в весьма эгоистичное самоуправление. Равенство приняло там характер исключительности. Внутри молельня действовала как маленькая республика. Но по отношению к улице, находящейся за пределами молельни, она была уже не республикой, а аристократией. Причем худшим из всех ее видов – аристократией избранных. Она создавалась не по праву рождения, а по праву *до рождения*, и единственная из всех видов знати она не рассыпалась в прах.

Итак, с одной стороны мы имеем простых пуритан с их набором подлинных республиканских достоинств. Тут и сопротивление тиранам, и притязания на человеческое достоинство, и – превыше всего -первая из всех республиканских доблестей, а именно гласность. Один из цареубийц во время суда, приговорившего его к казни, сказал то, что при всей противоестественности его дела не позволяет отрицать его благородство: «Мы сделали это не втихаря».

Но с другой стороны их решительный идеализм не предпринял никаких мер, чтобы дать путь лучу света, который однажды озарил каждого пришедшего в мир человека. Они и в самом деле были похожи на ту ужасную плаху, на которую не боялся показать цареубийца. Они действительно были гласны, они могли быть даже одухотворены народом, но они никогда не были народны. Похоже, им и в голову не приходило, что им зачем-то следует быть народными. Англия никогда не испытывала такого недостатка демократии, как в тот краткий период, когда она была республикой.

Борьба со Стюартами – эта тема продолжает нашу историю –

стала следствием союза между двумя силами, который можно счесть случайным. Одной силой была интеллектуальная мода кальвинизма, влиявшая на культурный мир того времени примерно так же, как на современный культурный мир влияет интеллектуальная мода коллективизма. Другая сила была куда древнее, она сделала возможной и эту веру, и, пожалуй, сам этот культурный мир – я имею в виду мятеж аристократии при последних Тюдорах.

Можно сказать, что это повесть об отце и сыне, пытающихся свалить один и тот же золотой кумир. Но если младший делает это из ненависти к идолам, то старший – исключительно из любви к золоту.

И трагедией, и парадоксом Англии можно считать тот факт, что вечная составляющая этого союза миновала, а вот преходящая, земная страсть – осталась. Так случилось в Англии. А вот в Шотландии сложилось иначе, и это стало смыслом войны между шотландцами и англичанами, которая завершилась при Вустере[354]. Поражение роялистов привело к тому, что в Шотландии произошли те же изменения, что и в Англии – страна подверглась баронскому разбою. Даже Джон Нокс[355], пусть он и стал национальным героем, был крайне антинациональным политиком. Патриотической партией Шотландии была партия кардинала Битона[356] и Марии Стюарт.

Тем не менее новая вера сделалась народной в шотландском Лоуленде в такой степени, которой она никогда не достигала в нашей собственной стране. Поэтому в Шотландии пуританство стало главенствовать, в сочетании с парламентской олигархией. В Англии же главенствовать стала парламентская олигархия, в сочетании с пуританством. Когда при Карле I[357], после более-менее спокойного времени правления его отца, шотландского наследника Елизаветы, в стране разразилась буря, – она дала яркие примеры того, в чем же именно состояло отличие между демократической религией и аристократической политикой.

В Шотландии легендой стала история Дженни Геддес[358], бедной женщины, запустившей табуреткой в священника. В Англии легендой стала история Джона Хэмпдена [359], богатого помещика, поднявшего против короля графство. Парламентское движение в Англии было целиком в руках помещиков и их новых союзников – торговцев. Именно помещики видели себя подлинными вождями англичан. Однако они были вождями, не допускавшими мятежей среди своих последователей. В поместьях Хэмпдена определенно не было бунтующей деревни Хэмпден.

Стюарты, как можно предположить, принесли из Шотландии более средневековую и поэтому более логичную точку зрения на

то, в чем именно заключаются королевские функции. Отличительным признаком их нации всегда считалась логика. Пословица гласит, что Яков I был шотландцем и педантом. Вряд ли что-то подобное можно сказать о Карле I – он совсем не был педантом, но при этом он оказался шотландцем в квадрате. В нем ярко проявились добродетели шотландца: отвага, внутреннее достоинство и любознательность. Но при столь выраженных шотландских достоинствах в нем не осталось места для английскости – он не мог пойти на компромисс. Вместо этого он, призывая логику, пытался умничать, а это выглядело как нарушение данного слова.

Он вполне мог обезопасить себя непоследовательностью – стоило только проявить немного сердечности и податливости. Но он видел мир в черно-белом свете, и именно в таком свете остался в памяти потомков, правда, с преобладанием черного. Началось с того, что он принялся сражаться со своим парламентом как с врагом. Возможно, в тот момент он принимал его за иностранца. Дальнейшая история хорошо известна, так что нам нет нужды заботиться о джентльмене, который спешит заглянуть в конец главы, чтобы узнать, что же случилось с Карлом I.

Его министр, великий Страффорд[360], был свергнут при попытке сделать короля сильным в стиле французского абсолютизма и погиб на плахе, как несостоявшийся Ришелье. Парламент прибег к мощи кошелька. Карл обратился к мощи меча и сначала добивался практически всего, чего хотел. Но затем успех стал сопутствовать богатству парламентского класса, дисциплине новой армии, терпению и гению Кромвеля, и Карл I умер так же, как и его великий слуга.

Исторически спор разрешился сам собой, но его причины и по сей день разбираются куда детальнее, чем они того заслуживают. Они вылились в величайшую дискуссию современности о том, может ли король поднимать налоги без согласия своего парламента. Хрестоматийной моделью стал как раз инцидент с Хэмпденом, богатым бэкингемширским магнатом, который оспорил законность налога, установленного Карлом для нужд военного флота.

Поскольку даже новаторы обычно нуждаются в обосновании своих новаций примерами из прошлого, помещики превратили средневековую Великую хартию вольностей в легенду. Они так глубоко погрузились в предание, что выяснили: суть уступки Иоанна Безземельного, как мы и отмечали, была антидеспотической, но при этом не демократической. Две этих посылки представлены как два условия теоремы о падении

Стюартов. Поскольку они совершенно между собой не связаны, их придется рассмотреть по отдельности.

Сперва – замечание о демократии, которое непредвзятый человек, основывающийся на фактах, вряд ли станет рассматривать вообще. Можно утверждать, что парламент XVII века сражается за правду, а вот то, что он сражается за интересы населения, утверждать невозможно. После заката Средних веков парламент всегда был выраженно аристократическим и выраженно антинародным. Учреждение, которое запретило Карлу I собирать деньги на корабли, – это то же самое учреждение, которое запретило Ричарду II давать свободу сервам. Клика, которая требовала уголь и полезные ископаемые от Карла I, – это та же самая клика, которая впоследствии потребовала общинные земли у деревенских сообществ.

И определенно это было то же самое учреждение, которое двумя поколениями ранее с охотой помогало уничтожать не только институты народного утешения вроде монастырей, но и институты народного обеспечения вроде гильдий и общин, самоуправление городов и ремесел. Конечно, у деятельности великих лордов могла быть, да и была, другая, более патриотическая и созидательная сторона. Но эту разрушительную часть миссии великих лордов выполнил именно парламент – Палата общин была Палатой для лордов.

Однако, когда мы обратимся к другому, анти-деспотическому условию падения Стюартов, то обнаружим нечто, от чего куда сложнее отделаться, но что куда проще оправдать. Хотя против Стюартов выдвигались глупейшие аргументы, самая важная причина, побудившая их врагов действовать, так и не осуществилась. И связана она с тем, что наша островная история предпочитает не замечать, – с состоянием континента. Надо помнить, что хотя Стюарты и проиграли в Англии, они сражались задело, которое в Европе одержало победу.

Падение Стюартов явилось следствием контрреформации, заставившей искренних протестантов воспринимать стюартовский католицизм не как последний отблеск угасающего пламени, а как зарево разгорающегося пожара. Например, Карл II был человек с сильным, скептическим, почти раздражающе ироническим умом. Наверняка он был католиком, пусть не столько в религиозном, сколько в философском смысле. Но другим и куда более важным фактором опасности явилось присутствие на европейской сцене построенного во Франции самодержавия, монументального и жуткого, как Бастилия.

Оно было логичнее; во многом оно было более равноправной и, пожалуй, справедливой формой правления, чем английская

олигархия. Но в случае мятежа или даже ропота неповиновения оно превращалось в тиранию. В суровой английской правоохранительной системе судей и добрых традиций старого общинного права не было ничего похожего на letter de cachetas[361], неоспоримых, как заклинания.

В сопротивлении законам англичане преуспели больше французов. Французский сатирик возразил бы на это, что в соблюдении законов французы преуспели больше англичан. Упорядочиванием повсед-невнои жизни людей занимались помещики, но они сами были ограничены, если являлись еще и членами магистрата. Помещик был силен как хозяин деревни, но то, что при этом он являлся агентом короля, было его слабым местом.

Защищая этот порядок вещей, виги уж точно не защищали демократию, но они защищали свободу. Они защищали и остатки средневековых свобод, хотя и не лучшие – суд присяжных, но не гильдии. Даже феодализм, включавший в себя местничество с элементами свободы, сумел выжить в этой аристократической системе. Любившие ее должны были опасаться Левиафана государства, который для Гоббса был безликим чудовищем, а для Франции олицетворялся одним человеком.

Возвращаясь к затронутой теме, придется повторить: все, что в пуританстве было чистым, к сожалению, постепенно исчезло. Причину, по которой оно исчезло, можно обнаружить в том исключительном человеке, которого обычно считают ответственным за его, пуританство, появление. В реальной истории Оливер Кромвель куда в меньшей степени вождь пуританства и куда в большей – укротитель пуританства. Несомненно, что он увлекался, особенно в молодости – а возможно, и в течение всей жизни – некоторыми темными религиозными страстями того периода. Но как только он стал важным человеком, он тут же отдал предпочтение позитивизму англичан перед пуританством шотландцев.

Кромвель был одним из помещиков-пуритан, но в нем оказалось куда больше помещика, чем пуританина. Именно он привел в движение процесс, обративший класс помещиков едва ли не в язычество. Здесь – ключ к тому, за что его больше всего поносили и превозносили. Ключ к терпимости в отношении ко многим его сравнительно разумным, приемлемым и (в современном понимании слова) эффективным действиям. И ключ к неприятию его сравнительно грубых, низких и циничных действий.

Он был идеалистом наоборот, поэтому он и сам не мог стать идеалом без доведения ситуации до абсурда. При этом, как и

многие другие помещики, он принадлежал к истинным англичанам – не лишенным духа общества и уж точно не лишенным патриотизма. Приобретение им личной власти и уничтожение обезличенного и идеалистического правительства - за этими его действиями проглядывает подлинно английский абсурд.

Казнь короля, думается, не была его личной инициативой, и уж точно не характеризует его как палача. Эта казнь стала уступкой небольшой группе подлинных пуритан, носителей высоких бесчеловечных идеалов, с которыми он сначала пришел к компромиссу, а затем вошел в противоречие. С точки зрения логики, жестокость этого акта не похожа на кромвелевскую жестокость. Он направлял свою звериную жестокость на коренных жителей Ирландии, которых его новая духовная исключительность воспринимала как дикарей – или, воспользовавшись современным эвфемизмом, «аборигенов». Его практичный склад ума был более расположен к подобным «гуманным бойням» там, где, по его мнению, пролегала граница цивилизации, чем к человеческому жертвоприношению в самом ее центре, на ее форуме. Поэтому назвать Кромвеля типичным цареубийцей нельзя. В этом смысле палачество было ему не по плечу. Настоящие цареубийцы совершали этот акт в состоянии транса, экстатического провидчества. Его же видения не беспокоили.

Наглядным противостоянием религиозной и разумной сторон богословско-политических движений XVII века символически стал кровопролитный день в Данбаре[362]. Буйные шотландские проповедники преодолели сопротивление Лесли [363] и вынудили его с армией спуститься в долину, чтобы он стал там жертвой кромвелевского здравого смысла. Кромвель сказал, что это бог предал шотландцев в его руки. Однако их предал их же собственный бог, темный и противоестественный бог кальвинистских снов, столь же всемогущий, сколь и кошмарный.

Торжествовали в тот день, скорее, не пуритане, а виги. Они со своим аристократическим компромиссом были истинными англичанами. И то, что последовало за смертью Кромвеля, а именно – реставрация, было аристократическим компромиссом, точнее – виговским компромиссом. Толпа могла радоваться вернувшемуся королю, как королю средневековому, но и в протекторате, и в реставрации она могла распознать только часть правды. Даже самые очевидные вещи, которые представлялись спасением, на самом деле оказались лишь передышкой.

Режим пуритан выстоял благодаря обстоятельству, неизвестному Средневековью – милитаризму. Отборные

профессиональные войска, вымуштрованные, хорошо оплачиваемые, оказались новым инструментом, при помощи которого пуритане сделались хозяевами положения. Затем войска распустили – причем впоследствии их воссозданию противились как тори, так и виги. Но воссоздание казалось неминуемым, так как в воздухе уже витал суровый дух Тридцатилетней войны. Милитаризм – это изобретение, сделавшееся хронической болезнью. Его суть в том, что толпа может быть превращена в железную сороконожку ради избиения более многочисленных, но рыхлых толп.

Странная армия прошла по стране и рассеялась, словно летучее мусульманское вторжение. Но она принесла те перемены, которые неизбежно приносят воинственные храбрость и отвага, – пусть эти перемены оказываются и в худшую сторону. Железная сороконожка окончательно прекратила внутренние гражданские распри, она сделала невозможными многие вещи, в том числе, по всей видимости, и народные восстания в нашей стране.

Есть определенный символизм в том, что те же самые люди, которые основали Новую Англию в Америке, изначально пытались основать ее здесь. Парадокс, но в самой оголенности этой насаждаемой новизны проступало что-то доисторическое. Старые, дремучие вещи, к которым они взывали, выглядели тем более дикими, чем более подавались как нововведения. Если приглядеться к тому, что называлось еврейской субботой, то окажется, что пуритане в своей дремучей новизне переплюнули самого ортодоксального еврея. И именно они в тот век превратили сожжение ведьм из эксцесса в эпидемию.

Разрушители и разрушенное ими исчезли одновременно. Но пуритане остались в народной памяти как нечто более благородное, чем продолжившее их работу придирчивое законничество циников-вигов. Однако куда важнее вот что: пуритане во всем были антиисторичны, как футуристы в Италии. И в этом их неосознанное величие. Их святотатство было публичным и торжественным, как церковный обряд. Они чтили ритуалы, хотя были иконоборцами.

Если призвать на помощь воображение, то мы увидим еще одну символическую картину их странной, яростной простоты. Когда один из них перед толпой у Уайтхолла отрубил миропомазанную голову короля, наследника традиции Средних веков, другой срубил терновник в Гластонбери[364] – тот самый терновник, из которого выросла вся история Британии.

XIV. Триумф вигов

Мы можем верить или не верить в то, действительно ли Реформация реформировала. Однако в том, что реставрация на самом деле ничего не реставрировала, усомниться трудно. Карл II никогда не был королем в старом смысле этого слова – он всего лишь возглавлял оппозицию собственным министрам. Он сумел усидеть на троне потому, что был умным политиком. Его брат и наследник, напротив, оказался удивительно глупым политиком, поэтому брат трон потерял. Но сам трон к тому времени уже стал всего лишь одним из официальных постов. В чем-то, пожалуй, Карл II подходил куда более современному миру, чем тому, что ему достался. Он, скорее, человек XVIII, нежели XVII века. Он был остер умом, как персонаж комедии, но это уже комедия Шеридана, а не комедия Шекспира.

Он был современнее своего века, когда радовался отвлеченным экспериментам Королевского научного общества и горячо поклонялся тем игрушкам, которым суждено было вырасти в ужасные машины и механизмы будущего. Однако и он, и его брат по двум условиям были неразрывно связаны с прошлым – с тем прошлым, которое оказалось в Англии проигравшей стороной. Именно эти связи привели к тому, что дело их династии было проиграно. Первым из этих условий – постепенно ослабевавшим со временем – была ненависть к их религиозным взглядам. Вторым – постепенно укреплявшимся в следующем столетии – были их связи с французской монархией. Мы уже погружались в религиозные споры до того, как перейти к куда менее религиозному XVII веку, однако истина, рожденная в этих спорах, прошу прощения за тавтологию, довольно спорна, и вообще ее не так просто выявить.

Тюдоры начали преследовать старую религию еще до того, как перестали ее исповедовать. Это лишь одно из ключевых затруднений, которое можно описать при помощи противоречия. Человек елизаветинской эпохи чувствовал важность соблюдения священником целибата и готов был яростно отстаивать необходимость этого обета. При этом он мог преследовать и казнить любого, кого удалось уличить в сочувственной беседе с единственным из священников, целибат соблюдавшим[365]. У этой загадки может быть много объяснений, но она характеризует церковь Англии и в значительной степени английский народ. Ее можно назвать католическим наследием в англиканстве или недостаточно радикальным искоренением католицизма. Однако не может быть сомнения в том, что люди вроде Геррика[366],

например, даже во времена гражданской войны были набиты католическими «предрассудками» такого свойства, что сейчас мы бы назвали их континентальными.

Вообще довольно многие священнослужители несли в себе параллельные, но противоположно направленные страсти. Они считали континентальный католицизм не столько сбившейся с пути церковью Христовой, сколько изначально существовавшей церковью Антихриста. Именно поэтому так трудно теперь определить в них пропорцию протестантизма. Однако нет сомнений в том, что протестантизм все-таки присутствовал, особенно в таких важных центрах, как Лондон. Ко времени Карла II, уже после чисток пуританского террора, он стал чем-то более естественным и гуманным – по сравнению с крайностями кальвинистских убеждений или ложью тюдоровской знати.

Восстание Монмута[367] показало, что у протестантизма есть народная, хотя и не всеобщая, поддержка. Сила девиза «папству – нет» собирала толпы, однако никогда – весь народ. Скорее, здесь можно говорить о городской толпе, которая была подвержена тем же эпидемиям мелочных заблуждений, какие сегодня сенсационная журналистика вызывает в городских толпах. Одной из тогдашних страшилок (чтобы не называть ее подлинным именем – «ложь») был «папистский заговор» – буря, осторожно развеянная Карлом II[368]. Другой была «Сказка о грелке, или фальшивом наследнике престола» – буря, которая в итоге смела Якова II [369].

Последний удар, говоря по чести, вряд ли произошел бы без участия одного из тех нелогичных, но совершенно очаровательных местных обычаев, к которым так склонна английская натура. Спор вокруг церкви Англии и тогда, и сейчас отличается от большинства подобных споров в одном важном пункте. Это не спор об учреждении – каким оно должно быть, или каким образом его следует преобразовать. Это спор о том, чем же учреждение является. Одну партию и тогда, и сейчас заботит только то, что церковь была католической, другую – что она стала протестантской. То, что случилось с англичанами, совершенно непредставимо в отношении шотландцев или ирландцев. Массы обычных людей полюбили англиканскую церковь, так и не решив, чем же она является.

Ее влияние сильно отличалось от влияния средневековой церкви. Маколей посвятил несколько страниц своего исторического труда доказательствам того, что англиканское священство в обществе XVII века было не более чем верхним слоем государственных служащих. Возможно, он прав; однако он не увидел, что это была выродившаяся формула куда более

демократического священства Средних веков. К священнику тогда не относились как к джентльмену, зато к крестьянину могли относиться как к священнику. В Англии и тогда, и теперь многих радует народное представление, что священничество выше светской знатности.

В общем, в те годы национальная церковь была действительно национальной – может быть, интеллектуально расплывчатой, зато эмоционально яркой. Именно поэтому, когда Яков II поставил под угрозу это учреждение, он столкнулся с реакцией куда более народной, нежели привычное самодовольство вигов в парламенте.

Тут надо припомнить обстоятельство, которое обычно забывается. Я имею в виду вот что: влияние, называемое «папским», тогда вполне серьезно рассматривалось как революционная угроза. Иезуиты казались англичанам не просто заговорщиками, но разновидностью анархистов. Их абстрактные размышления пугали англичан, а уж абстрактные размышления таких иезуитов, как Суарес[370], были близки к самым крайним доктринам демократии и другим вещам, о которых в Англии даже не мечтали.

Последние предложения Стюартов в области веротерпимости казались большинству населения столь же холодными и пустынными, как постулаты атеизма. Единственными англичанами XVII века, имевшими отношение к туманным абстракциям, были квакеры. Уютное английское согласие дрогнуло, когда иезуиты и квакеры ударили по рукам. Чтобы две этих философских крайности встретились, требовалось нечто большее, чем интриги Стюартов – хотя бы потому, что эти крайности были философскими. Тем не менее обстоятельства подтолкнули изнывавшего от скуки, но обладающего чувством юмора Карла II к союзу с утонченным и независимым духом Уильямом Пенном[371].

Большая часть Англии была встревожена стюартовскими идеями веротерпимости, поскольку они выглядели слишком теоретическими и поэтому странными. Они опережали свой век и казались слишком утонченными и даже бесплотными на фоне его сгущенной атмосферы. В своей привязанности к материальному англичане испытывали ненависть к папству – пусть маниакальную, но искреннюю. Государство, как мы видим, надолго было превращено в давильню – машину пыток, нацеленную на католических священников и сочувствующих им. Говоря об этом времени, многие вспоминают об отмене Нантского эдикта[372], но английские преследователи католиков никогда не были столь терпимы: у них не нашлось эдикта ни для

прекращения гонений, ни для его отмены. Однако в те времена английские преследователи, равно как и французы, по крайней мере угнетали меньшинство.

Увы, была все же одна провинция, в которой меньшинство безумным образом угнетало большинство. Именно в эти времена достигло своего расцвета и приняло чудовищный облик то преступное сообщество, которое называлось правительством Ирландии. Можно долго описывать сеть противоестественных законов, которой эта страна была опутана вплоть до XVIII века. Однако будет достаточно сказать, что само отношение к ирландцам у англичан оказалось трагически злонамеренным, и связано это именно с изгнанием Стюартов. Один из актов этой трагедии останется в памяти навсегда. Яков II, сбежавший от возбужденной Англии, нашел в итоге убежище в Ирландии, которая заступилась за него с оружием в руках. Принц Оранский[373], которого аристократия привела на трон, высадился в Ирландии с англо-голландской армией, выиграл битву на Бойне[374], но вдруг обнаружил свою армию окруженной у Лимерика[375] благодаря военному гению Патрика Сарсфилда[376]. Объявленный шах был столь очевиден, что восстановить мир удалось только благодаря обещанию полной религиозной свободы, данному ирландцам в обмен на сдачу ими Лимерика. Но как только английское правительство получило город, оно тут же нарушило свое обещание. Здесь не о чем больше говорить. Для ирландцев память об этом вероломстве – трагическая необходимость. Но то, что англичане забыли эту историю – еще более трагическая вещь. Тот, кто забывает свой грех, навечно обречен впадать в него снова и снова.

Теперь позиции Стюартов стали куда более уязвимыми именно в вопросах светской политики, особенно – иностранной. Аристократы, к которым власть окончательно перешла после революции[377], больше не нуждались в какой-либо сверхъестественной протестантской вере, противостоящей католицизму. Однако они обладали естественной верой – в Англию, противостоящую Франции, или, конкретнее, в английские установления, противостоящие французским установлениям. И точно так же, как эти передовые и наименее средневековые – по сравнению с остальным человечеством – люди хвастались такими средневековыми свободами, как Великая хартия вольностей, парламент или суд присяжных, они обращались к истинно средневековой легенде о сути войны с Францией.

Типичный олигарх XVIII века вроде Горация Уолпола[378] мог жаловаться на то, что чичероне в старой церкви донимал его

следами какой-то недостоверной фигуры, называемой святой Имярек, когда он занимался поиском следов Джона Гонта[379]. Он мог говорить это со всей наивностью скептика, и при этом ему не приходило в голову, насколько далек он от извилистых путей Джона Гонта, когда так говорит. Но несмотря на то, что его представления об истории Средних веков скорее походили на бал-маскарад, для борьбы с Францией он мог прихватить, пусть даже в качестве маскарадного костюма, доспехи Чёрного принца[380] или корону Генриха Монмута[381].

Вывод здесь такой: даже аристократы с большой долей вероятности могли быть популярны, поскольку патриоты всегда будут популярны. Верно, что последние Стюарты сами по себе были далеки от непатриотичности – того же Карла II, в частности, с полным правом можно считать создателем британского флота. Но из всех прочих стран с особой симпатией они относились именно к Франции. Там они получали убежище – старшие до, а младшие после их пребывания у власти. Франция поддерживала позднейших якобитов в их попытках восстановить права на трон. Но для новой Англии, особенно для новой английской знати, Франция была врагом.

Изменения, которые с конца XVII века претерпели внешние сношения Англии, можно символически соотнести с двумя факторами. Первый связан с воцарением на английском троне голландского короля. Второй – с воцарением там германского короля. Вильгельм Оранский был вроде пушки, затащенной в крепость через брешь в стене, и поскольку он был иностранной пушкой, то его пускали в дело преимущественно в тех конфликтах, которые для Англии являлись внешними. Правда, в этих конфликтах и сами англичане, а особенно английские аристократы, могли сыграть большую роль. Что касается Георга из Ганновера[382], то им английские аристократы брешь в стене просто заткнули, как, бывает, латают подобные дыры первым подвернувшимся под руку хламом.

Во многих отношениях Вильгельм, несмотря на свой цинизм, являлся носителем легенды о великом и суровом духе протестантизма. Он был убежденным кальвинистом. Что же до Георга, то никого не интересовало, во что он верит, – лишь бы он не был католиком. Вильгельм в своей стране был отчасти республиканским чиновником, воплощавшим в жизнь чисто республиканский эксперимент, и жил в атмосфере чистых, хотя и довольно холодных идеалов XVII века. А Георг в своей стране походил на то, чем для своей страны является король людоедских островов – дикого барина, едва ли настолько последовательного в своих действиях, чтобы заслужить звание деспота. Вильгельм был

человеком с острым, хотя и не широким интеллектом. Георг был человеком без интеллекта. Ну и главное: Вильгельм был женат на принцессе из рода Стюартов и взошел на трон рука об руку со Стюартами. Он уже не был чужаком, он был частью королевской семьи. Но с Георгом в Англию пришло то, что раньше здесь вряд ли видели. Об этом не писали ни в средневековых, ни в ренессансных манускриптах, за исключением упоминаний о готтентотах – варварах из-за Рейна[383].

Царствование королевы Анны, охватывающее период между двумя этими иностранными королями, действительно оказалось переходной эпохой. Это мост между временами, когда аристократы были еще достаточно слабы и призывали сильного человека, чтобы тот им помог, и временами, когда они были уже вполне сильны, чтобы призывать слабого человека, не мешающего им справляться со своими делами самостоятельно.

Символы – это всегда упрощения, причем зачастую – чрезмерные упрощения. Но было бы интересно символически проиллюстрировать историю царствования Анны противостоянием двух величественных фигур, джентльменов и вождей своего времени, храбрых и четких как в своих целях, так и во всем остальном. Их противопоставляет друг другу лишь единственный резкий контраст. Одной из этих фигур был Генри Сент-Джон, лорд Болингброк. Другой – Джон Черчилль, знаменитый и печально известный герцог Мальборо. История Черчилля – история революции и ее успеха; история Болингброка – история контрреволюции и ее провала.

Черчилль – типаж чрезвычайных времен, он сочетает в себе присутствие славы с отсутствием чести. И только когда новая аристократия укоренилась, она в следующие несколько поколений смогла произвести тип личности не только аристократичный, но и рыцарственный. Революция понизила Англию до страны, целиком управляемой джентльменами. Народные университеты и школы Средних веков так же, как и гильдии с аббатствами, были приватизированы и превращены в то, чем они теперь являются – в фабрики по производству джентльменов, если не сказать сноб-фабрики. Сейчас уже трудно осознать, что учреждения, называемые публичными школами, когда-то были действительно публичными. Но к временам революции они уже стали частными и продолжают оставаться таковыми по сей день.

И тем не менее, по крайней мере в XVIII веке, были уже и великие джентльмены, обладающие благородством, которое может показаться даже избыточным в сравнении с тем, какое сейчас принято приписывать этому сословию. Типажи не только

честные, но безрассудные и романтические в своей честности, остались в анналах под именами Нельсон или Фокс.

Мы уже видели, как позднейшие реформаторы громили церкви из фанатизма, хотя первые реформаторы громили их просто из жадности. Точно так же вигами XVIII века часто восхищаются за то, что они делали из чистого великодушия ровно то же самое, что виги XVII века делали из чистой низости. Как низка была эта низость, можно оценить, когда осознаешь, что великий герой обладал не только обычными воинскими добродетелями верности флагу или послушания вышестоящим офицерам, но носил в себе еще один дух, сделавший его имя бессмертным – наблюдательный дух мародера, следующего за военным лагерем.

Когда Вильгельм высадился на берегах залива Торбей по приглашению других знатных вигов, Черчилль решил добавить яркую краску к взятому им за подражание образу Искариота. Сперва он отправился к Якову с признаниями в любви и верности. От Якова он отправился во главе армии защищать родину от вторжения. Затем он спокойно передал свою армию в руки завоевателя.

Чтобы завершить описание этого шедевра военного искусства, которым мало кто сможет вдохновиться, скажу лишь, что по той же схеме действовали и остальные деятели революции. Пока они окружали трон Якова, вряд ли хоть один из них не состоял в переписке с Вильгельмом. Когда они окружили трон Вильгельма, вряд ли среди них нашелся хоть один, кто теперь не состоял в переписке с Яковом. Таковы были люди, победившие ирландцев при помощи предательства под Лимериком. Таковы были люди, победившие шотландских якобитов при помощи предательства в Гленко[384].

Поэтому блестящая история Англии XVIII века -это история величия, основанного на ничтожестве, это перевернутая пирамида. Если воспользоваться другой метафорой, то новая торговая олигархия Англии может быть сопоставлена с родным городом ее великой сестры – торговой олигархии Венеции. Вся твердость Венеции – сверху, но вот внизу, на уровне фундамента – зыбко. Великий храм Чатема и Уоррена Гастингса[385] был воздвигнут на столь же непрочном основании, как вода, и оказался столь же эфемерен, как пена.

Конечно, лишь фантазия может связать эту странную конструкцию с беспокойным и переменчивым духом властелинов морей. Но таково ее происхождение – чисто коммерческое, хотя позднейшие поколения нашей торговой аристократии были уже другими. Отношение к английской политике того времени можно

выразить на старом примере, зашифрованном в словах «пуническая верность»[386]. Великий роялист Страффорд, разочаровавшись перед смертью в собственных убеждениях, сказал: «Не полагайтесь на принцев». Великий роялист Болингброк мог бы добавить к этому: «И еще меньше – на принцев коммерции».

Болингброк отстаивал комплекс убеждений, которыми Англия была некогда преисполнена, но на нынешнем повороте истории они практически выветрились. Не уяснив их содержания, мы не сможем понять наше прошлое, равно как и прозреть наше будущее. Довольно любопытно, что лучшие английские книги XVIII века этими убеждениями просто напичканы, пусть современная культура их там и не видит. Доктор Джонсон[387] полон ими. Именно к ним он отсылает, когда осуждает власть меньшинства в Ирландии. То же самое происходит, когда он говорит, что первым вигом был дьявол. Подобными убеждениями полон и Голдсмит[388]; они – смысл прекрасных стихов «Заброшенная деревня», они, но уже как теория, ясно и одухотворенно изложены в «Викарии Уэйкфилда». Ими полон и Свифт – он видел себя интеллектуальным братом по оружию Болингброка. Во времена королевы Анны эти убеждения разделяло большинство населения Англии. Но не только Ирландия оказалось местом, где править стало меньшинство.

Эти убеждения, блестяще развитые Болингброком, касаются различных аспектов. Самое практичное их приложение – тезис, по которому одной из добродетелей деспота является удаленность от него. «Мелкий тиран в полях», – вот кто на самом деле отравляет человеческую жизнь. Этот тезис включает в себя как простую истину, что хороший король – это лучшее из возможного, так и парадокс, что плохой король – это хороший король, так как своим деспотизмом он ослабляет знать и, стало быть, облегчает ее давление на население. Если правитель тиран, то пытает он главным образом палачей. Хотя Нерон и убил собственную мать, и этот поступок вряд ли стал достижением для его души, однако империя в целом особенного убытка от этого не претерпела.

В общем, Болингброк имел в голове целостную и разумную теорию якобитства. В остальном он был прекрасный и типичный для XVIII века интеллектуал, свободно мыслящий деист, ясный и классический английский писатель. Но при этом исполненный духа авантюризма и блеска политической отваги, достаточных для того, чтобы совершить последний решительный жест в пользу Стюартов. Его победила могучая виговская знать, создавшая комитет по выборам нового правления из джентльменов. Если понять, кто его победил, уже не обязательно добавлять, что его

победили при помощи лживых уловок.

На трон взошел ничтожный германский принц. Вернее, он был посажен на трон, как кукла. Великий английский роялист отправился в изгнание. Двадцать лет спустя он возвращается и вновь заявляет о своей живой и логичной вере в народную монархию. Однако теперь этот выдающийся ум ради достижения своего абстрактного идеала предлагал усилить наследника того самого короля, изгнания которого он пытался добиться.

В первую очередь он был роялистом, и лишь потом – якобитом. Он выразил это в своей главной книге «Патриотический король», написанной в изгнании. Когда он решил, что правнук Георга уже в достаточной степени патриот, его единственным желанием было, чтобы власть короля сделалась по-настоящему крепкой. В старости он совершил еще одну попытку реализовать свой идеал, но с такими негодными инструментами, как Георг III[389] и лорд Бьют. Они сломались в его руках, однако он умер исполненный достоинства и с полным правом мог бы сказать: «Но дело побежденных угодно Катону»[390].

Великая коммерческая аристократия достигла пределов своих возможностей. И если мы захотим понять, что же хорошего и дурного принесло Англии ее укрепление, нет ничего лучше, чем проследить историю периода от первого неудачного переворота, затеянного Болингброком, до второго. В первом случае его политика привела к миру с Францией и осложнила отношения с Австрией. Во втором случае его политика вновь привела к миру с Францией и осложнила отношения с Пруссией. К этому времени потомство ростовщиков-помещиков из Бранденбурга вошло в силу и практически явило уже то чудо, которое в итоге стало величайшей проблемой для Европы.

К концу этой эпохи Чатем, который создал – хотя бы в отношении внешней формы – все то, что мы образно называем Британской империей, был на вершине собственной славы и славы своей страны. Он олицетворял новую Англию во всем, что делал, но особенно в тех внутренних виговских противоречиях, которые на самом деле являлись гарантами целостности. Он был вигом, причем именно в том смысле, в каком его можно назвать либералом – точно так же, как и его сын, наследовавший ему. Но одновременно он был империалистом, и тут его следует назвать джинго. Он был аристократом в том смысле, в каком все публичные люди того времени были аристократами. Но одновременно с куда большей уверенностью его можно назвать коммерциалистом – или, если угодно, карфагенянином. В этом качестве он обладал свойством, которое его очеловечивало, но

одновременно не препятствовало планам аристократии: он нашел общий язык со средним классом и смог этот класс использовать. Молодой военный незнатного происхождения, Джеймс Вольф[391], – вот кто героически погиб, изгоняя французов из Квебека. Молодой клерк Ост-Индской компании, Роберт Клайв[392], – вот кто распахнул золотые ворота Индии для англичан.

Но все-таки самой сильной стороной аристократии XVIII века было то, что она сумела без сопротивления поглотить богатейшую буржуазию, таким образом обезопасив общество от возможного раскола. Чатем был ярким парламентским оратором, и, хотя парламент в те годы был узок, как сенат, он сумел стать там одним из величайших сенаторов. Само это слово напоминает о благородстве фраз, которые звучали под сводами римского сената. И мы будем правы, если сочтем их классическими, но ошибемся, если назовем их холодными.

Казалось, ничто не может быть дальше друг от друга, чем эта вычурная ученость, эта патрицианская мягкость, этот воздух свободы и морских приключений с одной стороны, и небольшое удаленное от моря государство скупого фельдфебеля из Потсдама, выковывающего из неотесанных крестьян солдат, с другой.

И тем не менее великий вождь этого государства в каком-то смысле был тенью Чатема, простертой над миром. Но тенью преувеличенной и карикатурной. Властители Англии, чье язычество было облагорожено патриотизмом, увидели в ней нечто отдаленно напоминающее развитие их собственных теорий. То, что у Чатема было язычеством, у Фридриха обернулось атеизмом. То, что у первых было патриотизмом, у вторых обернулось тем, что иначе как пруссачеством не назовешь.

Так людоедская теория о государстве, обладающем природным правом пожирать другие государства, вошла в христианский мир. Их самодержавие и наша аристократия постепенно сближались, и казалось, что недалек тот час, когда они обвенчаются. Но великий Болингброк совершил свой предсмертный поступок и воспрепятствовал оглашению помолвки.

XV. Война с великими республиками

Нам не понять XVIII век, пока мы считаем риторику неестественной по причине ее художественности. Ни с одним другим видом искусства мы в такое заблуждение не впадаем. Мы говорим о человеке, извлекающем ноты, таящиеся под клавишами из слоновой кости в деревянном пианино, что он делает это «с большим чувством». Мы можем сказать о человеке, терзающем смычком струны после долгих похожих на акробатику тренировок, что он «изливает душу». Однако мы по-прежнему полны предубеждения, что словесные фигуры и эффекты лицемерны, если они используются для связи таких жизненных вещей, как человек и толпа. Мы сомневаемся в истинности чувств старомодного оратора, потому что он говорит так округло, расставляет ударения и делает красноречивые паузы для выражения своих чувств.

Поэтому, прежде чем критиковать героев XVII века, необходимо принять и учесть их полную художественную искренность. Их речи подобны нерифмованным поэмам и полны поэзии человечности. Речь не о верлибре – столетие было наполнено великими фразами, сказанными в великие моменты. В этих фразах чувствуется трепет мгновения, они – как припев песни, люди словно бы мыслили мелодиями. В нельсоновском «С честью я получил их, с честью я умру с ними…» больше ритма, чем в любом поэтическом верлибре. Слова «Дайте мне свободу или дайте мне смерть…» Патрика Генри[393] могли бы стать лучшей строкой Уолта Уитмена[394].

Одно из милых лицемерий англичан – их желание выглядеть так, будто они не способны говорить публично. Между тем в XVIII веке Англия славилась великолепными публичными речами. Франция могла похвастать значительным числом хороших писателей, но там не было столь роскошных речей, как в Англии. У парламента было полно изъянов, но ему хватало искренности для риторики. Как и ныне, парламент был продажен, но тогда примеры коррупции были примерами-предупреждениями, в то время как сейчас они примеры для подражания. Как и ныне, парламент был равнодушен к избирателям, но тогда хотя бы избиратели были не столь равнодушны к парламенту. Как и ныне, парламент был полон снобизма, но тогда он проявлял больше уважения к простым сословиям и меньше – к простому богатству.

Однако парламент все-таки был парламентом. Он исполнял определенный своим именем долг – в нем

говорили и старались делать это хорошо. Он поступал так не

только потому, что терпеть не мог пустой болтовни, подобной нынешней, – он был, к вечной славе нашей страны, большой «мастерской слов», а не просто магазином готовых речей с финансовыми рекомендациями или на случай официальных заявлений. И подобно тому, как это было у других художников, забота англичанина XVII века о своем ораторском искусстве – это доказательство его искренности, а не наоборот. Восторженный панегирик Бёрка столь же роскошен, как сонет влюбленного поэта, – но это потому, что Бёрк действительно восторжен, как влюбленный. Злобное обличение Юниуса[395] составлено с холодной тщательностью, как яд времен Ренессанса, – но это потому, что Юниус на самом деле злобен, как отравитель.

Поэтому никто из тех, кто чувствует этот нерв времени, ни на минуту не усомнится, что многие из английских аристократов XVIII века действительно восторгались свободой. Их голоса трубили об этом в каждом своем слове. Что бы ни имели в виду их предшественники, эти люди утверждали именно то, что думали, когда говорили о светлой памяти Хэмпдена и важности Великой хартии вольностей. Эти патриоты, которых Уолпол[396] назвал «мальчиками», в большинстве своем и были настоящими патриотами – или, что вернее, на самом деле были мальчиками. Если угодно, среди аристократов-вигов было много настоящих вигов – тех, кто соответствовал определению этой партии как законной защитницы от тиранов и царедворцев.

Но если у кого-то на основании того факта, что виги-аристократы были вигами, зародится сомнение – а были ли виги-аристократы аристократами? -то в этом легко удостовериться. Достаточно будет вспомнить, например, законы о дичи и законы об огораживании, которые они приняли, или закон о строгом дуэльном кодексе и уложение о наградах, на которых они настаивали. Однако если вы действительно хотите убедиться, прав ли я, называя весь этот мир аристократией, то есть чем-то противоположным демократии, то на этот случай есть подлинная историческая проверка.

Когда республиканство в полный голос заявило о себе на исторической арене, аристократия тут же развязала с ним две большие войны, или (если вам больше нравится другой взгляд) республиканство моментально развязало две большие войны с аристократией. Америка и Франция обнажили подлинную природу английского парламента. Лед может искриться, но настоящая горячая искра покажет, что перед нами всего лишь лед. Когда красное пламя революции прикоснулось к морозному великолепию вигов, они тут же зашипели и хлынули в бой. Это была война пламени, стремившегося растопить лед, и воды,

стремившейся потушить пламя.

Необходимо отметить, что одним из достоинств аристократов была свобода, но свобода для себе подобных. Иными словами, одним из достоинств аристократии был цинизм. Они не впадали в обольщение, подобно нашей модной беллетристике с ее картонными идолами в виде хорошего человека по имени Вашингтон и плохого человека по прозвищу Бони[397]. Они как минимум понимали, что дело Вашингтона далеко не так однозначно бело, а Наполеона – не так однозначно черно, как это выглядит в большинстве широко разошедшихся ныне книг.

Они испытывали естественное восхищение перед военными дарованиями Вашингтона и Наполеона и совершенное, без примесей, презрение к германской королевской семье.

Но аристократы как класс были не против лично Вашингтона или против лично Наполеона. Аристократы были против них по той причине, что и тот и другой выступали на стороне демократии. Огромной несправедливостью в отношении английского аристократического правительства того времени является наша неспособность осознать это принципиальное различие, особенно в случае с Америкой. Есть известная шутка про заблуждения англичан, весьма уместная в этом случае: они часто обеляют себя там, где поступают категорически неправильно (как, например, с Ирландией), но столь же часто очерняют себя там, где поступают более-менее верно (как, например, с Америкой).

Правительство Георга III установило определенные налоги на колониальные сообщества восточного побережья Америки. И вовсе не самоочевидно, если говорить о праве и прецедентах, что правительство империи не может устанавливать подобного рода налоги для колонистов. Да и не в налогах было дело, хотя нет смысла отрицать, что гнет налогов неизменно способствует росту революционных брожений. У олигархов-вигов имелись определенные недостатки, но полное отсутствие симпатии к свободе, особенно местной свободе, тем более с учетом их родства по крови и авантюризму с заморскими собратьями, было явно не их недостатком.

Чатем, великий вождь новой национальной знати, был в этом качестве типичен в смысле цинизма и отсутствия малейших ограничений по отношению к колониям. Он бы сделал их свободными и даже привилегированными колониями, если бы мог сохранить их в качестве колоний. Бёрк, самый красноречивый голос вигов и в дальнейшем ярко зарекомендовавший себя как целиком и полностью аристократичный голос, пошел бы еще дальше. Даже с Нортом можно было договориться, хотя Георг III,

будучи дураком, мог такой компромисс и отвергнуть. Но как бы то ни было, он уже не мог реализовать схему Болингброка и вернуть себе реальную власть.

В случае с американцами подлинная причина, приведшая к откровенному конфликту, была куда глубже этого конфликта. Дело вовсе не в мертвой монархии – дело в живой аристократии. Американцы объявили войну тому, кто был умнее и опаснее бедного старого Георга. Однако народное предание, особенно в Америке, рисует войну в первую очередь как поединок между Георгом III и Джорджем Вашингтоном – как обычно и случается с народными преданиями, такого рода рисунок в символическом смысле отнюдь не ложен.

Голова короля Георга приносила на троне пользы не больше, чем на вывеске таверны, но и вывеска зачастую становится знаком – знаком времени. Она располагалась над таверной, где продавали уже не английское, а немецкое пиво. Она обозначала ту линию политики вигов, в которой Чатем допускал терпимость по отношению к Америке, но был нетерпим к Америке в союзе с Францией. Эта деревянная вывеска символизировала – ни много ни мало – объединение с Фридрихом Великим. Она означала англо-германский союз, который значительно позже превратится в «старую как мир» тевтонскую расу.

Грубо говоря, Америку принудили к конфликту. Она хотела жить самостоятельно, что, иными словами, означало для нее быть свободной. Она не думала о своих обидах, как колония, она думала о своих правах, как республика. Негативные последствия от столь незначительных различий[398] никогда не смогли бы изменить мир, если бы не воодушевляющее влияние великого идеала, а можно сказать, – и новой великой религии.

Подлинная причина действий колонистов заключалась в ощущении, что они могут стать чем-то большим. Но они чувствовали, и чувствовали верно, что Англия не станет им в этом помогать. Англия, возможно, дала бы им все допустимые в рамках конституции льготы и привилегии, но Англия никогда бы не дала колонистам равенства. Здесь я имею в виду не равенство Америки с Англией, а равенство американцев между собой.

Чатем мог бы достигнуть компромисса с Вашингтоном, поскольку Вашингтон был джентльменом. Однако вряд ли Чатем мог вообразить себе страну, не управляемую джентльменами. Бёрк, скорее всего, готов быть дать Америке все, что она просит, однако даже он не был готов дать Америке то, что она в итоге получила. Если бы он увидел американскую демократию, она бы потрясла его так же, как его потрясла французская демократия. В общем, виги были либералами, этакими великодушными

аристократами, но все же они были аристократами. Именно поэтому их уступки были столь же тщетны, как их завоевания.

Вот что можно было бы сказать, хоть это и довольно унизительно, о нашем сомнительном участии в отделении Америки. Не знаю, увеличит это наше унижение или уменьшит, но меня терзают подозрения, что мы вообще были здесь почти не при чем. Нас просто не брали в расчет. Ведь в действительности ни мы не преследовали американских колонистов, ни сами не были гонимы ими. Их просто манил свет, который был зажжен под другими небесами.

Этот свет пришел из Франции, как и армии Лафайета[399], прибывшие оттуда на помощь Вашингтону. Франция уже испытывала родовые муки той громадной духовной революции, которая скоро изменит облик мира. Ее принципы – и разрушительные и созидательные – были не до конца поняты современниками и остаются непонятыми по сей день, несмотря на ясность стиля, которым Руссо написал свой «Общественный договор», а Джефферсон «Декларацию независимости».

Произнесите слово «равенство» в большинстве современных стран, и сотни дураков сразу вскочат и заявят, что некоторые люди, при внимательном рассмотрении, выше ростом или симпатичнее других лицом. Как будто за Дантоном не замечали, что он был длиннее Робеспьера, а Вашингтон не знал, что лицо у него симпатичнее, чем у Франклина.

Здесь нет места, чтобы вдаваться в философию. Вполне достаточно краткого пояснения в притчевой манере: если мы говорим, что все пенни одинаковы, мы вовсе не имеем в виду, что они одинаковы с виду. Мы имеем в виду, что они одинаковы лишь в одном абсолютном смысле, самом важном по отношении к ним. На практике это означает, что у монет равное достоинство и если мы соберем их двенадцать штук, то получится шиллинг.

Можно добавить, что символично и даже мистично каждая из монет несет на себе изображение короля. И куда более мистично – и в этом состоит самый практический смысл равенства, – что каждый человек несет в себе образ Царя Царей. В общем, перед нами, конечно, та же самая идея, на которой основано все христианство – в том числе и те учреждения, которые были куда менее народны, чем, например, россыпь средневековых республик в Италии.

Догма о равных обязанностях подразумевает и равные права. Я не знаю ни одного авторитетного христианского источника, который бы не признавал, что убивать бедного человека так же плохо, как и богатого, что так же скверно вламываться в безвкусно обставленный дом, как в обставленный со вкусом. Но

мир со временем уходил все дальше и дальше от этих банальных истин. И никому не удалось уйти от них дальше, чем великим английским аристократам. Идея о равенстве людей – это в сухом остатке идея о важности человека. А это уже готовый тезис о важности простого человека, казавшийся невероятным и непристойным в обществе, вся романтика и религия которого теперь состояла из важности джентльмена.

Высказанный публично, этот тезис был равносилен приходу в парламент голышом. Здесь нет места для того, чтобы развивать моральные темы во всю их ширь, но и написанного вполне достаточно, чтобы показать: критики, рассуждающие о различии человеческих типов или талантов, тратят время попусту. Если они способны понять, что две монеты имеют одну и ту же ценность несмотря на то, что одна из них блестит, а другая ржавая, то они, вероятно, поймут и то, что два человека могут голосовать на равных, хотя один из них веселый, а другой скучный. Если же они не удовлетворятся этим и примутся дальше возражать против скучности отдельных людей, мне придется принять серьезный вид и согласиться с ними, что да, некоторые люди, действительно, очень скучные.

Но вот что интересно: через несколько лет после того, как Лафайет помог основать республику в Америке и вернулся на родину, он был вынужден бежать оттуда за границу, потому что, как выяснилось, препятствовал созданию республики во Франции. Столь яростны и стремительны были движения этого нового духа, что республиканец в обновленном мире показался реакционером из старых времен. Когда Франция перешла от теории к практике, она уже не могла удовлетвориться итогами и масштабами подготовительного эксперимента над редким населением колониального побережья. Могущественнейшая из человеческих монархий, напоминавшая неизмеримо огромного железного идола, оказалась расплавленной в печи значительно большей по размеру.

Там она была переплавлена в нечто столь же колоссальное, но принявшее форму, понять которую современники не могли. И хотя понять ее не мог практически никто – меньше других ее понимали либеральные аристократы Англии. Впрочем, они и без того имели практические причины политики, постоянно враждебной к Франции, будь она хоть королевской, хоть республиканской.

Во-первых, они надеялись удержать французов от того, чтобы они угрожали нам с фламандского побережья. Во-вторых, пусть и в куда меньшей степени, имело значение колониальное соперничество, в котором англичане достигли славы благодаря

имперскости Чатема и оружию Вольфа и Клайва.

Но первая угроза вернулась со зловещей иронией: стараясь удержать французов подальше от Фландрии, мы обрекли себя на увлечение братством с немцами – мы целенаправленно подкармливали и баловали державу, которая в будущем так разделалась с Бельгией, как этого никогда не делали французы, после чего стала угрожать нам через море такими ужасами, о которых ни один француз не мог даже помыслить.

Однако вернемся к вещам, объясняющим наше отношение к Франции до и после революции. Поскольку и в логике, и в истории от деспотизма до демократии всего один шаг, то следует признать, что олигархия от них равноудалена. Когда пала Бастилия, англичанину показалось, что это просто деспот превратился в демос. Когда явился юный Бонапарт, англичанину снова показалось, что это просто демос превратился в деспота. Он не ошибался, считая то и другое разными состояниями одной и той же враждебной сущности. Этой сущностью было равенство. Когда миллионы в равной степени подчиняются одному закону, не так уж важно, был ли у этого закона один законодатель.

Есть свойство, которое англичане никогда не замечали в Наполеоне. За мириадами исследований о его мистической личности они не видели, насколько он безличен. Я бы даже сказал, – насколько он неважен. Наполеон говорил о себе: «Я войду в историю с моим кодексом[400] в руке». Но в практическом смысле, отвлекаясь от присущей его имени славы, куда вернее было бы сказать, что скорее кодекс вошел в историю вместе с рукой, его подписавшей – причем неразборчиво. Это так, поскольку именно кодекс Наполеона раздробил крупные землевладения и воодушевил мирных крестьян – и там, где его имя было проклято, и там, где оно было практически неизвестно. При жизни, естественно, триумфальная череда его военных успехов слепила глаза, как вспышки молний. Пролившийся вслед за ними дождь был куда тише -тем не менее свежесть от этого дождя ощутима до сих пор.

Нет необходимости повторять, что после разгрома одной мировой коалиции за другой в битвах, считающихся шедеврами военного искусства, Наполеон в итоге потерпел поражение от двух практически народных движений – сопротивления России и сопротивления Испании. Первое было в значительной степени, как это обычно случается в России, исполнено религиозного духа. Но во втором было больше того, что касается именно нас и составляет доблесть, зоркость и высокий национальный дух Англии образца XVIII века. В долгой испанской кампании прошел испытания и в итоге сделал ее победной великий ирландский

солдат, впоследствии известный как Веллингтон. Но воистину великим он стал только после того, как столкнулся с Наполеоном лицом к лицу и победил его в последнем сражении при Ватерлоо.

Веллингтон, хоть он и был не по-английски логичным, имел много типичных черт английской аристократии. Его ум был ироничен и независим. Но если мы захотим понять, насколько строго такие люди ограничены их классом и как мало они в сущности знают о происходящем вокруг, вполне достаточно сказать, что Веллингтон считал, будто унизил Наполеона, не признав его истинным джентльменом. Если бы проницательный и опытный китаец сказал о Китайском Гордоне[401], что тот «на самом деле не мандарин», мы бы подумали, что китайская система и впрямь заслуживает репутацию одновременно и косной, и захолустной.

Тем не менее величие имени Веллингтона заставляет нас предположить, что «косность и захолустность» – это еще не вся правда. Речь о том, что нигде англичанин не предстает более английским, чем за пределами Англии, и нигде так остро не ощущает притяжение почвы, как в открытом море. Это заложено в нашей национальной психологии, но никогда не имело имени или олицетворения, за исключением эксцентричного и явно исключительного образа Робинзона Крузо. Он – как раз тот англичанин, которого практически нельзя обнаружить в Англии. Сомнительно, чтобы французские или немецкие мальчики мечтали, вместо своих возделанных полей или виноградников, очутиться в пустыне. Однако многие английские мальчики грезили о том, чтобы их остров оказался вдруг необитаемым.

Можно сказать, что англичанин – слишком островной человек даже для своего острова. Он пробуждается для жизни, когда его остров оторвался от оснований мира, когда он повис, как планета, когда он полетел, как птица. И снова противоречие: истинная британская армия находилась в рядах флота. Храбрейшие из островитян были рассеяны по его плавучему архипелагу. Над ним по-прежнему сияла, и сияла все ярче, легенда об Армаде. Это был великий флот, но славу он унаследовал от тех времен, когда был мал. Задолго до того, как Веллингтон увидел поле Ватерлоо, английские корабли уже делали его работу, когда громили французский флот в испанских морях. Тогда воссиял свет над морем – свет жизни и смерти Нельсона, с честью получившего свои награды и с честью погибшего.

В отношении Нельсона трудно найти иные слова, кроме эпитета «легендарный». И сам час его смерти, и само имя его корабля[1] отмечены печатью эпической полноты. Критики могут назвать это причудливым совпадением, пророки – промыслом

Божьим. Даже его ошибки и неудачи пронизаны героическим духом, причем не в вольном, а в классическом толковании слова. Даже его падение выглядит сродни падению легендарных героев – он не устоял перед женщиной, но не дрогнул ни перед одним врагом среди мужчин.

Он стал воплощением поэтического духа англичан. Духа настолько поэтического, что он отразился даже в таких вещах, которые на первый взгляд кажутся прозаическими.

В те времена, в век разума, в стране, уже называющей себя скучной и деловой, среди цилиндров и заводских труб, поднимающихся как мрачные башни промышленного триумфа, этот сын священнослужителя в итоге отправился в сверкающее облако и стал волшебной сказкой. Нельсон всегда будет служить уроком для тех, кто не понимает Англию, и останется загадкой для тех, кто думает, будто ее понимает. Казалось бы, если смотреть отстра-ненно, что он сделал? Он вел свои корабли к победе и погиб в дальних морях. Но для внутреннего, символического самоощущения англичан Нельсон оставил после себя нечто неописуемое. Что-то, что звучит как поговорка туземцев: он стал человеком, который сжег свои корабли, но при этом воспламенил Темзу.

XVI. Аристократы и недовольные

Грустно сознавать, что многие банальности по сути своей – весьма тонкие вещи. Скучными и заезженными они становятся от машинальных повторений. Каждый, кто видел первый луч, проникший в окно, знает, что дневной свет не только красив, но и загадочен, как сияние луны. Бесцветным солнечный свет кажется из-за того, что оттенок его слишком тонок. Так же и патриотизм, особенно английский патриотизм, опошленный томами словесного тумана, по сути своей все еще тонок и мягок, как наш климат. Имя Нельсона, которым заканчивается прошлая глава, могло бы отлично выразить его. Хотя это имя роняли и били, как старую жестянку, удуши его носителя куда больше сходства с изящной и хрупкой вазой, какими они были в XVIII столетии.

Легко обнаружить, что самые избитые из нынешних, связанных с патриотизмом вещей в основе своей вполне соотносятся с подлинной правдой и смыслом как жизни, так и времени, пусть до нас они чаще доходят бородатыми шутками. Словосочетание «дубовые сердца»[402], например, весьма недурно характеризует изящную сторону Англии. Может быть, оно – ее лучшая характеристика. Из дуба делали не только дубины и корабли: английские джентльмены вовсе не считают, что выглядеть дуболомами – это прилично. Здесь другое: само имя дуба навевает образ темных, но уютных интерьеров университетов и загородных домов, где великие джентльмены, еще не выродившиеся, чуть не сделали английский язык латынью, а английское вино -портвейном.

Образ этого мира не исчезнет бесследно. Его осеннее сияние перешло в кисти великих английских портретистов. Им в большей степени, чем иным людям того времени, была дана сила почувствовать красоту и радость своей земли. И они обессмертили свои чувства широкими и мягкими мазками. Посмотрите без предубеждения, как будто видите впервые, на холсты Гейнсборо[403], который писал девушек, как пейзажи – столь же прекрасными и столь же погруженными в сонную негу. Посмотрите, какими невесомыми художник сделал их платья. Они летят, как будто их шили не здесь – не на земле, а выше. И тут обретает смысл еще одна стертая фраза, обычно произносимая вдали от родины, за морями. Слова снова становятся свежими и музыкальными, как будто прежде вы их еще ни разу не слышали: «За Англию, задом, за красоту».

Когда я думаю об этом, у меня пропадает желание брюзжать о великих джентльменах, которым наши отцы объявили войну.

Действительно, связанные с ними проблемы были куда глубже тех, которые можно исправить простым брюзжанием. Дело было в самом исключительном классе английского общества, но не в исключительности его жизни. Он интересовался всем, чем угодно, однако по большей части это был личный интерес, который не касался окружающих. Во всяком случае те ограничения, которые он допускал из рационалистических соображений, касавшихся средневекового и современного мистицизма, вовсе не должны нас шокировать какой-то сверхъестественной негуманностью. Главный изъян в их душах – для тех, кто считает это изъяном – заключался в их полном и самодовольном язычестве. Правила хорошего тона, принятые ими, полагали старую веру мертвой. Те же, кто полагал ее еще живой, вроде великого Джонсона, считались эксцентриками.

Французская революция была мятежом, ознаменовавшим формальные похороны христианства. За ней последовала череда метаний – в том числе и возвращение трупа к жизни. Однако скептицизм был не просто олигархической оргией, творящейся в стенах клуба «Адский огонь», который из-за своего вызывающего названия считался сравнительно ортодоксальным. Он присутствовал и в духовной атмосфере среднего класса, например, в шедевре «Нортенгерское аббатство»[404], которое мы обычно вспоминаем в силу его древности, а не потому, что оно аббатство. Тут все абсолютно ясно – этот случай можно назвать «атеизм Джейн Остин».

К сожалению, в отношении английского джентльмена – пусть он как личность и будет галантен и великодушен – со всей определенностью можно утверждать, что его честь выросла из бесчестья. Он как бы находится в положении аристократа из романа, чье великолепие отмечено пятном мрачной тайны, уязвимым для шантажа. В первую очередь у него имелся досадный момент в родословной. Иные герои провозглашали, что они произошли от богов, которые были величественнее, чем они сами. Но наш джентльмен оказался куда более героическим, чем его предки. Их слава связана не с Крестовыми походами, а с великим грабежом. Их отцы пришли не с Вильгельмом Завоевателем, а лишь лукаво помогали приходу Вильгельма Оранского.

Его собственные подвиги часто были воистину романтичны – он совершал их в городах султанов Индии или в морском бою на деревянных кораблях. Но подвиги основателей его рода выглядели болезненно реалистично. В этом смысле великие джентльмены скорее ближе к наполеоновским маршалам, чем к нормандским рыцарям, однако не дотягивают и тут. Маршалы

могли происходить из крестьян и лавочников, но олигархи происходили из ростовщиков и воров. Таков, хорош он или плох, парадокс Англии: ее типичный аристократ был типичным выскочкой.

Но была и еще одна, худшая тайна. Семьи новой английской знати не только положили кражу в свое основание – эти семьи продолжали красть. Такова неприглядная правда: все XVIII столетие, под речи великих вигов о свободе, под речи великих тори о патриотизме, в годы Вандиваша и Плесси[405], в годы Трафальгара и Ватерлоо в главном сенате страны неизменно шел один и тот же процесс – парламент билль за биллем продолжал огораживание в интересах крупных землевладельцев тех самых общинных земель, которые сохранились в крестьянском пользовании со Средних веков.

Это не только игра слов, это роковая политическая ирония нашей истории – общины уничтожались именно Палатой общин. Само слово «община», как мы уже отмечали, утратило свое моральное значение и превратилось в обычный топографический термин для обозначения никчемной, заросшей кустами земли или просто пустырей, которые не имело смысла присваивать. В XVIII веке последние выжившие общины связывались только с историями о разбойниках с большой дороги, до сих пор встречающимися в наших книгах.

Таков мистический грех английских помещиков – оставаясь человечными, они разрушали человечность вокруг себя. Их собственный идеал, более того – их собственный уклад жизни, был куда великодушнее и мягче, чем суровые будни пуритан или дикость прусской знати. Но земля ссыхалась под их улыбками, как под алчными взглядами пришельцев. Будучи англичанами, они оставались по-своему природно добры, однако их положение основывалось на лжи, и эта двойственность превратила добродушие в жестокость.

Французская революция бросила вызов, и вигам пришлось снять маски. Они оказались перед выбором: смогут ли их умы примириться с демократией или же им проще признать, что они – аристократы. Виги предпочли – что и продемонстрировал их философский эталон Бёрк – быть настоящими аристократами. Итогом этого выбора стал Белый Террор – период антиякобинских репрессий. Он со всей определенностью показал, кому виги на самом деле симпатизировали.

Коббет, последний и величайший из йоменов, класса мелких фермеров, постепенно съедаемого крупными землевладениями, – был брошен в тюрьму всего лишь за протест против бичевания английских солдат немецкими наемниками. В том диком разгоне

мирного митинга, который получил название «битвы при Питерлоо», участвовали именно английские солдаты, однако действовали они именно в духе германских. Одна из горьких насмешек, то и дело липнущих к нашей истории, заключалась в том, что старый йоменский дух подавляли солдаты, все еще называвшиеся «йоменами».

Имя Коббета здесь принципиально важно – и оно часто игнорируется как раз в силу того, что важно. Коббет был единственным, кто видел тенденцию своего времени в ее целостности и кто бросил ей вызов именно как некоему целому. Он был единственным и вышел на бой в одиночестве. Вся наша новая история проходит под знаком того, что, невзирая на ведущуюся борьбу, массы безмолвствуют. Они хранят молчание потому, что борьба теперь обычно -постановочное шоу. Большинство людей понимают, что партийная система может считаться народной лишь в том смысле, в каком народны футбольные матчи. Но во времена Коббета еще имели место более животрепещущие разногласия, не столь поверхностные – это были разногласия, вызванные обстоятельствами, которые разделили старых сельскохозяйственных джентльменов XVIII века и новых торгово-промышленных джентльменов века XIX.

Именно они в первой половине XIX века породили несколько бурных дискуссий между помещиками и торговцами. Торговцы обратились к важному экономическому тезису – требованию свободы торговли – и обвинили помещиков в том, что те вынуждают голодать бедноту, поддерживая высокие цены на хлеб ради сохранения своих сельскохозяйственных доходов. Позже помещики нанесли весьма результативный ответный удар, обвинив торговцев в жестоком обращении с бедными – их заставляли перерабатывать на фабриках ради сохранения коммерческого успеха торговцев.

Принятие законов о фабриках по существу выглядело признанием жестокости, на которой были построены новые индустриальные отношения. Точно так же отмена хлебных законов по существу выглядела признанием слабости и непопулярности помещиков, разрушивших последние остатки мелкого фермерства, способного защитить свои поля от наступления заводов. Эти непримиримые разногласия переносят нас в самое сердце викторианской эпохи.

Но еще задолго до викторианской эпохи Коббет увидел и сказал, что эти разногласия непримиримы лишь условно. Скорее, утверждал он, о непримиримости тут нет и речи. Он мог бы сказать, что и сельскохозяйственный горшок, и индустриальный котелок – оба черны, потому что оба закоптились на одной и той

же кухне. И по сути он был бы прав. Великий индустриальный адепт котлов Джеймс Ватт (который из котла в итоге сделал паровую машину) был для своего времени типичен. Он считал старые ремесленные гильдии отжившими, несовременными, не способными помочь ему в его исследованиях. Поэтому он обратился к богатому меньшинству, которое с этими гильдиями воевало со времен Реформации.

А вот преуспевающего крестьянского горшка, вроде того, о котором говорил Генрих Наваррский[406], для союза с котлом не нашлось. Другими словами, отсутствовало, в строгом смысле этого слова, «общинное богатство»[407], потому что богатство, которое росло и которого становилось все больше, делалось все менее и менее общим. Похвала ли это, хула ли это, но прикладная промышленная наука и предпринимательство оказались на поверку новым экспериментом старой олигархии, ведь старая олигархия всегда была готова к новым экспериментам – начиная с Реформации. Понимание этого свидетельствует о ясном уме, скрытом за горячим нравом Коббета: именно в Реформации он видел корни как помещиков, так и промышленников и призывал людей освобождаться из-под гнета тех и других.

Нельзя сказать, что подобные призывы были тщетны – люди предпринимали больше усилий к своему освобождению, чем принято думать. В английской истории много умолчаний. Если уж образованный класс мог легко подавить восстание, то еще легче ему было избавиться от письменных свидетельств о нем. Так повелось с замалчивания особенностей великой средневековой революции, провал которой или, скорее, предательство которой стало главным поворотным пунктом нашей истории. Так случилось и с восстаниями против религиозной политики Генриха VIII. Так случилось и с сожженными скирдами и разбитыми окнами в мятежах эпохи Коббета. Грозная мятежная толпа вновь возникла на мгновение в нашей истории, но этого мгновения хватило, чтобы она успела показать один из своих родовых признаков – обрядность.

Ничто так не задевает недемократичных доктринеров, как театральность демократических действий, совершаемых всерьез, при свете дня. Эти действия разочаровывают их своей непрактичностью – точно так же, как стихи и молитвы. Французские революционеры штурмовали пустую тюрьму просто потому, что она была большая, каменная и неприступная -она символизировала махину монархии, без этого она была бы просто сараем.

Английские мятежники тщательно дробили общинный

жернов просто потому, что он был большой, каменный и его трудно было раздробить – и еще потому, что он символизировал махину олигархии, заставлявшую бедноту склонять к земле лица. Они запрягали отличавшихся особой жестокостью управляющих своего землевладельца в телегу и водили их в таком виде по графству, показывая во всей красе небесам и землям. После этого управляющим позволяли уйти, что подчеркивает явную национальную особенность движения. Довольно типично для английской революции присутствие телеги и отсутствие гильотины.

Как бы то ни было, эти угольки революционной эпохи были жестоко растоптаны. Жернов продолжал (и продолжает) молоть неотвратимо – мелко в библейском смысле, – и в итоге большинства политических кризисов запряженной в телеге оказывалась сама мятежная толпа. Но, конечно, и мятежи, и последовавшие за ними репрессии в Англии выглядели лишь бледными тенями жуткой революции и жуткого возмездия, увенчавших параллельные процессы в Ирландии. Террор, в Англии оказавшийся лишь недолговременным и отчаянным оружием аристократов (надо отдать им должное: он не соответствовал их темпераменту – у них не было ни достаточной болезненной жестокости, ни логики и последовательности терроризма), в более духовной атмосфере Ирландии обратился в пылающий меч религиозного и расового безумия.

Питт Младший, сын Чатема[408], не был готов занять место своего отца и уж точно не был готов (таково мое твердое мнение) занять то место, которое ему обычно отводится в истории. Но даже если бы он был достоин бессмертия, его ирландские уловки, казавшиеся оправданными в то время, бессмертия никак не заслуживали. Питт Младший был совершенно искренне убежден в необходимости коалиций против Наполеона, ради чего подстегивал более бедных союзников Англии при помощи ее торговых богатств – этим он занимался с бесспорным талантом и упрямством. И в то же самое время он столкнулся с враждебным ирландским восстанием и с потенциально враждебным ирландским парламентом. Последний он усмирил с помощью постыдной взятки, а первое – с еще более постыдной жестокостью, которую оправдывал вынужденным противодействием тирану[409]. Но если свои нечистоплотные уловки он совершал в состоянии паники, под давлением нависшей опасности, то и единственное их оправдание, -что они были следствием паники и опасности.

Питт был готов освободить католиков – религиозный фанатизм не относился к числу пороков олигархии. Но он не был

готов освободить ирландцев именно как ирландцев. Он даже не имел цели поставить Ирландию в строй как рекрута – он имел цель разоружить ее как врага. Поэтому его способ урегулирования конфликта с самого начала был основан на ложных предпосылках и в принципе не мог что-либо урегулировать.

Союз[410] казался насущной необходимостью, но он ничуть не походил на союз. Не для того он заключался, и никто не рассматривал его в таком качестве. Мы не только никогда не сможем сделать Ирландию английской, как французы сделали Бургундию французской, но мы этого никогда и не пытались. Бургундцы могут гордиться Корнелем, хотя Корнель был нормандцем, но мы бы ухмыльнулись, если бы ирландцы стали гордиться Шекспиром. Наше тщеславие привело нас к печальному противоречию: мы возжелали сочетать самосознание с чувством превосходства. Смеяться над ирландцем, когда он ведет себя как англичанин, и бранить его, когда он ведет себя как ирландец, – это чистейшее слабоумие.

В общем, союз никогда не распространял на Ирландию английские законы, но только меры принуждения и уступки, сделанные специально для Ирландии. Они чередовались в различной пропорции со времен Питта до наших дней: с той поры, когда О'Коннелл[411] с его многотысячными митингами заставил наше правительство прислушаться к призывам освободить католиков, и до Парнелла[412] с его препятствиями[413], который заставил правительство рассматривать Гомруль[414]. Но это шаткое равновесие поддерживалось лишь за счет внешних проблем Англии.

В конце XIX века стали заметны положительные изменения в отношении к ирландской проблеме. Гладстон – идеалистичный, хотя и непоследовательный либерал – с опозданием осознал, что свобода, борьбу за которую он с восторгом приветствовал в Греции и Италии, преступно попирается куда ближе к дому. Можно сказать, что он на пороге могилы обрел второе дыхание, продемонстрировав красноречие и убедительность новообращенного.

Другой государственный деятель, представляющий противоположный лагерь (и это особенно ценно), также продемонстрировал чудесное прозрение в отношении Ирландии: раз уж ирландцам можно быть нацией, то им следует разрешить быть крестьянами. Джордж Уиндэм[415] – великодушный, одаренный воображением, живой человек среди политиков – настаивал на прекращении удушения сельского хозяйства путем огораживаний, отвода земель под охотничьи угодья и грабительских рент; он говорил, что ирландцам, как того

требовал Парнелл, надо просто вернуть власть в их фермах. В своих работах, когда дело касается трагедии народного восстания против Питта, он всегда пишет о нем в сочувственно-романтическом ключе, – что не удивительно, ведь Уиндэм состоял в кровном родстве с лидером восставших[416]. Именно он выбил из английского правительства возмещение за всю бесстыдно пролитую кровь со времен падения Фицджеральда.

Эффект, который террор Питта произвел на Англию, был менее трагичен. В каком-то смысле его даже можно назвать комичным. Веллингтон, сам ирландец до мозга костей, был в первую очередь реалистом, и дважды реалистом – по отношению к англичанам. Он называл армию, которой командовал, отбросами земли – это замечание весьма ценно, если учесть, что английская армия успешно доказала, что вполне могла бы называться солью земли. Действительно, в нашей армии как национальном символе сокрыта таинственная двойственность.

У англичан есть свойство, отличающее их от ирландцев и шотландцев – любой формальный закон или политический принцип они превращают в нечто заведомо несправедливое по отношению к последним. Парадокс в том, что Англия не только возводит свои крепостные стены из хлама, но зачастую обретает защиту именно при помощи того, что сама выкинула на свалку как хлам. Иными словами, Англия обладает свойством, благодаря которому даже в поражениях добивается успеха – и это весьма существенно. Некоторые из лучших ее колоний поначалу были поселениями каторжников, причем заброшенными поселениями каторжников. Так же и английская армия во многом состояла из тюремных пташек, выпущенных в результате «очистки тюрем» – однако это была хорошая армия, набранная из плохих людей. Более того, это была веселая армия – из невезучих людей.

Такова яркая особенность, которая пронизывает все реалии английской истории, но ее очень трудно отразить в книге, этой истории посвященной. Зато она сверкает в наших фантастических романах и в песнях наших улиц, но ее квинтэссенция – разговорная речь. У этой особенности нет имени, кроме абсурда. Необъяснимый логикой смех – отрада английской души. С ним она переживала самые тяжкие невзгоды с превеликим терпением – в том числе и времена террора, в которые более серьезные ирландцы конечно бы восстали.

Этот вариант абсурдной свободы, этот вариант веселой человечности выстоял во всех передрягах и засасывающих водоворотах порочной экономической системы, пережил кавалерийские атаки реакционеров и иссушающие опасности материалистических общественных наук, воплощением которых

стали новые пуритане, сумевшие вычистить из себя даже религию.

Самое скверное, что произошло в ходе долгой эволюции с английскими юмористами – их медленное сползание по общественной лестнице. Фальстаф[417]был рыцарем, Сэм Уэллер[418] – слугой джентльмена. Последние тенденции, похоже, свидетельствуют о том, что Сэм Уэллер будет низведен до статуса Ловкого плута[419]. Определенно нас должно радовать, что какие-то, пусть изрядно растоптанные традиции и темные воспоминания о Веселой Англии все-таки выжили. Для нас к лучшему, что наши общественные науки спасовали перед этим смехом, а наша государственная машина сломала о него зубы.

Ведь когда раздался звук трубы, когда настал страшный день испытаний, поденные работники унылой цивилизации вышли из своих домов, похожих на норы, как будто воскресли из мертвых, и встали на защиту своей страны – под странным солнцем без веры, с одним лишь чувством юмора. И каждый поймет, к какой нации принадлежал Шекспир, рассекавший молниями каламбуров и прибауток темную страсть своих трагедий, если хоть раз услышит, как наши солдаты во Франции и Фландрии кричат: «Открывай галерку!» – кричат, как в театре, как будто они, молодые, пришли к дверям смерти, которые еще заперты, и готовы взломать их.

XVII. ВОзвращение варваров

Единственный способ писать народную историю, как я уже отмечал, это рассказывать ее задом наперед. Например, можно, оттолкнувшись от самых обычных предметов на своей улице, поведать о том, откуда каждый из них взялся и как здесь очутился. Мне для моей цели вполне достаточно двух предметов, знакомство с которыми длится у меня всю жизнь, пусть их особенности во многом и зависят от моды и представлений о приличии. Один из этих предметов, становящийся все более и более редким, это головной убор, который мы называем цилиндром. Второй, все еще формально привычный, – брюки. История этих смешных вещей -ключ ко всему, что случилось с Англией за последние сто лет.

Не обязательно быть эстетом, чтобы воспринимать оба эти предмета как нечто противоположное красивому или тому, что можно назвать «разумной стороной красоты». Формы человеческих конечностей могут быть красивыми, как и линии свободно ниспадающей ткани – но только не брюки, которые слишком просторны, чтобы уподобиться первым, и слишком тесны, чтобы повторить естественные складки второй. Даже не обладая тонким чувством гармонии, легко заметить, что среди сотен шляп различных фасонов и пропорций именно цилиндр вытянулся выше прочих и оттого сделался неустойчив. Но вот что забыто: две эти фантастические вещи, бросающиеся в глаза как бессознательные причуды, изначально были причудами вполне сознательными. Наши предки, надо отдать им должное, не рассматривали их как предметы повседневного обихода. Они считали их если не смешными, то претенциозными.

Цилиндр был вершиной эпатажа дендизма в эпоху регентства, а щеголи стали носить брюки, когда деловые люди еще предпочитали бриджи. Брюки вообще можно расценивать, как показатель влияния востока – еще поздние римляне считали их женственно восточными. Очевидно, восточное влияние присутствовало во многих пышных вещах того времени – от стихов Байрона до Брайтонского павильона. Интересно, что в срезе столетия, в целом довольно серьезного, эти нечаянные фантазии сохранились, как ископаемые окаменелости. На бал времен регентства несколько дураков явились в карнавальных костюмах – и мы до сих пор так в этих карнавальных костюмах и ходим. Но, сохранив одежду, мы утратили чувство карнавала.

Можно сказать, это типично для многих вещей, имевших распространение в викторианские времена. Самое важное – в эту

эпоху ровным счетом ничего не произошло. Отчаянная суета вокруг мелких подвижек немного смягчила жесткость той генеральной линии в общественной жизни, которая не поменялась с начала французской революции. Мы говорим о французской революции как о чем-то, что кардинально изменило мир. Однако если посмотреть на Англию, то окажется, что Англию она ничуть не изменила. Студенты, изучающие нашу историю, находят в учебниках и исторических трудах примеры влияния французской революции на английские реалии, которых не было, и не находят примеров влияния, которые в действительности были. Если удалось выжить при потопе – это счастливая судьба, но наша аристократия при потопе умудрилась расцвести еще пышнее.

Те страны, которые французская революция привела к масштабным потрясениям, не испытывали более ничего сопоставимого вплоть до тех пор, пока не разразилась буря, сотрясающая мир сегодня. Революция отразилась во всех сообществах, везде говорят о прогрессе, везде заняты разметкой эпох по ее координатам. Французы, при всей их поверхностности, остались по духу республиканцами – какими они и были, когда первыми надели цилиндры. Англичане, при всей поверхностности их преобразований, остались по духу приверженцами олигархии – какими и были, когда первыми надели брюки. Лишь об одной державе можно сказать, что за прошедшее столетие она заметно выросла, пусть и в своей тяжеловесной, прозаической манере, эта держава – Пруссия. При этом Англия все больше и больше проникалась мыслью, что роста и укрепления Пруссии точно не стоит опасаться, поскольку северогерманцы были ей племянниками по крови и братьями по духу.

И все-таки первое, что нужно отметить как итог XIX века: Европа осталась неизменной по сравнению с Европой времен наполеоновских войн, а Англия осталась еще более неизменной по сравнению с остальной Европой. Признавая это, мы можем корректно оценить значимость тех осторожных внутренних перемен в нашей стране, которые можно было бы расценить как исторические сдвиги – незначительные осознанные и значимые неосознанные. Большая часть осознанных сдвигов проистекала из великого билля о реформах 1832 года[420], и их следует рассматривать в свете этих реформ.

Во-первых, с точки зрения традиционных представлений о реформаторстве, главной особенностью билля о реформе было отсутствие самой реформы. Его обсуждение было связано с громадным приливом народного энтузиазма, но когда люди столкнулись с законодательно оформленным биллем, энтузиазм

схлынул. Билль предоставил избирательные права среднему классу, но лишил прав определенные группы трудящихся классов. Это заметно сказалось на балансе консервативных сил и опасно-революционных элементов – правящий класс стал куда сильнее, чем был до того.

Тем не менее эта дата важна, но не потому, что она дает отсчет началу демократии в нашей стране, -нет, она важна потому, что служит точкой отсчета в применении лучшего из когда-либо придуманных методов уклонения от демократии. Именно с этого билля началась практика гомеопатического лечения общества от революции, столь часто с тех пор оказывавшегося успешным.

Уже в следующем поколении Дизраэли[421] – блестящий еврейский авантюрист, ставший символом того, что английская аристократия более не является подлинно английской – дал право голоса и мастеровым. Разумеется, лишь частично. Это был партийный ход против его соперника, Гладстона, но в куда большей степени – реализация испытанного метода народного подавления: сперва значительно усилить гнет, затем немного его ослабить. Политики сказали трудящимся классам, что те уже достаточно сильны и потому могут голосовать. Вернее было бы сказать, что теперь трудящиеся классы достаточно слабы, и именно поэтому им позволено голосовать.

Дело в том, что старая парламентская олигархия покинула первую линию обороны, поскольку к этому времени уже была построена вторая линия. Она опиралась на сконцентрированные в частных руках колоссальные политические фонды, делавшие власть политиков безответственной. Эту линию обороны строили при помощи продажи титулов пэра и прочих властных атрибутов, ставших предметом торга, а затем дополнили хитроумной схемой масштабных и дорогих выборов. Если принять во внимание этот оборонительный рубеж, то право голоса превратилось в столь же ценную вещь, как билет на поезд в те места, где рельсы навсегда заблокированы.

Фасадом, внешней формой нового секретного правительства стало простое механическое приложение, называемое партийной системой. На самом деле партийная система состоит не из двух партий, как некоторые предполагают, а лишь из одной. Если бы две партии существовали в действительности, система бы не устояла.

Если парламентская реформа – это эволюция, как понимал ее билль о реформе, то увидеть последствия этой эволюции в социальной сфере не составит труда. Правду об этих последствиях не спрятать, она высится, как башня, она – маяк:

первое, что сделал реформированный парламент – открыл суровые и бесчеловечные работные дома[422]. И честные либералы, и честные тори тут же окрестили их мрачным прозвищем – Новая Бастилия. Это название можно встретить в нашей литературе – любопытные могут найти его в работах Карлейля и Худа. Разумеется, оно показательно как отклик негодующих современников, а не как точное соответствие первообразу. Несложно представить ораторов-правоведов парламентской школы прогресса, которые найдут между старой и новой Бастилиями множество различий и даже противоречий. Бастилия была центральным учреждением, а работных домов было много. Они изменяли местную жизнь, как бы внушая обществу умиротворение и радостное воодушевление. В Бастилию довольно часто отправлялись люди высокого звания и огромного богатства. Разумеется, деловая администрация работных домов никогда не допускала подобных ошибок. Даже над самыми произвольными применениями «писем с печатью» все же витало туманное, но основанное на традиции представление: человека сажают в тюрьму в наказание за содеянное. Однако позднейшие социальные учения совершили открытие: оказывается, человека, которого не за что наказывать, все равно можно посадить в работный дом. Но самое глубокое и самое решительное разграничение между двумя заведениями проводится по линии благоприятной судьбы Новой Бастилии: толпа не осмеливалась ее штурмовать, поэтому она так и не пала.

Новый закон о бедных, конечно, не был оригинальным в том смысле, что он обозначил собой вершину принципа, на который в раннем законе елизаветинских времен о бедных (одном из целой череды антинародных актов, последовавших за Великим Грабежом) давались лишь намеки. Когда монастыри были уничтожены, а средневековая система опеки и общинной помощи разрушена, бродяги и попрошайки превратились в государственную проблему. Решение этой проблемы всегда имело тенденцию к воспроизводству института рабства – суть не менялась, даже если неуместный вопрос о жестокости этой институции преображался в утверждение о ее милосердии.

Очевидно, что отчаявшийся бесприютный человек нашел бы мистера Бамбла[423] и попечительский совет менее жестокими, чем промозглая погода и голая земля, если бы ему позволяли спать на земле. Но ему (что, в действительности, кошмарная бессмыслица и несправедливость) не позволяли. Его наказывали за сон под кустом на том, строго определенном законом, основании, что он не мог позволить себе сон на кровати. Само собой, ему ничего не оставалось, как самому выбрать лучшее из

возможного – отправиться в работный дом, точно так же как в языческие времена можно было самому продать себя в рабство.

Однако подобное решение оставалось рабским, даже если мистера Бамбла и попечительский совет нельзя было при этом назвать жестокими в обыденном смысле слова. И язычникам могло повезти, если они продавали себя в рабство доброму хозяину. Суть нового закона о бедных, тень которого до сих пор витает над нашим обществом, заключалась в том, что человек терял все свои гражданские права исключительно по причине своей нищеты.

Чувствуется налет иронии, если не сказать лицемерия, во всей этой истории – парламент, принявший вышеописанные реформы, одновременно отменил черное рабство путем выкупа рабов у рабовладельцев в британских колониях. Рабовладельцы получили за них достаточно высокую цену, что дает право считать их шантажистами. Но отрицание искренности чувств освободителей означало бы полное непонимание нашего национального характера. Эти чувства воодушевили Уилберфорса[424] и породили мощную волну уэслианства[425], ставшего гуманистической антитезой кальвинизму, а вовсе не эксцессом прекраснодушной благотворительности.

В английском уме есть что-то романтическое: его манят дали. Перед нами прекрасный пример того, что упускают из вида люди, склонные к дальнозоркости. Конечно, кое-что они получают взамен – стихи, похожие на приключения, и приключения, похожие на поэзию. Это наш национальный стиль, и сам по себе он ни хорош и ни плох – все зависит от предпочтений. Можно написать возвышенный текст о скрытых за горизонтом далях, куда нас умчат крылья рассвета, но мы останемся верны себе даже там, в безбрежных просторах океана. А можно просто сказать, что у дурака глаза одновременно смотрят в разные концы света.

В общем, неосознанные исторические сдвиги XIX века, столь медленные, что оставляли впечатление неподвижности, все-таки вели нас в том направлении, где работный дом трактовался как форма благотворительности. Однако в эти времена нашлось все же одно национальное учреждение, призванное сражаться и преодолевать. Это учреждение оказалось вдвойне национальным благодаря тому, что не было официальным, как не было и политическим в привычном смысле слова. Речь о профсоюзах, которые и по вдохновению, и по созданию – изделия английского духа, поскольку в Европе, как правило, их знают под английским именем трейд-юнионов.

Профсоюзы стали английским выражением усилий

европейцев в противостоянии главной тенденции капитализма, его стремлении достичь своей естественной вершины – индустриального рабства.

В этом кроется что-то таинственное, занимательное, с точки зрения психологии. Человек, не ведающий своего прошлого, возвращается в него точно так же, как потерявший память совершает действия, руководствуясь подсознанием. Можно сказать, что история повторяет свой путь и – что самое забавное, – делает это бессознательно. Никто в целом свете не является столь невежественным относительно Средних веков, как английский рабочий – кроме, разве что, того британского бизнесмена, который его нанял. А между тем всякий, кто хоть что-то знает о Средних веках, не может не заметить, что современные профсоюзы на ощупь идут путем древних гильдий. При этом даже те знающие и достаточно ясно мыслящие люди, которые готовы провести параллель между современными профсоюзами и гильдиями, как правило, ни малейшим образом не затронуты не только средневековым мистицизмом, но даже средневековой нравственностью.

И поскольку мы уверены в правом деле профсоюзов и в собственных моральных принципах, то вышеизложенное обстоятельство – самое удивительное и даже парадоксальное доказательство высокой нравственности Средних веков. Доказательство через совпадение. Если, к примеру, ряд последовательных атеистов придет, в соответствии с собственными убеждениями, к мнению, что холостякам или незамужним следует жить в определенных группах без брачных связей ради помощи бедным или для исполнения в назначенные часы положенных служб, это будет очень сильным аргументом в пользу монастырей. Если эти атеисты, скажем, никогда не слышали о монастырях, – аргумент еще сильнее. А если они слышали, но ненавидят само имя монастырей, – то он силен абсолютно. Так же и здесь: то, что сторонники профсоюзов не называют себя ни католиками, ни даже христианами и как прогрессивные социалисты считают гильдии пережитком дремучих времен, – абсолютный аргумент в пользу гильдий.

Профсоюзное движение прошло через множество опасностей, в том числе через смехотворную попытку некоторых юристов объявить солидарность членов профсоюза преступным заговором, хотя их собственная корпоративная юридическая практика является на сегодняшний день самым сильным и поразительным примером подобного преступного заговора. Борьба профсоюзов вылилась в грандиозные забастовки, расколовшие страну в начале XX века по самым разным направлениям.

Но в это же время дал о себе знать еще один процесс, по природе куда более мощный – он тоже приведен в действие. Принцип, заявленный в новом законе о бедных, учитывает его, но в одном важном отношении меняет его направление, хотя нет никаких оснований считать, что вместе с направлением меняется и цель. Сегодня уже очевидно, что и сами работодатели, принявшие в расчет в своем бизнесе влияние профсоюзной организации, занялись организацией социальных реформ. Наиболее выразительно сформулировал эту тенденцию один из самых циничных аристократов парламента: «Мы все теперь тут социалисты»[426].

Социалисты – группа очень искренних людей, во главе которой стоит несколько ярких личностей – долгое время вбивали в людские головы нечто безнадежное и бесплодное. Они заявляли, что государство должно не просто вмешиваться в бизнес, но должно встать над бизнесом и платить всем поровну, а если и не поровну, то все равно с учетом обстоятельства, что всем надо кормить свои семьи. Работодатели не хотели сдаваться на милость государству, и этот проект потихоньку исчез из политической повестки. Но самые мудрые из них оказались готовы повысить зарплаты, а кроме того – ввести другие привилегии для наемных работников тем же образом, каким они начисляли зарплату. Так мы получили несколько социальных реформ. Все они так или иначе ведут к одному: к разрешению наемным работникам претендовать на определенные преимущества именно как наемным работникам, то есть людям, раз и навсегда отличающимся от нанимателей. Самыми наглядными примерами таких реформ являются закон об ответственности работодателя, закон о пенсии по старости и, как наиболее решительный шаг в том же направлении, закон о страховании.

Последний, как и весь план социальных реформ в целом, был списан с социального законодательства Германии. Вообще вся английская жизнь этого периода проходит в тени Германии. Сейчас мы, так сказать, достигли завершенности в этом подспудном влиянии, которое начало проявляться еще в XVII столетии. Военные союзы XVIII века сделали его основательнее. А в XIX веке оно пошло уже и по линии философии – если не сказать мифологии.

Немецкая метафизика столь истончила наше богословие, что многие теперь серьезно утверждают, будто главное в Святой пятнице – то, что название пятницы[427] происходит от имени Фрея[428]. Германская история попросту аннексировала английскую историю, после чего долгом практически каждого

патриотичного англичанина стала гордость за то, что он немец. Ни гений Карлейля, ни культурологические проповеди Мэтью Арнольда, хоть они и были убедительны, не могли произвести подобного эффекта сами по себе, без внешнего влияния – причем влияния огромной силы.

Неизвестно, к чему бы мы пришли, если бы нашу внутреннюю политику не стала менять наша внешняя политика. А наша внешняя политика зависела от все более отвратительных действий пруссаков, отныне – князей всех германских племен, распространявших германское влияние повсеместно. У Дании они отняли две провинции и Францию ограбили на две провинции. Падение Парижа во всем мире воспринималось как падение столицы цивилизации, подобно разграбленному готами Риму.

Но многие влиятельные люди в Англии ничего не хотели видеть, кроме явного успеха наших сородичей и старых союзников при Ватерлоо. Аморальность методов, при помощи которых этот успех был достигнут, вроде жонглирования претензиями на Аугустенборг[429] или подделки эмской депеши, либо успешно замалчивалась, либо была негласно поддержана. Так критика чистого разума вошла в нашу этику, подобно тому, как прежде вошла в теологию.

Наш взгляд на Европу оказался искажен и утратил пропорциональность из-за чрезмерной заботы о Константинополе и нашем пути в Индию, что привело Пальмерстона и последующих премьер-министров к поддержке Турции и формированию восприятия России исключительно как врага. Эта циничная тенденция сфокусировалась в странной фигуре Дизраэли, который занял протурецкие позиции при полном безразличии к христианским подданным Турции, что и было зафиксировано в Берлине в присутствии Бисмарка.

Дизраэли вполне сознавал противоречия и заблуждения англичан и довольно проницательно высказался о них. Чего стоит хотя бы его выступление в Манчестерской школе, где он заявил, имея в виду ее девиз: «“Мир и изобилие”, но мир в броне, и изобилие в окружении голодных». Однако то, что он говорил о мире и изобилии, выглядит пародией на его же слова, сказанные о мире с честью. Вернувшись с Берлинской конференции, он должен был сказать: «Я принес вам мир с честью, но мир с семенами самой страшной войны в истории, и честь быть простодушными жертвами старого задиры из Берлина».

Как уже упоминалось, в области социальных реформ именно Германия считалась лидером, нашедшим секрет преодоления зла индустриальной экономики. В случае со страхованием, который можно считать показательным, она сорвала аплодисменты, обязав

рабочих откладывать часть своей зарплаты на случай болезни. Подобные меры предосторожности, как в Германии, так и в Англии, имели единственную цель: защитить бедных за их же собственный счет. Любое предубеждение против таких реформ воспринималось как пещерное невежество.

Невежество это уже находилось под атакой так называемого образования, работающего как отлаженное промышленное предприятие, созданное не только по примеру, но и в качестве коммерческого конкурентоспособного ответа Германии. Видно, сколь хорошо потрудились германское правительство и крупные германские работодатели над механизмом этого образования – здесь учтены самые мелкие и самые инквизиторские закорючки. По существу, это инструкция по сборке всей германской расы. Правительству сподручнее муштровать своих школяров, как оно муштрует своих солдат, крупным предприятиям сподручнее производить умы, как они производят свою продукцию.

Английское образование сделали обязательным. Его сделали бесплатным. Много хороших, искренних и воодушевленных людей трудилось над тем, чтобы создать лестницу образовательных стандартов, по которой умнейшие из бедных могли бы добраться до английских университетов и вершин современного преподавания истории и философии. Однако эта лестница не была завершена, и мы достигли ровно того же, что и Германия. Бедные англичане во многих вещах по-прежнему недалеко ушли от своих отцов. Полагаю, когда-нибудь настанет день, и мы возблагодарим Бога за этот наш провал, если, конечно, будем мудры.

Образование, которое действительно было бы достойно этого слова, несомненно явилось бы благородным даром. Образование в понимании его как главного предания истории, с его свободой, с его честью семьи, с его рыцарством – цветок, венчающий древо Христианского мира. Но чему могут научиться люди в наше время, если в качестве образования они принимают то, чему их учат в наших школах и университетах? Тому, что Англия -лишь небольшая ветвь раскидистого тевтонского древа. Тому, что непостижимая, как окружающее Англию море, духовная симпатия делает нашим естественным союзником великий народ с берегов Рейна. Тому, что свет истины исходит от Лютера и лютеранской Германии, наука которой очистила христианство от его греческих и римских наростов. Что Германия, как лес, обречена на величавый рост. Что Франция, как навозная куча, обречена на разложение. Да, навозная куча с петухом, кукарекающим на ее вершине.

Вот куда ведет лестница образования, на последней ступени

которой сияющий профессор сумел доказать, будто двоюродный брат[430] – это то же самое, что и немецкий двоюродный брат[431]. Что можно ждать от уличного мальчишки, получившего в школе такое образование? Что, кроме объятий с саксонцем, ведь тот – вторая половинка «англосакса»?

Но когда настал день испытаний, невежественный парень вдруг обнаружил, что надо учиться совершенно иному. И он стал делать это куда быстрее, чем его образованный соотечественник – ему не пришлось для этого переучиваться.

Тот, в чью честь так много было сказано и спето, железной колонной пересек границу Бельгии. Затем он продемонстрировал перед всем миром красоты своей культуры и преимущества своего организационного устройства. Именно тогда мы увидели, за каким светом следовали, по чьему образу и подобию так старательно переделывали самих себя.

Ни в какие другие времена Бог не был столь ироничен, как здесь. Он избрал глупейших, чтобы грандиозно посрамить мудрейших. Толпа бедных и невежественных англичан, знавших только то, что они – англичане, сорвала грязную паутину, которую четыреста лет плели умники, и твердо встала там, где стояли их пращуры, знавшие только то, что они – христиане.

Английская беднота, все мятежи которой были повержены, давно лишенная собственности и до сих пор лишенная свободы, вошла в историю под звуки труб и за два года превратилась в одну из сильнейших армий мира. Так что, когда грядущий скептик будет исследовать – а было ли в этой войне хоть что-то героическое, когда он будет искать героя, он не найдет никого, кроме этой толпы.

XVIII. Заключение

От столь маленькой книги по столь обширной теме, написанной в достаточно ограниченные сроки в условиях грандиозного национального кризиса, было бы неразумно ожидать безупречного соблюдения пропорций. Признаться, я честно пытался выправить диспропорции. Говоря об исторической перспективе, мне кажется, не стоит забывать, что в истории существует довольно много перспектив -таких, которые делают гиганта пигмеем, а пигмея гигантом. Прошлое – колосс, изображенный в перспективе, так что ноги его тянутся к нам, и порой -это глиняные ноги.

Мы слишком долго смотрим на закат Средних веков, даже если при этом искренне восхищаемся его цветами. Изучение такой фигуры, как Наполеон, слишком масштабно для «завершающей фазы». В общем, налицо тенденция, которая находит разумным выяснять подробности о Старом Саруме[432], но считает смешным выяснять подробности Сарумского обряда[433], или устанавливает в Кенсингтонских садах золоченый памятник Альберту – больший, чем когда-либо устанавливали Альфреду[434].

Мне кажется, что главный пробел английской истории состоит в том, что в исторических работах недостаточно внимания уделяется переломному кризису, который обычно относят к периоду Стюартов. И хотя история Стюартов была трагичной, я думаю о ней как об эпилоге. Лично я полагаю, что истинный переломный момент нашей истории следует отнести ко времени падения Ричарда II, случившегося после его отказа использовать средневековый деспотизм в интересах средневековой демократии. Англия, как и другие государства христианского мира, сформировалась не столько благодаря смерти древней цивилизации, сколько из-за того, что избежала этой смерти – попросту отказалась умирать.

Средневековая цивилизация сложилась в ситуации противостояния варварам – неприкрытому варварству Севера и более утонченному варварству Востока. Она росла свободной и самоуправляемой под королями, которые занимались вещами более общего порядка вроде войн и налогов. И когда в XIV веке в Англии разразилась крестьянская война, король и народ ненадолго пришли к осознанному союзу -оба обнаружили, что третья сила становится слишком опасной для них. Этой третьей силой была аристократия. Она захватила парламент, затем назвала себя парламентом. Палата общин, как следует из ее

названия, изначально состояла из простых людей, призванных королем в качестве выборных граждан. Но скоро она стала палатой весьма особенных граждан. Она стала, как к этому ни относись, важнейшим органом управления – она пережила и церковь, и монархию, и толпу.

Палата общин сделала много великих и не так уж мало хороших дел. Она создала то, что мы называем Британской империей. Но она создала и кое-что, возможно, более ценное – новый сорт аристократии, более гуманный и даже гуманитарный, чем большинство аристократий мира. Палата общин обладает достаточным пониманием человеческих побуждений, по крайней мере, обладала им до последнего времени. Она уважает свободу и особенно юмор, превратившийся практически в религию нашего народа. Но, совершая то, о чем сказано выше, Палата общин намеренно совершила еще две вещи, вытекающие из двух естественных составляющих ее политики: она приняла сторону протестантов и (частично как следствие) приняла сторону немцев.

До самого последнего времени наиболее рассудительные из англичан совершенно искренне считали, что и то, и другое означает принимать сторону прогресса, а не упадка. Вопрос, который теперь неизбежно задают себе многие вне зависимости от того, задам ли его я – а не оказались ли мы таким образом на стороне варварства, а не цивилизации?

По крайней мере, если мое видение вещей хоть в какой-то степени соответствует действительности, сейчас мы вернулись к основам – мы снова воюем с варварами. И мне кажется естественным, что англичане и французы находятся в этой войне по одну сторону, как по одну сторону были Альфред и Аббон[435] в те мрачные времена, когда варвары опустошали Уэссекс и осаждали Париж. Вот только теперь куда труднее использовать духовные ориентиры как отличительные признаки торжества цивилизации. Идеи, правящие миром, сегодня более запутанны, осложнены нюансами и скрыты за утонченной ученой риторикой.

Сохранит ли дикость, отступая, след своей души, как смрад? Лично я буду судить об этом в первую очередь по одной вещи, связанной как с политикой, так и с нравственностью. Душа дикости – в рабстве. Под масками механизации и индустриализации немецкая регламентация жизни бедных была рецидивом обращения варваров в рабов. С учетом направления наших нынешних реформ я не вижу никакого способа спасения от этого, кроме одного. Того самого, которым воспользовались люди Средних веков после поражения других варваров: начать при помощи гильдий и иных мелких независимых групп постепенно

восстанавливать личную собственность бедных и личную свободу семей.

Если англичане попытаются сделать это – те самые англичане, которые показали в нынешней войне всем сомневавшимся, что не утратили отвагу и решительность своих отцов, – то они смогут сделать это. Если же они не захотят, если и дальше будут следовать строем в соответствии с социальным порядком, которому мы научились у Германии, то впереди у нас нет ничего, кроме того, что господин Беллок, первооткрыватель этого великого социологического раскола, назвал Рабским государством.

Словом, пусть человек, читающий заключение нашей истории, будет готов к тому, что волна тевтонского варварства, смрадный след его души, смоет и нас вместе с нашими армиями. И тогда пусть мир не узнает о последних из англичан ничего, кроме одного – они умерли за свободу.

notes

Примечания

1

Должность в правительстве Великобритании – парламентский секретарь, назначаемый для обеспечения связей министра с парламентом.

2

Томас Бабингтон Маколей (1800-1859) – британский государственный деятель, поэт и прозаик, автор пятитомной «Истории Англии» – капитального труда, заложившего основы виговского прочтения национальной истории.

3

Герберт Генри Асквит (1852-1928) – британский государственный деятель, премьер-министр Великобритании с 1908 по 1916 г.

4

Немецкое и французское название бельгийского города Мехелен.

5

Foot – и мера длины, и нога *(англ)*.

6

Речь идет об австрийском генерале Юлиусе Якобе фон Гайнау, подавившем венгерское восстание и действительно избитом за это во время посещения лондонской пивоварни в Саутарке.

7

Место, придуманное Честертоном; пумперникель – разновидность немецкого ржаного хлеба, используется как средство от запоров, переводится как «пукающий Николай».

8

Псалом 15:4, Библия короля Якова.

9

Игра слов – «trust» и «tryst».

10

Небольшая река в шотландском графстве Пертшир.

Императора Германии.

12

Настольная игра, используемая при подготовке офицеров прусской армии с 1824 г.

13

Подавление народного недовольства прусской армией в эльзасском городе Цаберн (ныне – Саверн) осенью 1913 г.

14

Североамериканский индейский народ, говорящий на языке оджибве, относящемся к алгонкинской языковой группе.

15

Группа племен североамериканских индейцев, говорящих на языках сиуанской семьи.

Великобританию.

17

Рединг находится на значительном удалении от моря.

18

За освобождение.

19

Со времен освобождения.

20

Генри Джон Темпл, 3-й виконт Пальмерстон (1784-1865) - английский государственный деятель, долгие годы руководил обороной, затем внешней политикой Великобритании, в 1855-1865 гг. – премьер-министр.

21

Вильгельм II во время паломничества в Иерусалим посещал Стамбул и обещал свое покровительство мусульманам.

22

Германская династия швабского происхождения, династия курфюрстов Бранденбурга, затем королей Пруссии. В период с 1871 по 1918 гг. прусские короли из династии Гогенцоллернов были одновременно и кайзерами Германии.

23

Город в штате Вайоминг, США.

24

Графство в Южной Англии.

25

Местность в Ирландии, где в 1799 г. при участии немецких наемников было подавлено восстание местного населения.

26

Уильям Шекспир, «Сон в летнюю ночь». В переводе М. Лозинского звучит так: «Нам же, эльфам, что стремимся / Вслед коням тройной Гекаты / И дневных лучей боимся, / Темнотой, как сны, объяты, / Нам раздолье».

27

Джон Грэхем Клеверхаус (1648-1689) – первый виконт Данди.

28

Ужасно воскрешать боль *(лат)*.

29

На России.

30

Честертон ссылается на народное поверье о том, что человек может умереть от укуса уховертки, заползшей в ухо.

31

Адольф фон Гарнак (1851-1930) – немецкий историк церкви.

32

Честертон шутит, Шлезвиг и Гольштейн были аннексированы в 1864 г.

Прусской.

34

Эрнст Генрих Геккель (1834-1919) – немецкий философ и биолог, в конце жизни увлекшийся социал-дарвинизмом и расистскими теориями.

35

Британский гражданский лайнер, был торпедирован 7 мая 1915 г. германской подводной лодкой.

36

Вудро Вильсон (1856-1924) – президент США в 1913-1921 гг.

37

15 декабря 1914 г. этот морской курорт на побережье Северного моря был обстрелян германскими линейными крейсерами «Дерфингер» и «Фон дер Танн».

38

Эдмунд Дене Морель (1873-1924) – британский журналист, пацифист, обвинялся в германофильстве.

39

Германский генерал Фридрих фон Бернгарди, автор изданной в 1912 г. книги «Германия и будущая война».

40

Эдуард Грей (1862-1933) – английский государственный деятель, министр иностранных дел Великобритании в 1905-1916 гг.

41

Weltpolitik – провозглашена Вильгельмом II в 1891 г.

42

Проигнорировать.

43

Зарубить до смерти.

44

Поговорка, означающая «остаться без обеда».

45

Карл II Стюарт (1630-1685) – король Англии и Шотландии, старший сын Карла I и Генриетты Французской.

46

Томас Липтон (1848-1931) – бакалейщик и торговец чаем родом из Глазго, получил рыцарство в 1897 г.

47

Ганс Герман фон Катте – лейтенант прусской армии, вместе с кронпринцем пытался бежать в Англию.

48

Уильям Питт, 1-й граф Чатем (1708-1778) – британский государственный деятель из партии вигов, премьер-министр Великобритании в 1766-1768 гг., вступил в Семилетнюю войну на стороне Пруссии.

49

Победа англичан над французами в 1415 г.

50

Кровопролитная битва между англо-австро-голландской и французской армиями в 1709 г.

51

Вступления Англии в войну.

52

Джон Стюарт, 3-й граф Бьют (1713-1792) – шотландский дворянин и английский государственный деятель, премьер-министр Великобритании в 1762-1763 гг. Был воспитателем при Георге III.

53

Книга Генри Сент-Джона, виконта Болингброка (1678-1751), опубликованная в 1749 г.

54

Джон Черчилль, 1-й герцог Мальборо (1650-1722) – английский полководец и политический деятель. В период правления королевы Анны был наиболее могущественным человеком в государстве.

55

Призвание на престол Георга I, 1714 г.

56

Битва между Карлом I и армией парламента 14 июня 1645 г., закончилась поражением короля.

В Шотландии – Церковь, основанная на практике самых различных христианских конфессий.

58

Сторонники «Национального ковенанта» 1638 г., манифеста шотландского национального движения в защиту пресвитерианской церкви – одного из направлений протестантизма, опирающегося научение Жана Кальвина.

59

Пуритане (*лат.* ригш – **чистый)** – английские протестанты, последователи кальвинизма в Англии в ХУ1-ХУП вв., стремившиеся очистить богослужение от следов католической обрядности.

60

Джон Картерет, 2-й граф Гренвиль (1690-1763) – английский дипломат и лорд-президент государственного совета в 1751-1763 гг.

61

Ричард Бердон Холдейн (1856-1928) – английский военный министр, позднее – лорд-канцлер.

Culture *(англ.)*.

Kultur *(нем.)*.

Фридриха.

65

Чарльз Джеймс Фокс (1749-1806) – английский парламентарий и политический деятель, идеолог британского либерализма, вождь радикального крыла партии вигов

66

Город, где в 1791 г. был арестован пытавшийся бежать Людовик XVI.

67

Место сражения 20 сентября 1792 г., в котором революционная французская армия впервые остановила прусские войска.

68

Роберт Саути (1774-1843) – английский поэт «озерной школы».

69

Арчибальд Элисон (1792-1867) – автор книги «История Европы от 1789 до 1815».

70

Курортные города в Англии.

71

18 мая 1794 г. под Туркуэном революционные французы разгромили австрийцев и англичан.

72

В 1809 г. в битве при Талавере французская армия Наполеона разгромила испанские и английские войска.

73

Подмаренник – полевой цветок, используемый в Глостершире для подцветки сыра.

Сокр. от Our Lady, the Blessed Virgin Mary.

Our – наша *(англ.)*.

76

Местечко под Брюсселем, где 16 июня 1815 г. произошло сражение между англичанами под командованием Веллингтона и французами под командованием Нея.

77

Честертон ссылается на знаменитую картину Джона Милле, на которой изображено прощание молодого английского военного с девушкой.

78

Роберт Пиль (1788-1850) – английский государственный деятель, премьер-министр Великобритании в 1834-1835 и 1841—1846 гг.

79

Картина Дэниела Маклайза, оригинал находится в здании Парламента.

80

Ферма около Ватерлоо.

81

Веллингтон родился в Ирландии.

82

Роберт Гаскойн-Сесил, 3-й маркиз Солсбери (1830-1903) - английский политический деятель из партии тори, трижды занимал пост премьер-министра Великобритании.

83

Джон Эдуард Редмонд (1856-1918) – ирландский политик, националист, не поддержал пасхальное восстание 1916 г.

Вильгельм Оранский.

85

Ганноверская династия.

86

Эдмунд Бёрк (1729-1797) – англо-ирландский парламентарий, публицист эпохи Просвещения, родоначальник идеологии консерватизма, автор книги «Размышления о Французской революции».

87

Фредерик Норт (1732-1792) – премьер-министр Великобритании, недальновидная политика которого во время Американской войны за независимость стоила Британии потери заокеанских колоний.

88

Теобальд Вольф Тон (1763-1798) – ирландский политик, умер в тюрьме.

89

Роберт Эммет (1778-1803) – ирландский националист, лидер восстания, казнен.

90

Роберт Стюарт, виконт Каслри (1769-1822) – министр по делам Ирландии, инициировал «Ирландский акт о союзе» 1800 г., с 1812 г. – министр иностранных дел.

91

Эдвард Фицджеральд (1763-1798) – лорд, ирландский революционер, один из руководителей Ирландского восстания 1798 г., умер в тюрьме.

92

Юний Анней Галлион (ок. 1-65) – старший брат Сенеки, отказался рассматривать обвинения против апостола Павла.

93

14 октября 1806 г. прусские войска в битве при Иене потерпели сокрушительное поражение от французской армии Наполеона.

94

Местность у Каллодена в Шотландии, где произошло одно из сражений якобитского восстания 1745 г.

95

Место еще одного сражения, в котором якобиты победили солдат правительственных войск.

96

Джон Бернгойн (1722-1792) – английский генерал времен войны за независимость США.

97

Соглашение 1691 г., положившее конец «Войне двух королей», которую вели Вильгельм III и Яков II.

98

Джон Рассел, 1-й граф Рассел (1792-1878) – британский государственный деятель, премьер-министр в 1846-1852 гг.

99

По-видимому, Честертон имеет в виду Уильяма Йейтса и Бернарда Шоу.

100

Правительства.

101

Монета, изготовленная специально для Ирландии и вызвавшая недовольство ирландцев, в том числе Джонатана Свифта.

102

Подразделение англиканской церкви в Ирландии, до 1871 г. существовавшее как государственный институт.

103

Ричард Пиготт (1835-1889) – ирландский журналист, подделывавший письма националистов и продававший их в «Таймс» в 1887 г.

104

Уильям Коббет (1763-1835) – английский публицист, автор «Истории протестантской Реформации в Англии», добился публичности действий парламента.

105

Наполеон Бонапарт.

«Вопеу» и «bogey» – игра слов.

Сохранило своей религиозный статус.

108

Распущено при Генрихе VIII, в дальнейшем – резиденция герцогов Портлендских.

109

Т. е. «проливной дождь».

110

Джордж Эдвард Мур (1852-1933) – ирландский писатель и поэт, долгое время жил во Франции.

111

Джозеф Хилэр Беллок (1870-1953) – англо-французский писатель, друг Честертона.

112

Песню найти не удалось; Честертон вполне мог ее придумать.

113

Томас Кранмер (1489-1556) – один из отцов Английской Реформации, с 1533 г. архиепископ Кентерберийский; низложен, обвинен в государственной измене и казнен при Марии Тюдор вслед за Латимером и Ридли.

114

Хоули Харви Криппен (1862-1910) – американский гомеопат и дантист, повешенный в Лондоне в 1910 г. заубийство жены.

115

Место около Манчестера, где в 1819 г. в результате разгона кавалерией толпы 15 человек погибли и около 500 были ранены.

116

Словосочетание из «Николаса Никльби», 1839 г., дословно «газ» (или же «бахвальство») и «одежда священника».

117

Суперинтендант из романа Диккенса «Тяжелые времена».

118

Джеймс Энтони Фроуд (1818-1894) – английский писатель и историк, отказался от духовной карьеры в 1849 г.

119

Битва при Креси произошла 26 августа 1346 г. и стала одним из важнейших сражений Столетней войны, в котором англичане победили французов.

120

Битва при Флоддене 9 сентября 1513 г. – сражение между войсками Англии и Шотландии в период Итальянских войн.

121

«Синтрам и его спутники» – повесть Фридриха де ла Мотт Фуке (1777-1843), германского романтика.

122

Вероятно, Честертон имеет в виду книгу «Три весёлых охотника», проиллюстрированную Рэндолфом Калдекоттом, любимым художником его детства.

123

Сэмюэл Тэйлор Кольридж (1772-1834) – английский поэт, критик и философ, представитель «озерной школы».

124

Томас де Куинси (1785-1859) – английский писатель и историк, автор знаменитой «Исповеди англичанина, употребляющего опиум».

125

Фраза из многих сказок, в том числе из «Бременских музыкантов».

126

Бульвар в Берлине, построенный по приказу кайзера Вильгельма II в 1895-1901 гг., изобилует памятниками правителей прошлого.

127

Цитата из «Венецианского купца» – «ring fancy’s knell».

«A8 ˆere».

129

Уильям Шекспир, «Двенадцатая ночь».

130

Томас Карлейль (1795-1881) – британский писатель и историк шотландского происхождения.

131

Pons Asinorum *(лат)*.

132

Легендарный герой Рима времен войн с этрусками.

133

Pons, игра слов.

134

Слова Декларации независимости США, принятой 4 июля 1776 г.

135

Честертон имеет в виду Рейн: «Rhine – wine».

136

Район южного Лондона, во времена Честертона очень бедный.

137

Битва при Садове произошла 3 июля 1866 г. и стала самым крупным сражением австро-прусской войны.

138

Александра Датская (1844-1925) – супруга Эдуарда VII.

139

Альфред Теннисон посвятил Александре оду с этими строками.

140

Эдвард Огастес Фримен (1823-1892) – английский историк, автор «Истории норманнского завоевания Англии».

141

Джон Ричард Грин (1837-1883) – английский историк, автор популярной «Краткой истории английского народа».

142

Два брата-саксонца, вторгшиеся в Британию в V в.

143

Игра слов: «horse» – лошадь.

144

Ричард Кобден (1804-1865) – английский политический деятель, член Палаты общин, выступал за неограниченную конкуренцию и свободу торговли.

145

Уильям Шекспир, «Гамлет», перевод Б. Пастернака.

Art Master.

Master of Arts.

Sea-piece.

149

A piece of the sea.

150

Indian Red – пигмент на основе оксида железа.

Red Indian.

152

Обезлюдевшие поселения, избиравшие членов Палаты общин до реформы 1832 г.

153

Артур Бальфур (1848-1930) – премьер-министр Великобритании в 1902-1905 гг.

Его страны.

155

Альберт I (1875-1934) возглавил сопротивление германскому вторжению в 1914 г., национальный герой Бельгии.

156

Пьеса Эдмона Ростана о Наполеоне II.

157

В 1796 г. в битве при Арколе французская армия Наполеона Бонапарта разбила австрийские войска.

158

В 1859 г. в битве при Сольферино войска Наполеона III одержали победу над австрийской армией.

159

Маргерит Блессингтон (1789-1849) – английская писательница, принимала у себя будущего императора во время его английской эмиграции в 1830-х гг.

160

Александр Уильям Кинглейк (1809-1891) – английский политик и историк Крымской войны.

161

Сборник стихотворений Виктора Гюго, 1853 г.

162

Организация, пропагандирующая принципы консерватизма, основана в 1883 г. в память о Бенджамине Дизраэли.

163

По отношению к Франции.

164

Альберт Франц Август Эммануил Сакс-Кобург-Готский (1819-1861) – супруг королевы Виктории.

165

Битва при Седане – генеральное сражение Франкопрусской войны, произошедшее 1 сентября 1870 г., после которого Наполеон III капитулировал.

166

Победа Сербии, Черногории, Болгарии и Греции над Турцией в войне 1912-1913 гг.

167

Перемирие между Францией и Австрией, заключенное в 1859 г.

168

В 1854 г. Гарибальди приехал в Ньюкасл.

169

Виктор Анри Рошфор (1831-1913) – французский журналист и политик, сын маркиза Клода Луи Мари де Рошфор, автора водевилей.

170

Эмсской депеши – опубликованной Бисмарком телеграммы разговора между королем Пруссии Вильгельмом I и французским послом В. Бенедетти 13 июля 1870 г. Депеша вызвала дипломатический скандал, послуживший поводом войны Пруссии с Францией в 1870-1871 гг.

171

Вильгельма I, германского императора с 18 января 1871 г.

172

Король Франции (1423-1483), основатель абсолютной монархии, его правление было ознаменовано политическими интригами, целью которых служила ликвидация самостоятельности крупных феодалов.

173

Король Франции (1214-1270), возглавивший 7-й и 8-й Крестовые походы.

174

Место битвы, где 29 августа 1862 г. Гарибальди был ранен и взят в плен армией короля Италии.

175

Энтони Эшли Купер Шефтсбери (1801-1885) – английский политик, филантроп и общественный реформатор.

176

Прозвище уроженцев Лондона из средних и низших слоев населения.

177

Джон Артур Джонсон (1878-1946), более известный как Джек Джонсон – американский чернокожий боксер.

178

Персонаж романа Уильяма Теккерея «Ньюкомы, жизнеописание одной весьма почтенной семьи, составленное Артуром Пенденнисом, эсквайром».

«Rot» – гниль *(англ.)*.

180

Английская народная игра, бросание шаров в чушку.

181

Пауль фон Гинденбург (1847-1934) – немецкий военный и политический деятель, видный командующий Первой мировой войны, начальник Генерального штаба.

182

Маке ир.

183

Маке – игра слов.

184

Шарль Саролеа (1870-1953) – бельгийский ученый, профессор Эдинбургского университета, автор книги «Англогерманская проблема» (1912).

185

Вильгельм II останавливался в Стамбуле по пути в Палестину.

186

Греко-турецкая война 1897 г., вызванная восстанием греков на Крите.

187

Мэтью Арнольд (1822-1888) – английский поэт и культуролог, один из наиболее авторитетных литературоведов и эссеистов викторианского периода.

188

Дэвид Ллойд Джордж (1863-1945) – британский политический деятель, премьер-министр Великобритании от Либеральной партии.

Преступлений Англии.

189

Англо-бурская война (Бурская война).

Обычно – лидеры партий в парламенте.

191

Город в Ирландии, где в XVIII в. было жестоко подавлено восстание.

192

Расправа над жителями деревни в Египте в 1906 г.

193

Уильям Эварт Гладстон (1809-1898) – английский политик и писатель, премьер-министр Великобритании.

Черногория.

195

Греки.

196

Битва при Хаттине – сражение, произошедшее 4 июля 1187 г. в Палестине, в котором Саладин одержал окончательную победу над крестоносцами.

197

Никола I Петрович-Негош (1841-1921) с 1910 г. – первый король Черногории.

Константинополем.

199

Сесил Джон Родс (1853-1902) – деятель британского империализма, организатор английской колониальной экспансии в Южной Африке.

200

Роберт Блэтчфорд (1851-1943) – английский социалист и журналист.

201

Барт Кеннеди (1861-1930) – писатель.

202

Эмиль Рейх (1854-1910) – венгерский писатель еврейского происхождения, живший в Англии.

203

Ссылка на книгу Льюиса Кэрролла.

204

Коммуна в Баварии, где 13 августа 1704 г. во время войны за Испанское наследство англичане разгромили французскую армию.

205

Святые Георгий, Андрей, Патрик, Дени, Яков, Антоний и Давид – покровители соответственно Англии, Шотландии, Ирландии, Франции, Испании, Португалии и Уэльса.

206

Битва при Килликранки – сражение, произошедшее 27 июля 1689 г. между английскими королевскими войсками и шотландцами-якобитами, в котором англичане потерпели сокрушительное поражение.

207

Александр фон Клюк (1846-1934) – командующий 1-й германской армией в дни битвы на Марне.

208

Французская приграничная крепость, сдалась немцам после двухнедельной осады 7 сентября 1914 г. со всем гарнизоном.

209

Город во Франции, где 25 августа 1914 г. британские войска сумели на сутки остановить продвижение немцев.

210

Гораций Смит-Дорриен (1858-1930) – командующий второго корпуса британских экспедиционных сил в августе 1914 г.

211

Жозеф Жоффр (1852-1931) – в 1914 г. главнокомандующий французской армией.

212

Город во Франции на реке Уаза.

213

Старинная мера длины, означавшая один час пешего хода, в Англии сухопутная лига – 4828 метров.

214

Города в Ирландии, чье население было вырезано войсками Кромвеля.

215

Стефан Блуаский (1092 /1096-1154) – внук Вильгельма I Завоевателя, король Англии с 1135 г.

216

Эммелин Панкхёрст (1858-1928) – британский общественный и политический деятель, боролась за права женщин, лидер британского движения суфражисток.

217

Битва при Куртре (или Битва шпор) – сражение фламандцев с французской армией 11 июля 1302 г. возле города Куртре во время Фламандского восстания.

218

Лишенный счастья (*исп.*).

219

В представлении древних, остров Туле – полумифическая страна, которую искал и якобы нашел в северной части Европы древнегреческий путешественник Пифей (IV в. до н. э.).

220

Законодательный акт, принятый в течение 1706 и 1707 гг. парламентами Англии и Шотландии. Закон предусматривал создание единого союзного государства Великобритании.

221

Собирательный образ типичного англичанина.

222

Слова из английской солдатской песни «Over the hills and far away».

223

Самое маленькое графство Англии.

224

Датируемое 313 г. письмо императоров Константина и Лициния, провозглашавшее религиозную терпимость на территории Римской империи. По мнению некоторых ученых, именно Миланский эдикт провозгласил христианство единственной религией империи.

Не англы, но ангелы» *(лат)*.

226

Эдуард Гиббон (1737-1794) – английский историк.

227

Имя нескольких королей Дании, двое из которых были также королями Англии. Легенда о попытке управления волнами относится к Кануту (Кнуду) Великому (994-1035).

228

Гней Юлий Агрикола (40-93) – римский полководец и государственный деятель. Исполняя должность консульского легата в Британии, возвел ряд пограничных укреплений между Клотой и Бодотрией.

229

Король Уэссекса в 871-901 гг.

230

Бенедектинский монах в монастыре Святых Петра и Павла в Нортумбрии. Написал одну из первых историй Англии под названием «Церковная история народа англов».

231

Английский святой, епископ Вустера и Лондона, архиепископ Кентерберийский.

232

Бриан Бору (941-1014) – король Мунстера и Верховный король Ирландии, родоначальник династии О'Брианов.

233

Легендарный первый король Кента, брат Хорсы и отец Эска.

234

Иудейский старейшина, в гробнице которого был погребен Иисус после снятия с креста. История Иосифа получила распространение благодаря легенде о Святом Граале – чаше, в которую Иосиф собирает кровь Христа.

235

Гластонберийское аббатство – древнейшее в Англии. Церковная легенда связывает его основание с именем легендарного короля Луция, который будто бы еще в 166 г. пригласил в Гластонбери прелатов из Рима.

Пэры – коронные вассалы, пользовавшиеся привилегией равных себе.

Архитектуры.

«Королевский пирог», пер. С. Маршака.

239

Альфред Теннисон (1809-1892) – английский поэт, яркий выразитель сентиментально-консервативного мировоззрения викторианской эпохи.

240

Мать Константина Великого – первого христианского императора.

241

Игра слов: по-английски разведение устриц – «oyster culture». Колчестер известен как место устричной ярмарки.

242

Тильда Премудрый (500-570) – древнейший историк бриттов, британский святой.

«Не англы, но черти» *(лат)*.

244

Богато иллюстрированная рукописная книга, созданная ирландскими монахами примерно в 800 г. Книга содержит четыре Евангелия на латинском языке, вступление и толкования, украшенные огромным количеством цветных узоров и миниатюр.

245

Предводитель викингов-данов, участник датского вторжения в Британию, первый скандинавский король Восточной Англии после ее завоевания норманнами.

246

Последний суверенный англо-саксонский король Восточной Англии, причислен к лику святых.

247

Битва под Эшдауном (871) – сражение между войсками короля Уэссекса Этельреда I Неразумного и норманнами, выигранное англо-саксами благодаря отваге Альфреда, младшего брата Этельреда I.

248

Генрих VI (1421-1471) – третий и последний король Англии из династии Ланкастеров. Был возведен на английский трон после смерти отца, Генриха V, в возрасте восьми месяцев.

249

Эдуард Исповедник (ок. 1003-1066) – предпоследний англосаксонский король Англии и последний представитель Уэссекской династии на английском престоле.

250

«Lade Clara Vere de Vere» – стихотворение Альфреда Теннисона (1842).

251

Брюсы – шотландский дворянский род, представители которого в XIV в. занимали престол Шотландии и Ирландии. Основатель рода Роберт де Брюс, мелкий дворянин из Нормандии, пришел в Англию вместе с войсками Вильгельма Завоевателя.

252

Ричард Фиц-Гилберт де Клер (1130-1176) – руководитель нормандского вторжения в Ирландию, известный также по прозвищу Стронгбоу.

253

Гарольд II Годвинсон (ок. 1022-1066) – последний англосаксонский король Англии, погибший в битве при Гастингсе.

254

Главный город графства Норфолк (Восточная Англия).

255

Ланфранк (ок. 1010-1089) – крупнейший религиозный деятель Англии XI в., архиепископ Кентерберийский, сподвижник Вильгельма Завоевателя.

256

Улица Вардур – небольшая улица в лондонском районе Сохо; улица Уотлинг – дорога, известная с римских времен, от Кента до границы с Уэльсом.

257

Томас Генри Гекели (1825-1895) – английский зоолог, популяризатор науки, сторонник теории Чарльза Дарвина.

258

Доказывать свою верность.

259

То же, что лен – земли, пожалованные вассалу сеньором в пользование и распоряжение ими, осуществляемое на условиях несения вассалом военной, административной или придворной службы в пользу сеньора.

260

Филипп II Август (1165-1223) – король Франции, участник 3-го Крестового похода.

261

Да благословит меня Благословенный *(лат)*.

Фраза лишена смысла, игра слов.

263

Средневековое искажение имени Мухаммед.

264

Иоанн (Джон) Безземельный (1167-1216) – король Англии и герцог Аквитании из династии Плантагенетов.

265

Плантагенеты – королевская династия французского происхождения, основные владения которой изначально находились во Франции, но впоследствии значительно расширились. В результате Плантагенеты оказались правителями Англии, Нормандии, а также Гаскони и Гиени.

266

Ланкастеры – боковая ветвь королевского дома Плантагенетов.

267

Эдуард I Длинноногий (1239-1307) – король Англии из династии Плантагенетов. Был женат на Элеоноре Кастильской.

Кресты Элеоноры, включая Чаринг Кросс, были поставлены там, где останавливалась процессия с телом покойной супруги Эдуарда I по пути из Линкольншира в Вестминстер.

269

Ганс Мемлинг (1433/1435-1494) – фламандский живописец.

270

Местность, где была подписана Великая хартия вольностей.

271

Поэт Нортумбрии VII в., автор «Гимна Кэдмона», одного из старейших поэтических произведений на английском языке.

272

Собор в Дареме был заложен в 1093 г.

273

Томас Бекет (1118-1170) – первоначально канцлер Генриха II, затем архиепископ Кентерберийский. Вступил в конфликт с Генрихом II и был убит на ступенях алтаря Кентерберийского собора. Канонизирован католической церковью в 1173 г.

27 4

Джон Лаббок (1834-1913) – банкир и ученый-эволюционист, друг Чарльза Дарвина.

275

Мэри Бейкер Эдди (1821-1910) – американская писательница и общественно-религиозный деятель, основательница религиозного движения «Христианская наука».

276

Вильгельм II Рыжий (1056/1060-1100) – третий сын Вильгельма Завоевателя, король Англии с 1087 г. С ранних лет отличался храбростью, решительностью и страстью к охоте. Англия при Вильгельме II переживала период относительной стабильности.

277

Ансельм Кентерберийский (1033-1109) – католический богослов, средневековый философ, архиепископ Кентерберийский.

278

Генрих I скончался 1 декабря 1135 г., отравившись миногами.

Святой Томас.

280

Людовик IX Святой (1214-1270) – король Франции, руководитель 7-го и 8-го Крестовых походов. Канонизирован католической церковью в 1297 г.

281

Рейд на Трансваальскую республику под руководством британского колониального чиновника Линдера Джеймсона в новогоднюю неделю 1895-1896 гг.

282

Генрих II Плантагенет, сын Жоффруа V Плантагенета, графа Анжу, Мэна и Тура, и Матильды Английской.

283

Глава сопротивления баронов королю Англии Генриху III. Пытался ограничить королевскую власть в пользу баронов.

284

Отец Симона де Монфора, также Симон, возглавил Крестовый поход против альбигойской ереси.

285

Битва при Ившеме (1265) – сражение между королевским войском под началом принца Эдуарда и войском баронов под командованием Симона де Монфора. Королевские войска одержали верх, что положило конец баронской войне.

286

Одна из первых современных тюрьм Лондона, открылась в 1842 г.; первая – Миллбэнк (1816).

287

Гомруль (*англ.* Home Rule) – закон о местном самоуправлении, особенно трудно он вводился в Ирландии; в 1886, 1893 и 1914 гг. было три неудачные попытки его принятия.

288

Томас Кларксон (1760-1846), Уильям Уилберфорс (1759-1833) – британские борцы с рабством конца XVIII – начала XIX в., добившиеся его запрета в 1807 г.

289

Серваж – вид феодальной зависимости крестьян средневековой Западной Европы, характеризующийся личной связью серва с его сеньором и значительным ограничением личных и гражданских прав.

290

Игра слов: BA, bachelor – как бакалавр (в данном случае искусств), так и холостяк; MA, Master of arts – следующее, более высокое академическое звание.

291

Ливрейные компании Лондонского Сити – древние и современные лондонские торговые ассоциации. Название почти всех их состоит из слов «Почтенная компания…» с добавлением соответствующего ремесла, торговли или профессии.

292

Аббон II (?—707) – епископ Меца, местночтимый святой.

293

Существует легенда о том, что король Англии Иоанн Безземельный (1167-1216) требовал деньги у ростовщика, велев вырывать ему по зубу в день, пока он эти деньги не даст.

294

После смерти королевы Маргарет Норвежской Девы в 1290 г. в Шотландии пресеклась прямая линия династии Макальпинов. Претензии на престол выдвинули Джон Баллиоль и Роберт Брюс. Спор был вынесен на рассмотрение Эдуарда I, который вынес решение в пользу Джона Баллиоля. Новый король, коронованный как Иоанн I, признал сюзеренитет Англии над Шотландией.

295

Сэр Уильям Уоллес (1270-1305) – шотландский рыцарь, один из военачальников в войне за независимость от Англии. Почитается в Шотландии как патриот и народный герой.

От Англии.

297

Одно из важнейших сражений англо-шотландских войн XII-XIV вв., состоявшееся в 1314 г. близ реки Бэннокбёрн.

298

Правовой кодекс салических франков. Термин «салический закон» означает также правило престолонаследия, восходящее к одному из положений этого кодекса.

299

Битва при Креси (1346), битва при Пуатье (1356), битва при Азенкуре (1415) – крупнейшие сражения времен Столетней войны.

300

Битва при Азенкуре состоялась именно в этот день, 25 октября 1415 г.

301

Александр Поуп (1688-1744) – английский поэт, один из крупнейших представителей классицизма.

302

Генри Сент-Джон Болингброк (1678-1751) – английский философ и государственный деятель. Занимал посты военного министра и министра иностранных дел при королеве Анне Стюарт.

303

Роберт Филмер (1588-1653) – английский политик и мыслитель, автор книги «Патриархия, или Естественная власть королей».

304

«Королем быть не могу» *(фр.)* – часть девиза рода Роганов, одного из трех наиболее влиятельных баронских родов Бретани.

305

Ричард II Бордоский (1367-1400) – король Англии, представитель династии Плантагенетов. Став королем в десятилетнем возрасте, показал себя слабым и в то же время деспотичным правителем. Его расточительность и потворство фаворитам вызвали мятеж лордов-аппелянтов, с помощью парламента ограничивших полномочия монарха и фактически узурпировавших власть в Англии.

306

Уолтер (Уот) Тайлер (1341-1381) – предводитель крупнейшего в средневековой Англии крестьянского восстания 1381 г.

307

По преданию, сборщик налогов посягнул на честь дочери Тайлера, за что был Тайлером убит.

308

Джон Уиклиф (1320/1324-1384) – английский богослов, основатель учения виклифистов, впоследствии превратившегося в народное движение лоллардов.

309

Пелагий (ок. 360-после 431) – знаменитый ересиарх, известен своими взглядами на свободу воли, отрицающими доктрину первородного греха.

310

Арий (256-336) – один из ранних ересиархов, основоположник арианства.

311

Джон Болл (ок. 1330-1381) – английский священник-лоллард, проповедник социального равенства, распространял религиозные доктрины Джона Уиклифа.

312

Хью Латимер (ок. 1485 – 1555) – епископ Вустерский, известный деятель Английской Реформации. Во времена правления Марии I был сожжен на костре как еретик вместе с Николасом Ридли, другим церковным реформатором.

313

Томас Кобэм (?—1327) – английский богослов, епископ Вустерский.

314

Филипп Говард, 20-й граф Арундел (1557-1595) – католик, отказавшийся от перехода в англиканство и умерший в заключении, канонизирован Римской Католической церковью в 1970 г.

315

Мария I Тюдор (1516-1558) – первая коронованная королева Англии, старшая дочь Генриха VIII от брака с Екатериной Арагонской. Также известна как Кровавая Мэри, Мария Католичка. Пыталась восстановить в Англии католичество.

316

Имеется в виду Пьер Кошон, епископ Бове, председательствовавший на инквизиционном процессе Жанны д Арк, проходившем в Руане в 1431 г.

317

Алая и белая розы были отличительными знаками двух враждующих партий – Ланкастеров и Йорков, противостояние которых вылилось в серию вооруженных династических конфликтов, известных под названием война Алой и Белой розы.

318

Ричард Невилл (1428-1471) – 6-й граф Солсбери и 16-й граф Уорик, прозванный «Уорик – Делатель королей». Был ключевой фигурой в войне Алой и Белой розы, способствовал свержению короля Генриха VI из династии Ланкастеров в пользу короля Эдуарда IV из династии Йорков.

319

Екатерина Валуа (1401-1437) – королева-консорт Англии.

320

На гербе Великобритании изображены лев и единорог, первый символизирует Англию, второй – Шотландию.

321

Битва при Барнете – сражение между войсками Ланкастеров и Йорков, во время войны Алой и Белой розы, состоявшееся 14 апреля 1471 г. Армия Ланкастеров была наголову разбита, а ее предводитель, граф Уорик, убит.

322

Битва при Тьюксбери – сражение между войсками Ланкастеров и Йорков во время войны Алой и Белой розы, произошедшее 4 мая 1471 г. и завершившееся решительной победой Йорков.

323

Ричард III (1452-1485) – король Англии из династии Йорков, последний представитель мужской линии Плантагенетов на английском престоле.

324

Имеется в виду Генрих VII (1457-1509) – король Англии, первый монарх из династии Тюдоров.

325

Битва при Босворте – сражение, произошедшее 22 августа 1485 г. на Босвортском поле в Лестершире между армией короля Ричарда III и войсками претендента на престол Генриха Тюдора, графа Ричмонда.

326

Томас Мор (1478-1535) – английский юрист, философ, писатель-гуманист. Лорд-канцлер Англии. В 1516 г. написал книгу «Утопия», в которой изобразил свое представление об идеальной системе общественного устройства на примере вымышленного островного государства.

327

Дезидерий Эразм Роттердамский (1466 /1469 – 1536) – крупнейший ученый Северного Возрождения, положил начало критическому исследованию текста Священных писаний, способствовал возвращению в культурный обиход литературного наследия античности.

328

Джон Колет (ок. 1467 – 1519) – декан собора Святого Павла, капеллан Генриха VIII.

329

Народная легенда об охоте английского графа Нортумберлендского Перси на Чевиотских холмах, превратившейся в пограничное сражение с шотландским графом Дугласом. Поэт елизаветинской эпохи Филипп Сидней высказался о ней уничижительно, сравнив ее с творчеством Пиндара.

330

Генрих VIII Тюдор (1491-1547) – король Англии, второй английский монарх из династии Тюдоров. Известен Английской Реформацией, что сделало англичан в большинстве своем протестантской нацией, и необычным для христианина числом браков – у короля было шесть жен, из которых с двумя он развелся, а двух казнил по обвинению в измене.

331

Вероятно, Джеймсом Кеннетом Стефеном (1859-1892), английским поэтом.

332

Болотистая область у восточных берегов Англии.

333

Бенвенуто Челлини (1500-1571) – итальянский скульптор, ювелир и живописец эпохи Возрождения.

334

Намек на Папу Льва X, который удостоил молодого Генриха VIII титула «Защитник веры» за написанный им трактат «В защиту семи таинств».

335

От первого брака у Генриха VIII не было сыновей, во втором браке он надеялся родить наследника.

336

Томас Уолси (ок. 1473-1530) – канцлер Английского королевства. До 1529 г. считался самым могущественным человеком в Англии после короля Генриха VIII, держал в своих руках всю внешнюю и внутреннюю политику.

Ego et Rex Meus *(лат)*.

338

Томас Кромвель (ок. 1485- 1540) – английский государственный деятель, главный идеолог Английской Реформации.

339

Восстание на севере Англии, главным образом в Йоркшире, в 1536-1537 гг.

340

Кентерберийский собор. В 1538 г. Генрих судил святого Томаса Кентеберийского за измену, признал виновным и конфисковал все содержимое сокровищницы собора.

341

Джеймс Энтони Фруд (1818-1894) – английский историк, его наиболее известной работой является «История Англии от падения Уолси до поражения Испанской Армады».

342

Эдуард VI (1537-1553) – король Англии, вступил на престол в девятилетием возрасте под опекой дяди по матери, Эдуарда Сеймура, 1-го герцога Сомерсета.

343

Эдуард Сеймур, 1-й герцог Сомерсет, в 1549 г. принял решение о казни своего брата Томаса.

344

15 марта 44 г. до н. э., день убийства Гая Юлия Цезаря.

345

Известно несколько клубов для высших слоев общества с таким названием, первый был учрежден лордом Уортоном в 1718 г.

346

В 1558 г. город Кале был захвачен французами; узнав об этом, Мария Тюдор сказала: «Когда я умру и меня вскроют, вы увидите на моем сердце два слова – Филипп и Кале».

347

Столкновение англичан и французов в Восточной Африке в 1898 г., едва не приведшее к войне.

348

Елизавета I (1533-1603) – королева Англии, последняя из династии Тюдоров. Младшая дочь Генриха VIII и его второй жены Анны Болейн.

349

Битва за гору Маджуба (27 февраля 1881 г.), в которой буры одержали решающую победу, стала главной битвой первой англо-бурской войны.

350

Одним из средств морского сражения в Ла-Манше в 1588 г. были брандеры.

351

Пьеса Уильяма Шекспира, написанная предположительно в 1603 или 1604 г. В Первом фолио была отнесена к комедиям, хотя многие современные исследователи причисляют ее к «проблемным пьесам».

352

Имеется в виду король Швеции Густав II Адольф (1594-1632).

353

Существа, придуманные Льюисом Кэрроллом.

354

Битва при Вустере (3 сентября 1651 г.) – решающее сражение в ходе военной кампании Оливера Кромвеля по завоеванию Шотландии. Считается, что это сражение положило конец гражданской войне, закрепив республиканский строй и власть Кромвеля.

355

Джон Нокс (ок. 1510- 1572) – крупнейший шотландский религиозный реформатор, заложил основы пресвитерианской церкви.

356

Дэвид Битон (ок. 1494 – 1546) – кардинал, архиепископ Сент-Эндрюсский, лидер католической партии в Шотландии.

357

Карл I Стюарт (1600-1649) – король Англии, Шотландии и Ирландии, сын Якова I и Анны Датской. Его политика абсолютизма и церковные реформы вызвали восстания в Шотландии и Английскую революцию. В ходе гражданской войны Карл I потерпел поражение, был предан суду парламента и казнен.

358

Дженни Геддес (1600-1660) – уличная торговка, бросившая в 1637 г. табурет в священника, пытавшегося провести службу по новому образцу.

359

Джон Хэмпден (ок. 1595-1643) – английский политик, активно участвовавший в попытках оспаривания права короля Англии Карла I на абсолютную власть, что послужило прелюдией к Английской революции.

360

Томас Уэнтуорт, 1-й граф Страффорд (1593-1641) – государственный деятель Англии, сторонник Карла I в его конфликте с парламентом во время Английской революции.

361

«Письма с печатью», распоряжения короля о внесудебном аресте, куда вписывалось имя неугодного человека.

362

Битва при Данбаре (3 сентября 1650 г.) – одно из важнейших сражений периода Английской революции между войсками парламента во главе с Кромвелем и шотландской армией Лесли.

363

Александр Лесли (ок. 1580-1661) – шотландский полководец, фельдмаршал Швеции, активный участник гражданской войны в Англии.

364

Согласно легенде, прибывший в Британию Иосиф Арима-фейский воткнул свой посох в землю Гластонбери, где тот пустил корни и превратился в терновник, который с тех пор цветет на Рождество. Был срублен в XVII в. солдатами Кромвеля. По преданию, когда они ушли, из мерзлой земли поднялся молодой цветущий побег.

Т. е. католическим.

366

Роберт Геррик (1591-1674) – английский поэт и священник, представитель так называемых «поэтов-кавалеров», сторонников короля Карла I.

367

Восстание Монмута в 1685 г. (в просторечии «восстание с вилами») – неудачная попытка свергнуть Якова II, который стал королем Англии после смерти своего старшего брата Карла II. Яков II не пользовался популярностью, так как был католиком. Живший в Голландии протестант Джеймс Скотт, 1-й герцог Монмут, внебрачный сын Карла II, выдвинул свои притязания на престол и, высадившись в Англии, попытался свергнуть Якова II. После поражения при Седжмуре он был схвачен и обезглавлен.

368

Английский заговорщик Титус Оутс (1649-1705) сфабриковал так называемый «папистский заговор» – никогда не существовавший в реальности католический заговор с целью убийства короля Карла II. Клевета Оутса привела к массовой антикатолической истерии в стране, массовым арестам католиков и казням известных людей, но в конце концов его обман раскрылся.

369

Неожиданное рождение у Якова II сына-наследника вызвало слухи о постороннем ребенке, принесенном во дворец в грелке; слухи вызвали возмущение, государственный переворот и смену династии.

370

Франциско Суарес (1548-1617) – испанский иезуит, философ и политический мыслитель.

371

Уильям Пенн (1644-1718) – землевладелец, квакер, основатель Пенсильвании, которую он получил в качестве уплаты долга Карла II отцу Пенна, также Уильяму.

372

Принятый во Франции в 1598 г. Нантский эдикт о веротерпимости был отменен в 1685 г. эдиктом Фонтенбло.

373

Имеется в виду принц Вильгельм III Оранский, правивший Нидерландами с 1672 г. В 1689 г. стал королем Англии и Шотландии.

374

Битва на реке Бойн (1 июля 1690 г.) – сражение между армиями свергнутого короля Якова II и взошедшего на престол Вильгельма III Оранского, который приходился Якову племянником и зятем. Армия Вильгельма III одержала победу.

375

Во время Войны двух королей (1689-1691) население Лимерика поддержало Якова II.

376

Патрик Сарсфилд, 1-й граф Лукан (ок. 1660 -1693) – ирландский якобит, начальник гарнизона Лимерика, отразивший осаду Вильгельма III Оранского.

Имеется в виду «Славная революция» 1688 г.

378

Гораций Уолпол, 4-й граф Орфорд (1717-1797) – политик-виг, писатель, основатель жанра готического романа, сын премьер-министра Роберта Уолпола.

379

Джон Гонт, 1-й герцог Ланкастер (1340-1399) – третий выживший сын короля Англии Эдуарда III и Филиппы Геннегау. Основатель дома Ланкастеров.

380

Эдуард Вудсток, «Чёрный принц» (1330-1376) – старший сын короля Англии Эдуарда III, принц Уэльский, правитель Аквитании с титулом «принц Аквитанский».

381

Генрих V (1386-1422) – король Англии из династии Ланкастеров, один из величайших полководцев Столетней войны. Разгромил французов в битве при Азенкуре.

382

Георг I (1660-1727) – король Англии, первый представитель Ганноверской династии.

383

Вероятно, Честертон имел в виду какой-то другой народ, так как готтентоты – племя, обитающее в Южной Африке, либо просто иронизировал над германцами, в родословной которых присутствуют готы.

384

13 февраля 1692 г. в этой деревне произошла массовая резня клана Макдональдов, подозревавшихся в нелояльности к Вильгельму.

385

Уоррен Гастингс (1732-1818) – первый генерал-губернатор Индии. Вместе с Робертом Клайвом вошел в историю как основатель колонии Британская Индия.

386

Римская поговорка о вероломстве карфагенян.

387

Сэмюэл Джонсон (1709-1784) – английский литературный критик, лексикограф, эссеист и поэт эпохи Просвещения, чье имя, по оценке «Британники», стало в англоязычном мире синонимом второй половины XVIII века.

388

Оливер Голдсмит (1730-1774) – английский прозаик, поэт и драматург ирландского происхождения, яркий представитель сентиментализма.

389

Георг III (1738-1820) – король Великобритании и курфюрст Ганновера. Представитель Ганноверской династии.

390

Вторая часть римской поговорки, начинающейся словами: «Дело победителей угодно богам».

391

Джеймс Вольф (1727-1759) – британский военный, участник Семилетней войны. В звании бригадного генерала принял участие в операции против французских войск в Канаде.

392

Роберт Клайв (1725-1774) – британский чиновник, утвердивший господство Британской Ост-Индской компании в Южной Индии и Бенгалии.

393

Патрик Генри (1736-1799) – американский государственный деятель, активный борец за независимость.

394

Уолт Уитмен (1819-1892) – американский поэт, публицист. Реформатор американской поэзии.

395

Юниус – литературный псевдоним неизвестного английского автора 70 политических писем, опубликованных в 1769-1772 гг.

396

Роберт Уолпоп, 1-й граф Орфорд (1676-1745) – британский государственный деятель, наиболее могущественная фигура в британской политической жизни 1720-х и 1730-х гг.

397

Наполеон Бонапарт.

Между положением англичан и колонистов.

399

Жильбер Лафайет (1757-1834) – французский политический деятель. Участник трех революций: американской войны за независимость, Великой французской революции и июльской революции 1830 г.

400

Кодекс Наполеона – фундаментальный законодательный акт Франции, представляющий собой масштабную кодификацию гражданского права.

401

Чарльз Джордж Гордон (1833-1885) – один из самых знаменитых британских генералов XIX в., известный под именем «Китайского Гордона», «Гордона Хартумского» или «Гордон-Паши».

Виктория» – флагманский корабль адмирала Нельсона.

402

«Heart of oak» – официальный марш королевского флота, впервые исполненный в 1760 г., также прозвище моряков.

403

Томас Гейнсборо (1727-1788) – английский живописец, график, портретист и пейзажист.

404

Первый опубликованный роман Джейн Остин, написанный в 1798-1799 гг.

405

Победы британской армии над французами на территории Индии в 1760 и 1757 гг.

406

Король Франции Генрих IV говорил, что желает видеть вареную курицу в каждом крестьянском горшке.

Commonwealth, в современном английском означает «содружество».

408

Уильям Питт Младший (1759-1806) – второй сын Уильяма Питта. На протяжении в общей сложности почти 20 лет был премьер-министром Великобритании.

409

Наполеону Бонапарту.

410

С Ирландией.

411

Даниел О’Коннелл (1775-1847) – ирландский политический деятель. Выступал активным сторонником Католической эмансипации – права католиков быть избранными в парламент.

412

Чарльз Стюарт Парнелл (1846-1891) – ирландский политический деятель. Основал Ирландскую парламентскую партию и стал ее председателем.

413

Имеются в виду препятствия принятия решений в британском парламенте, где многое зависело от поддержки ирландских депутатов.

414

Движение за автономию Ирландии на рубеже XIX-XX вв.

415

Джордж Уиндем (1863-1913) – британский политик-тори.

Он был правнуком лорда Эдварда Фицджеральда, ирландского республиканца.

417

Комический персонаж ряда произведений Уильяма Шекспира.

418

Персонаж романа Чарльза Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба», слуга мистера Пиквика.

419

Персонаж романа Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста», главарь малолетних преступников.

420

Парламентский акт, изменивший и упорядочивший систему избрания депутатов в Палату общин.

421

Бенджамин Дизраэли (1804-1881) – британский государственный деятель консервативной партии, премьер-министр Великобритании в 1868 г. и с 1874 по 1880 г.

422

Пенитенциарные и/или благотворительные учреждения в Англии XIX в., направленные на изоляцию и/или принуждение к труду нуждающихся, бродяг, мелких преступников и нищих.

423

Персонаж романа Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста», попечитель работного дома.

424

Уильям Уилберфорс (1759-1833) – британский политик и филантроп. Известен активной деятельностью в борьбе против рабства и работорговли.

425

Теология, построенная на воззрениях Джона Уэсли (ПОЗ-ПО!), основателя методизма.

426

Это сказал либеральный политик, лидер оппозиции Уильям Вернон Харкорт (1827-1904) в 1885 г.

427

Friday – пятница *(англ)*.

428

Freya – в германо-скандинавской мифологии богиня войны и любви.

429

Город на датском острове Альс, выросший вокруг резиденции датского Аугустенбургского дома. По итогам войны за Шлезвиг в 1864 г. остров Альс отошел к Германской империи.

Cousin german *(англ)*.

German cousin *(англ)*.

432

Место, где ранее располагалось селение Солсбери.

433

Обряд богослужения XI в., установленный в Солсбери святым Осмундом; перестал использоваться в XVI в.

434

Альфред Великий (ок. 849-899/901) – король Уэссекса, долгие годы воевавший с викингами.

435

Аббон Горбатый (Р-923) – монах-бенедиктинец из парижского аббатства Сен-Жермен-де-Пре. Автор поэмы «Об осаде города Парижа», в которой описывает осаду Парижа норманнами в 885-886 гг.